

Роберт М. Пёрсиг

Дзэн и искусство ухода за мотоциклом

Исследование Ценностей

Перевел М.Немцов

Robert M Pirsig
Zen and the Art of Motorcycle Maintenance

© 1974 by Robert M Pirsig
© М.Немцов, перевод, 1989

Моей семье

Особую благодарность следует выразить Стюарту Козну, предоставившему мне свой кабинет для того, чтоб я мог писать, и миссис Эбигейл Кеньон за критическую помощь в первых главах.

Примечание автора

То, что следует ниже, основано на подлинных событиях. Хотя многое было изменено риторики ради, в сущности, к этому следует относиться как к факту. Тем не менее, это никак не должно ассоциироваться с гигантским объемом фактической информации, относящимся к практике ортодоксального дзэн-буддизма. Что же касается мотоциклов, то тут все тоже не слишком документально.

И что хорошо, Федр,
И что не хорошо, --
Надо ли просить кого-то рассказать нам об этом?

ЧАСТЬ 1

1

Не отрывая руки от левой рукоятки мотоцикла, я по часам вижу, что уже восемь тридцать утра. Ветер даже при шестидесяти милях в час -- теплый и душный. Если уже в полдень жарко и сыро, то как будет днем? Ветер несет едкие запахи придорожных болот. Мы -- в той части Центральных Равнин, где тысячи топей, где хороша утиная охота. Мы направляемся на северо-запад от Миннеаполиса в сторону Дакот. Эта дорога -- старое бетонное двухполосное шоссе, по которому нет интенсивного движения с тех пор, как несколько лет назад параллельно ему проложили новую четырехполосную трассу. Когда мы проезжаем очередное болото, воздух неожиданно холодеет. Когда же болото остается позади, теплеет снова.

Я рад, что опять еду сюда. Как в несуществующую страну, совершенно ничем не знаменитую и именно поэтому -- привлекательную. На таких старых дорогах исчезают все напряжения. Мы трясемся по избитой бетонке среди рогоза, лужаек, опять рогоза и болотной травы. Тут и там мелькает открытая вода, и, если взглянуть, на краю рогозовых зарослей можно увидеть диких уток. И диких голубей. ...Вон краснокрылый дрозд.

Я шлепаю Криса по коленке.

-- Чё? -- вопит он.

-- Дрозд!

Он что-то отвечает -- я не слышу.

-- Чё? -- ору я, не оборачиваясь.

Он хватается меня за затылок шлема и вопит:

-- Я видел их *тучу*, па!

-- А-а! -- ору я в ответ, потом киваю сам себе. В одиннадцать лет краснокрылые дрозды не особенно впечатляют. Для этого надо стать старше. У меня тут примешиваются воспоминания, которых нет у него. Давние холодные утра, когда болотная трава бурела, а метелки рогоза мотались на северо-западном ветру. Едкий запах поднимался от жижи, взбаламученной высокими охотничьими сапогами: мы готовились к восходу солнца и открытию утиного сезона. Или зимы, когда топи замерзали и мертвели, и можно было часами ходить по льду и снегу среди мертвых камышей и ничего, кроме серого неба, всякой дохлятины и мороза не видеть. Дроздов тогда не было. Но сейчас, в июле, они вернулись, и всё очень даже живет, и каждый квадратный фут этих топей гудит и шелкает, зудит и трещит, -- целое сообщество миллионов живых тварей, тратящих всю жизнь в каком-то блаженном существовании.

Если отпуск проводишь на мотоцикле, видишь все совершенно иначе. В автомобиле ты всегда в замкнутом купе, а поскольку к этому привыкаешь, то сложно себе представить, что все, что видишь в окне, -- просто тот же самый телевизор. Ты -- пассивный наблюдатель, и все движется мимо в скучном обрамлении.

На мотоцикле такой рамки нет. Ты полностью в контакте со всем вокруг. В самом пейзаже, а не просто созерцаешь его, и это чувство собственного присутствия ошеломляет. Бетон, пронесшийся в пяти дюймах под ногой, реален, по нему ходишь, и -- вот он, мелькает так, что невозможно сосредоточиться, и в то же время можешь опустить ногу и шваркнуть по нему в любой момент. Все это вместе -- единое переживание, которое никогда не сотрется из немедленного сознания.

Крис и я едем в Монтану с друзьями. Они -- впереди, возможно, направляются еще дальше. Планы расплывчаты намеренно: цель -- больше просто путешествовать, чем куда-то приезжать. Мы в отпуске. Предпочитаем второстепенные дороги, лучше всего -- мощные проселки, только потом -- однополосные шоссе. Скоростные трассы хуже всего. Мы хотим хорошо провести время, но для нас ударение стоит на слове «хорошо», а не на слове «время», -- а когда смещаешь ударение таким образом, то меняется весь подход. Извилистые дороги среди холмов длинны только при счислении на секунды, а на мотоцикле они гораздо приятнее: вписываешься в плавный поворот сам, а не болтаешься из стороны в сторону в каком-нибудь ящике. Приятнее всего дороги с небольшим движением; они еще и безопаснее. Лучше, если нет автостоянок и рекламных щитов, где рощи, луга, сады и полянки -- чуть ли не у самой обочины, там тебе машут дети, когда проезжаешь мимо, там люди

вытягивают с крылец шеи рассмотреть, кто проехал, там останавливаешься узнать дорогу или чего-нибудь еще, а ответ грозит затянуться так, что мало не покажется, и люди интересуются, откуда ты и долго ли уже в пути. Моя жена, я и наши друзья впервые пристрастились к таким дорогам несколько лет назад. Время от времени мы сворачивали на них для разнообразия или чтобы сократить путь до другого шоссе, и всякий раз пейзаж оказывается просто грандиозным, и мы съезжали с такого проселка успокоенные и радостные. Мы проделывали так множество раз, пока не поняли вещь, очевидную с самого начала: такие дороги в самом деле отличаются от основных. И весь ритм жизни, и личности тех, кто вдоль них живет. Эти люди никуда не едут. Они не слишком заняты и поэтому вежливы. О «здесьности» и «сейчасности» вещей они знают всё. Это другие -- те, кто много лет назад переехал в города, да их потерянные отпрыски -- напрочь забыли про такое. Это новое открытие стало для нас истинной находкой.

Я спрашивал себя: почему нам понадобилось столько времени, чтобы это постичь. Мы это видели, однако не замечали. Или, скорее, нас натаскали *не замечать*. Быть может, нас научили думать, что подлинная жизнь происходит в метрополии, а все остальное -- просто скучное захолустье. Загадка прямо. Истина стучится в дверь, а ты говоришь: «Пошла прочь, я ищу истину». И она уходит. Непонятно.

Конечно, как только нас дорубило, ничто уже не могло согнать нас с этих дорог: уикенды, вечера, отпуска... Мы стали настоящими асами второстепенных дорог и поняли, что в пути, оказывается, можно многому научиться. Мы научились, например, отыскивать хорошую дорогу на карте. Если линия петляет, это хорошо. Холмы, значит. Если дорога похожа на единственный путь из маленького города в большой, это плохо. Лучшие дороги всегда соединяют одно ничто с другим, а добраться туда всегда можно другой дорогой. Если выезжаешь из большого города, скажем, на северо-восток, никогда не следует долго ехать прямо. Сразу отклоняйся к северу, потом к востоку, опять к северу -- и скоро окажешься на второстепенной дороге, по которой ездят только местные жители.

Главное тут -- не заблудиться. Поскольку дорогами пользуются только местные, которые их и так знают, никто не жалуется, что перекрестки никак не обозначены. Так часто бывает. А когда обозначены -- то, как правило, малюсенькой стрелкой, ненавязчиво прячущейся в кустах. И все. Те, кто делают стрелки для проселочных дорог, редко повторяют дважды. Пропустил их знак -- *твоя* проблема, а не их. Более того, приходишь к выводу, что карты автомобильных дорог зачастую неточны в том, что касается грунтовок. И твоя «грунтовая дорога» время от времени просто заводит сначала в две колеи, затем -- в одну, а потом -- на пастбище и там пропадает; или же приводит на задний двор к какому-нибудь фермеру.

Поэтому мотоциклом мы управляем, в основном, методом мысленной прикидки и дедуктивными умозаключениями из тех признаков, которые удастся распознать. У меня в кармане всегда есть компас на случай облачных дней, когда не определишь направление по солнцу. На бензобаке в специальной рамке закреплена карта, по которой можно подсчитать мили от последней развилки и узнать, каких ориентиров искать дальше. С такими орудиями и без давления от мысли «куда-то непременно попасть» все получается просто отлично, и Америка у нас почти в полном распоряжении.

На День Труда и День Памяти⁽¹⁾ мы проезжаем по таким дорогам мило за милей, не встречая ни одной машины, потом пересекаем основную трассу штата и смотрим на автомобили, бампер к бамперу выстроившиеся до самого горизонта. Внутри -- угрюмые физиономии. На задних сиденьях плачут детишки. Все-таки хочется им как-то что-то объяснить, но они хмурятся и, кажется, спешат, поэтому -- фигурки...

Я видел эти болота тысячу раз и всегда -- по-новому. Неверно называть их «блаженными». С таким же успехом можно звать их жестокими и бесчувственными, -- они и жестокие, и бесчувственные, но их *реальность* опрокидывает все скоропалительные концепции. Вот! Огромная стая краснокрылых дроздов, вспугнутая шумом наших моторов, поднимается со своих гнезд в зарослях рогаза. Я хлопаю Крису по коленке еще раз... и вспоминаю, что он их уже видел.

-- Чё? -- снова вопит он.

-- Ничего.

-- Чего?

-- Проверяю, ты еще здесь или уже нет, -- ору я, и разговор прекращается.

Если не особенно любишь орать, содержательных разговоров на мчащемся мотоцикле не получится. Вместо этого все время примечаешь окружающее и размышляешь по его поводу. Виды и звуки, настроение погоды и то, что вспомнится, машина и местность вокруг -- размышления на долгом досуге, без спешки и без осознания пустой траты времени.

Больше всего сейчас хотелось бы использовать данное мне время на разговоры о том, что приходит в голову. Большую часть его мы проводим в такой спешке, что так и не представляется особенного случая поговорить. В результате -- что-то вроде бесконечной повседневной суеты и монотонности, от которой много лет спустя человек вынужден удивляться: куда же ушло все это время, -- и жалеть, что все прошло. Теперь, когда у нас действительно есть немного свободного времени, и мы об этом знаем, я бы хотел подробнее поговорить о том, что мне кажется важным.

А приходит в голову нечто вроде Шатокуа⁽²⁾ (единственное название, которое я могу придумать) -- вроде множества бродячих палаточных Шатокуа, которые раньше ездили по всей Америке, по *той*, в которой мы сейчас: старинная серия популярных бесед, призванных обучать и развлекать, развивать ум и нести культуру, и просвещать уши и мозг слушателей. Шатокуа оттеснили быстродействующие радио, кино и телевидение, и мне кажется, что эта перемена не вполне к лучшему. Возможно, после таких перемен поток национального сознания ускорился и расширился, да только мне думается, что он-таки измельчал. Старые русла не могут больше

удержать его, а в поиске новых он только несет больше хаоса и разрушений на свои берега. В этом Шатокуа я хотел бы не прокладывать новые русла сознания, а глубже раскопать старые, забытые грязным илом застоявшихся мыслей и слишком часто повторяемых банальностей. «Что нового?» -- интересный и просвещающий вечный вопрос, но если ему следовать исключительно точно, он может привести лишь к нескончаемому параду мелочей и мод, к илу завтрашнего дня. Вместо этого мне бы хотелось интересоваться другим: «Что лучшего?» -- вопросом, режущим не широко, а, скорее, глубоко, вопросом, ответы на который помогают спустить ил по течению. В человеческой истории есть эпохи, когда русла мысли прорезались слишком глубоко, и любые перемены оказывались невозможны, ничего нового не происходило, а «лучшее» оставалось вопросом догмы. Сейчас же все не так. Поток нашего общего сознания теперь, кажется, стирает собственные берега, теряя основное направление, топя низины, разъединяя и изолируя возвышенности -- и все это без какой-то особенной цели, кроме зряшного претворения собственного внутреннего импульса. Тут, наверное, требуется углубление русла.

Впереди наши спутники, Джон Сазерленд и его жена Сильвия, съехали на стоянку для пикников. Пора размяться. Я подкатываю к ним свою машину, Сильвия снимает шлем и встряхивает волосами, а Джон ставит БМВ на подножку. Никто ничего не говорит. Вместе мы проехали уже столько, что с одного взгляда знаем, как себя чувствует другой. Вот и сейчас мы просто спокойно осматриваемся.

В это время на скамейках еще никого нет. Мы хозяева всей стоянки. Джон шагает по траве к чугунной колонке и начинает качать воду. Крис бредет к маленькому ручейку среди деревьев за бугорком, покрытым травой. Я просто гляжу по сторонам.

Через некоторое время Сильвия садится на деревянную лавку и разминает ноги, поочередно задирая их и опустив голову. Она всегда мрачнеет в долгих паузах, и я ей что-то замечаю по этому поводу. Она поднимает на меня глаза, потом снова опускает их к земле.

-- Все дело в людях и в машинах на той дороге, -- говорит она. -- Первый мужчина был таким грустным.

Следующий -- точно такой же, за ним еще один, и еще: все они одинаковы.

-- Они просто ехали на работу.

Сильвия все отлично понимает, но ничего надуманного в ее словах нет.

-- Понимаешь, *работа*, -- повторяю я. -- В понедельник утром. Полусонные. Кто в понедельник утром ездит на работу, улыбаясь?

-- Дело просто в том, что они на вид все такие *потерянные*, -- говорит она. -- Будто умерли. Как похоронная процессия.

Она опускает ноги на землю.

Я понимаю, что она имеет в виду, но логически это ни к чему не приведет. Работаешь, чтобы жить, и как раз этим они занимаются.

-- Я смотрел на болота, -- говорю я.

Немного погодя она поднимает голову и спрашивает:

-- Что видел?

-- Целую стаю краснокрылых дроздов. Они все вдруг взлетели, когда мы проезжали.

-- А-а.

-- Я обрадовался, когда снова их увидел. Они связывают все друг с другом, мысли и прочее. Понимаешь?

Она задумывается, а потом улыбается. За нею -- темно-зеленые деревья. Сильвия понимает особый язык, который не имеет ничего общего с тем, что произносишь. Дочка.

-- Да, -- говорит она. -- Они прекрасны.

-- Понаблюдай за ними.

-- Ладно.

Появляется Джон и проверяет багаж на мотоцикле. Поправляет веревки, потом открывает седельную сумку и начинает в ней копать. Выкладывает что-то на землю.

-- Если вам когда-нибудь понадобится веревка, не стесняйтесь, -- говорит он. -- Боже, да у меня ее, кажется, в *пять* раз больше, чем нужно.

-- Пока не надо, -- отвечаю я.

-- Спички? -- спрашивает он, продолжая копать. -- Лосьон от загара, расчески, шнурки... *шнурки*? Зачем нам шнурки от ботинок?

-- Давай *не будем*, -- говорит Сильвия. Они каменными взглядами смотрят друг на друга и оба поворачиваются ко мне.

-- Шнурки могут сломаться в любой момент, -- торжественно произношу я. Они улыбаются, но не друг другу.

Вскоре возвращается Крис, можно ехать дальше. Пока он собирается и влезает в седло, они выезжают, и Сильвия машет нам рукой. Мы снова на шоссе, и я смотрю, как они впереди набирают дистанцию.

Шатокуа, пришедший мне в голову на это путешествие, вдохновила много месяцев назад эта парочка, и, возможно, -- хоть я точно и не знаю, -- он соотносится с некоторым подводным течением дисгармонии между ними.

Дисгармония наверняка довольно обычна при любом браке, но в их случае она трагичнее. Мне, во всяком случае, так кажется.

Это не столкновение личностей; между ними тут нечто другое, за что ни одного нельзя винить, но решить это никто из них не может. Не уверен и я, есть ли решение для них и у меня -- так просто, мысли разные бродят... Мысли эти начались с, казалось бы, незначительной разницы моего и Джона мнений по совершенно не важному поводу: насколько следует заботиться о своем мотоцикле. Для меня естественно и нормально пользоваться небольшими наборами инструментов, читать инструкции, прилагающиеся к каждой машине, настраивать и регулировать ее самому. Джон возражает. Он предпочитает, чтобы об этом заботился компетентный механик, чтобы все делалось правильно. Обе точки зрения совершенно нормальны, и это незначительное расхождение во взглядах никогда бы не увеличилось, если бы мы не тратили столько времени в совместных путешествиях и не сидели бы в придорожных забегаловках за пивом, болтая о том, что приходит в голову. А в голову лезет обычно то, о чем думаешь последние полчаса с тех пор, как в последний раз поговорили. Когда думаешь о дороге, погоде, людях, старых добрых временах или о том, что пишут в газетах, разговор вполне естественно выстраивается приятным образом. Но каждый раз, когда речь заходит о работе машины, всякая конструктивная беседа прекращается. Разговор тормозится, наступает молчание и пауза в общей непрерывности. Сидят, например, два старых друга, католик и протестант, пьют пиво, и тут вдруг чего-то ради возникает тема контроля рождаемости. Все вымерзают.

Когда такое случается, это напоминает зуб с выпавшей пломбой. Невозможно оставить в покое. Его надо осторожно пробовать, разрабатывать местность вокруг, пихать его языком, думать о нем -- и не потому, что это доставляет удовольствие, а потому, что мысль о нем лезет в голову, а вылезать никак не хочет. И чем больше я щупаю и пихаю тему ухода за мотоциклом, тем больше он раздражается, а это, разумеется, вдохновляет меня щупать и пихать еще больше. Не чтобы подразнить его, а потому что это раздражение кажется симптомом чего-то более глубокого, чего-то лежащего под поверхностью. Того, что не очевидно немедленно.

Когда толкуешь о контроле рождаемости, разговор замораживает не сам предмет спора: больше или меньше следует рожать детей. Он лишь на поверхности. Внутри же -- конфликт веры: эмпирическое планирование общества против авторитета Бога, как учит католическая церковь. Можешь доказывать практичность рассчитанного отцовства, пока самого себя слушать не устанешь, -- это ни к чему не приведет, поскольку твой оппонент не приемлет допущения, что все общественно практичное хорошо само по себе. Хорошость для него имеет иные источники, которые он ценит так же -- если не выше, -- как и общественную пользу.

Так и с Джоном. Я мог проповедовать практическую ценность и достоинства ухода за мотоциклом до хрипоты -- с него все как с гуся вода. После первой же пары фраз на эту тему его глаза совершенно стекленеют, и он меняет предмет беседы или просто смотрит в сторону. Он не хочет об этом слышать.

Сильвия тут совершенно на его стороне. На самом же деле, она еще выразительней. «Это просто все... другое», -- говорит она, если у нее задумчивое настроение. «Как мусор», -- отмахивается, если нет. Они *не хотят* понимать. Хотят *не слышать* про это. И чем сильнее я пытаюсь понять, что именно заставляет меня наслаждаться механикой, а их -- ее ненавидеть, тем более неуловимым оно становится. Конечная причина этой, поначалу небольшой, разницы мнений, оказывается, залегает глубже, намного глубже.

Их неспособность исключается моментально. Они оба более чем достаточно сообразительны. Любой мог бы научиться отлаживать мотоцикл за полтора часа, если бы приложил сюда ум и энергию, а сбереженными деньгами, энергией и отсутствием всяких задержек им за эти усилия отплатилось бы стократно. И они это *знают*. А может, и нет. Трудно сказать. Я никогда не задаю им таких вопросов. Лучше просто смириться.

Но помню, как-то раз перед баром в Сэвидже, Миннесота, на просто испепеляющей жаре я чуть было не сорвался. Мы просидели там где-то около часа, а когда вышли, машины так раскалились, что на них едва можно было сесть. Я уже завелся и готов ехать, а Джон еще давит на дрычло. Бензином воняет так, будто рядом нефтебаза -- я говорю ему об этом, думая, что он и так поймет: перекачал.

-- Да, я тоже чувствую, -- отвечает он и продолжает качать. Все качает, качает, качает и качает, я уже *не знаю*, как еще ему сказать. Наконец, сам заводится уже по-настоящему, по лицу катится пот, сил жать на педаль больше нет, поэтому я предлагаю ему вытащить свечи и просушить их, проветрить цилиндры, а мы пока сходим и возьмем еще по пивку.

О, Бог ты мой, нет! Он не хочет влазить во все это.

-- Во что -- «в это»?

-- Ну, доставать инструменты там и все такое... Чего ради ему не заводится? Совершенно новая машина, а я все делаю по инструкциям. Смотри -- подсосу на полную, как говорится.

-- Подсос на *полную*?

-- Так в инструкции написано.

-- Так то ж когда *холодно*!

-- Но мы же там всего каких-то полчаса просидели, -- недоумевает он.

Ну, это меня совсем...

-- Сегодня жарко, Джон, -- говорю я. -- А им надо остывать дольше даже в мороз.

Он чешет голову:

-- А почему тогда об этом в инструкции не пишут?

Он закрывает воздухан, и мотоцикл заводится со второго качка.

-- Так вот в чем дело, наверное, -- радостно говорит он.

На следующий день мы проезжали мимо того же самого места, и история повторилась. Но я был полон решимости не произносить ни слова, и когда моя жена попросила сходить и помочь ему, я покачал головой. Я сказал ей, что пока он действительно глубоко свою нужду не прочувствует, любую помощь он будет просто отвергать. Поэтому мы отошли в сторону, сели в теньке и стали ждать.

Я заметил, что, давя на дрочило, от был сверхвежлив с Сильвией, что означало крайнюю степень гнева, а она взирала на все это с выражением «О, боги!» на лице. Задай он один-единственный вопрос, я бы подскочил к нему поставить диагноз через секунду же, но он этого не сделал. Прошло, должно быть, минут пятнадцать, прежде чем он завелся.

Потом мы снова пили пиво у озера Миннетонка, и все за столом болтали, а он молчал, и я видел, как внутри он весь скручен в узлы. Хотя столько времени уже прошло. Может, чтобы развязаться, он, наконец, сказал:

-- Знаешь... когда он не заводится вот так, это просто... Я на самом деле превращаюсь в такого *монстра* внутри. У меня просто паранойя начинается из-за этого.

После этих слов он, кажется, расслабился и добавил:

-- У них ведь был только *этот* мотоцикл, понимаешь? Вот эта *задрота*. И они не знали, что с ним делать: отослать обратно на завод, сдать в металлолом или еще что-нибудь... А в последний момент они увидели, как подошел я. С восемнадцатью сотнями в кармане. И они поняли, что проблем у них больше нет.

Я этак вот нараспев повторил ему свой призыв к собственноручной регулировке мотоцикла, и он очень старался слушать внимательно. Иногда он действительно очень старается. Но потом опять все блокировалось, он отошел к бару взять всем нам выпить, и тема закрылась.

Он не упрям, не ограничен, не ленив, не глуп. Легкого объяснения просто нет. Поэтому все так и повисло в воздухе. Тайна, разгадывать которую прекращаешь, поскольку нет смысла ходить вокруг да около, а потом опять вокруг в поисках ответа, которого все равно нет.

Меня осенило: может, это я -- такой странный? Но мысль отпала сама собой: большинство мототуристов знают, как регулировать свои машины. Владельцы автомобилей обычно не трогают двигатель, но в каждом городе абсолютно любых размеров есть гараж с дорогими подъемными устройствами, специальными инструментами и диагностическим оборудованием, которых не может себе позволить средний автомобилевладелец. А двигатель автомашины гораздо сложнее и недоступнее двигателя мотоцикла, поэтому смысла здесь больше. Для мотоцикла же Джона -- БМВ Р60, -- спорить готов, -- механика отсюда до Солт-Лейк-Сити не найдется. Если его контакты или свечи полетят, ему хана. Я *знаю*, что у него не найдется с собой набора запасных контактов. Ему не ведомо, что такое контакты. Если мотоцикл подведет его на западе Южной Дакоты или в Монтане, прямо не знаю, что он будет делать. Там его можно только индейцам продать. Чем он занимается сейчас, я знаю: старательно избегает вообще об этом думать. БМВ известен тем, что в дороге не создает хозяину никаких механических проблем, и именно на это Джон рассчитывает.

Сначала я думал, что таково их особое отношение к мотоциклам, но позже обнаружил, что оно простирается и на другие вещи... Сидя как-то утром у них на кухне и ожидая, пока они соберутся ехать, я заметил, что кухонный кран течет, и вспомнил, что из него капало и в прошлый раз -- фактически, он капал, сколько я могу себе припомнить. Я что-то сказал им по этому поводу, а Джон ответил, что пытался промыть его новым чистящим средством, но ничего не вышло. Вот и все, что он сказал. Подразумевалось, что вопрос исчерпан. Если пытаешься починить кран, и починка не удастся, значит просто суждено жить с капающим краном.

Тут я вынужден был задать себе вопрос: а не действует ли им на нервы это кап-кап-кап -- неделю за неделей, год за годом? Но никакого раздражения, никакой озабоченности этим с их стороны я не заметил, поэтому заключил, что их просто не беспокоят вещи вроде капающих кранов. Есть такие люди.

Почему именно я изменил это заключение, не помню... но как-то интуитивно я понял; возможно, по легкой перемене в настроении Сильвии как раз в тот момент, когда кран капал особенно громко, а она что-то говорила. У нее очень тихий голос. И вот однажды, когда она пыталась перекричать падавшие капли, а дети вбежали и перебили ее, она вышла из себя. Ее злость на детей не была бы, наверное, такой сильной, если бы кран не капал. Ее взорвало капанье вкупе с детским шумом. Но что меня особенно поразило -- она *не возлагала* вины на кран, она *намеренно* не возлагала вины на кран. Нет, она не игнорировала кран вовсе! Она *подавляла* ярость на него, а этот распроклятый капавший кран почти что *убивал* ее! Но она почему-то не могла признать, что этот кран важен.

Зачем подавлять ярость на капающий кран? -- удивлялся я.

Потом же это наложилось на уход за мотоциклом, и у меня над головой вспыхнула одна из таких маленьких электролампочек; я подумал: А-а-а-а!

Дело не в уходе за мотоциклом, не в кране. Они не приемлют технику вообще. Потом же все это начало совпадать, и я уже понимал, в чем дело. Раздражение Сильвии, когда один приятель сказал, что считает компьютерное программирование «творчеством». На всех рисунках, картинах и фотографиях у них нет ни единого технического предмета. Конечно, к чему ей злиться на этот кран, подумал я. Всегда подавляешь единичные вспышки ярости на то, что ненавидишь глубоко и постоянно. Конечно, Джон устраняется всякий раз, когда речь заходит о ремонте мотоцикла, даже если очевидно, что он от этого страдает. Это техника. Конечно же, естественно, очевидно. Так просто, когда это видишь. Сбежать от техники в деревню, на свежий воздух, на солнышко -- вот первейшая причина того, что они взобрались на мотоцикл. И когда я заставляю их о ней вспомнить как раз в тот момент и в том месте, когда и где они считают, что наконец от нее избавились, оба

мгновенно замораживаются напрочь. Вот почему разговор прерывается и останавливается, когда возникает эта тема.

И другое сюда подходит. Они лишь изредка -- да и то самым возможным минимумом вымученных слов -- говорят об «этом» или про «все это», как, например, во фразе: «От этого просто никуда не деться». И если я спрашиваю: «От чего -- этого?» -- ответ может быть «От всего этого вместе», или «От всего организованного», или даже «От системы». Сильвия однажды сказала, как бы обороняясь: «Ну, *ты-то* знаешь, как *справиться* с этим», -- что заставило меня в тот момент так возгордиться, что я просто не решился спросить, что «это» означает, а посему оставался несколько озадачен. Я сначала думал, дело в чем-то более таинственном, нежели просто в технике. Но теперь вижу, что это в основном (если не полностью) и было просто техникой. Однако, даже так говорить не совсем правильно. «Это» является чем-то вроде силы, осуществляющей развитие техники, чем-то неопределенным, но нечеловеческим; механическим, безжизненным, слепым чудовищем, силой смерти. Чем-то ужасным, от чего они бегут, но никогда не смогут избежать. Я слишком утрирую, пожалуй, но это существует -- только менее определенно и не так сильно выражено. Где-то есть люди, понимающие это и этим управляющие, но то -- технари, они изъясняются на нечеловеческом языке, когда объясняют то, чем именно занимаются. Все это все -- части и взаимоотношения вещей неслыханных, они никогда не наполнятся смыслом, сколько бы про них не слушал. Их вещи, их чудовище продолжает пожирать землю, загрязнять воздух и озера, и этому никак нельзя отомстить, этого никак нельзя избежать.

К такому отношению нетрудно прийти. Проезжаешь через плотный промышленный район крупного города, а там одна сплошная техника. Район огораживают высокие заборы с колючей проволокой, закрытые ворота, таблички ВХОД ВОСПРЕЩЕН, а за всем этим в прокопченном воздухе видишь странные уродливые формы из металла и кирпича, чье предназначение неизвестно, чьих хозяев никогда не увидишь. Ты не знаешь, зачем это, почему оно здесь, никто тебе не скажет, и только и можешь, что чувствовать свое отчуждение, будто этому вовсе не принадлежишь. Тот, кто владеет этим и понимает это, не хочет, чтобы ты здесь был. Вся эта техника неким образом превращает тебя в чужака в собственной стране. Сама ее форма, внешний вид и таинственность говорят: «Пошел вон». Ты понимаешь, что где-то всему этому есть объяснение, и то, *что именно* оно все производит, несомненно служит каким-то косвенным путем человечеству, но всего этого ты не видишь. Видишь же только таблички ВХОД ВОСПРЕЩЕН, ХОДА НЕТ, видишь не то, что служит людям, а самих маленьких людишек -- словно муравьев, -- которые прислуживают этим странным непостижимым формам. И ты думаешь: даже если бы я был частью этого, даже если бы я не был чужаком, то был бы всего лишь еще одним муравьем в услужении у этих форм. Поэтому окончательное твое чувство -- враждебность; поэтому я и думаю, что именно она, в конечном счете, и лежит в основе такого отношения Джона и Сильвии, иначе не объяснимого. Все связанное с клапанами, валами и гаечными ключами, -- часть *этого* дегуманизированного мира, и они уж лучше про него думать вообще не будут. Они не хотят в него влезать.

Коли это так, то Джон и Сильвия тут не одни. Вопрос не стоит, следуют ли они в этом своим естественным чувствам, или пытаются кому-то подражать. Многие другие тоже следуют своим естественным чувствам и не пытаются никому подражать, и естественные чувства этого огромного большинства людей здесь сходятся. Поэтому когда помотришь на них коллективно, как это делают журналисты, то получишь иллюзию массового движения, целого поднимающегося политического, антитехнологического левого крыла, возникающего из явного ниоткуда и при этом требующего: «Остановите технику. Пусть она будет где-нибудь в другом месте. Только не здесь.» Все это еще как-то удерживается тоненькой паутинкой логики, подсказывающей, что без фабрик не будет ни работы, ни уровня жизни. Но есть человеческие силы сильнее логики. Они существовали всегда, и если достаточно окрепнут в своей ненависти к технике, паутинка эта может и порваться.

Для антитехнарей, людей антисистемы, изобрели клише и стереотипы -- например, «битник», «хиппи»; и они будут появляться и впредь. Но отдельных личностей не превратить в толпу простой чеканкой массового термина. Джон и Сильвия -- не люди толпы, как и все остальные, кто идет своими путями. Как раз против того, чтобы быть массовым человеком, они, кажется, и восстают. И чувствуют, что техника очень сильно завязана с теми силами, которые пытаются обратить их в людей толпы; им это не нравится. Пока сопротивление, в основном, пассивно: побеги на природу, когда получается, и тому подобное, -- но оно не обязательно должно быть пассивным.

Я не согласен с ними насчет ухода за мотоциклом, но не потому, что не сочувствую их отношению к технике. Просто я думаю, что их бегство и ненависть к ней их же самих разоружают. Будда, Верховное Божество, столь же удобно располагается в платах цифрового компьютера или в шестернях трансмиссии мотоцикла, как и на вершине горы или в цветочных лепестках. Думать иначе -- унижать себя. Вот об этом я и хочу поговорить в своем Шатокуа.

Мы уже выехали из болот, но душно по-прежнему: можно не мигая смотреть на желтый круг солнца, будто небо затянуло дымом или смогом. Но теперь нас окружает зелень. Домики фермеров чисты, белы и свежи. И нет ни дыма, ни смога.

Дорога разворачивается дальше... Мы останавливаемся передохнуть и пообедать и, немного поболтав, пускаемся в долгий перегон. Возникшая полуденная усталость уравнивает возбуждение первого дня пути, и мы продвигаемся вперед равномерно -- не быстро и не медленно.

Мы попали в струю ветра с юго-запада, и мотоцикл как бы сам по себе кренится навстречу порывам, противодействуя им. Позже появится ощущение чего-то необычного на этой дороге: будто за нами наблюдали или следили. Но впереди -- ни машины, а в зеркальце далеко позади видны только Джон и Сильвия.

Мы пока не в Дакотах, но просторные поля наводят на мысль, что мы приближаемся. Некоторые -- сплошь голубые от цветущего льна: он колышется длинными волнами, словно поверхность океана. Изгибы холмов круче, чем прежде, теперь они высятся над всем остальным, кроме неба -- оно кажется еще шире. Фермы вдали -- такие маленькие, что их едва можно различить. Земля начинает раскрываться.

Не существует какого-то места или четкой линии, где Центральные Равнины заканчиваются, а Великие -- начинаются. Хотя смена, как сейчас, и постепенная, но застает врасплох. Будто выходишь в открытое море из какой-нибудь щелистой гавани, замечаешь, что накат волн стал больше, оглядываешься -- а земли уже не видать. Деревьев здесь меньше, и внезапно я понимаю: они уже не местные, их сюда привезли и высадили вокруг домов для защиты от ветра. Там же, где их не сажали, ни подлеска, ни неопрошенного молодняка нет -- одна трава, иногда дикие цветы и сорняки, но в основном -- трава. Начинаются луга. Мы в прериях.

У меня предчувствие, что никто из нас полностью не представляет, какими будут четыре июльских дня в этих прериях. Когда вспоминаешь автомобильные поездки через них, то в памяти всплывают всегда одна плоскость и огромная пустота, насколько хватает глаз, крайняя монотонность и скука, -- а ты все едешь, за часом час, никуда не приезжая и не зная, сколько это еще будет продолжаться: без единого поворота, безо всяких перемен на поверхности, простирающейся до самого горизонта.

Джона беспокоило, что Сильвия может быть не готова к таким неудобствам, и он сначала хотел, чтобы она добралась до Биллингса, Монтана, самолетом, но мы с Сильвией отговорили его. Я доказывал, что физический дискомфорт важен только когда не то настроение. Тогда только пристегиваешься к тому, что доставляет неудобство, и именно его называешь причиной. Но если настроение -- в порядке, то физический дискомфорт почти ничего не означает. А раздумывая о настроениях и чувствах Сильвии, я не замечал, чтобы она жаловалась. К тому же, добравшись до Скалистых Гор самолетом, видишь их только в одном контексте -- как милый пейзаж. А провести много дней в трудном пути через прерии -- значит увидеть их совершенно по-другому: как цель, как землю обетованную. Если бы Джон, я и Крис приехали с таким чувством, а Сильвия -- считая их «миленькими» и «приятными», то между нами возникло бы больше дисгармонии, чем из-за жары и монотонности Дакот. И в любом случае мне нравится с нею болтать, поэтому я думаю и о себе тоже.

Когда я смотрю на эти поля, мысленно я говорю ей: «Видишь?.. Видишь?..» -- и мне кажется, что она видит. Я надеюсь, что потом как-нибудь она увидит и почувствует в этих прериях что-то такое, о чем я уже перестал рассказывать другим: то, что здесь существует, поскольку нет чего-то другого, и что только благодаря этому можно заметить. Иногда, кажется, ее очень подавляет монотонность и скука городской жизни, так что я думаю: может быть, в этой бесконечной траве и ветре она увидит то, что иногда приходит, когда монотонность и скуку принимаешь. Это есть здесь, но у меня нет для него названия.

Вот на горизонте я вижу то, чего, наверное, пока не видят остальные. Далеко к юго-западу (можно разглядеть только с вершины этого холма) у неба появляется темный краешек. Идет гроза. Может, именно это и беспокоило меня. Намеренно выпихивалось из головы, но все время осознавалось: с такой духотой и ветром гроза более чем вероятна. Плохо, что в первый день, но, как я уже сказал, на мотоцикле ты -- *внутри* самого действия, а не просто наблюдаешь за ним. А грозы -- его часть вне всякого сомнения.

Если гроза заденет краешком или налетит прерывистыми шквалами, то можно попытаться проскочить. Однако сейчас все по-другому. Тот длинный темный мазок безо всяких перистых облаков перед ним -- холодный фронт. Холодные фронты свирепы, а когда идут с юго-запада -- свирепы вдвойне. Часто они несут с собой торнадо. Когда они приходят, лучше всего просто спрятаться и переждать. Они непродолжительны, а в послегрозовой прохладе ехать приятнее.

Хуже всего -- фронты теплые. Дожди могут идти целыми днями. Помню, мы с Крисом ехали в Канаду несколько лет назад; проехали что-то около 130 миль и попали в теплый фронт, о котором нас многое предупреждало, но мы так ничего и не поняли. Все пережитое было каким-то тупым и грустным.

Мы ехали на маленьком мотоцикле в шесть с половиной лошадиных сил, перегруженные багажом и не слишком обремененные здравым смыслом. Он мог выдавать всего около 45 миль в час при умеренном встречном ветре. Отнюдь не для туризма. В первый вечер мы доехали до большого озера в Северных Лесах и разбили палатку под проливным дождем, шедшим всю ночь. Я забыл окопать палатку, и около двух ночи к нам ворвался поток воды и насквозь промочил оба спальника. Наутро мы встали мокрыми, подавленными и невыспавшимися, но я подумал, что если мы просто поедem дальше, дождь через некоторое время сдаться и перестанет. Дудки. К десяти утра небо потемнело так, что все машины зажгли фары. Тут-то все и началось.

На нас были пончо, служившие прошлой ночью палаткой. Теперь они распахнулись, как паруса, и тормозили нас до 30 миль в час. Вода заливала дорогу на два дюйма. Вокруг сверкали молнии. Я помню изумленное лицо женщины за стеклом встречной машины: что, ради всего святого, мы делаем на мотоцикле в такую погоду? Уверен, я не смог бы ей ответить.

Скорость упала до двадцати пяти, потом до двадцати. Затем мотоцикл стал давать осечки, кашлять, стрелять и дребезжать, пока, наконец, еле-еле тащась на 5-6 милях в час, мы не нашли старую полузабытую бензоколонку возле лесосеки и не встали на стоянку.

В то время я, как и Джон, не придавал особого значения уходу за мотоциклом. Помню, держа пончо над головой, чтобы прикрыть бензобак, я покачал мотоцикл между ног. Бензин, вроде, плескался. Я посмотрел на свечи и посмотрел на контакты, посмотрел на карбюратор и стал качать качать дрычило, пока не выдохся.

Мы зашли на бензоколонку, оказавшуюся, к тому же, гибридом пивной и ресторана, и съели по пережаренному бифштексу. Потом я снова вышел и попытался завести машину. Крис продолжал задавать дурацкие вопросы, что меня уже начинало злить, поскольку он не видел, насколько все серьезно. Наконец, я понял, что все бестолку, сдался, и моя злость на него прошла. Как можно бережнее я объяснил ему, что все кончилось. В этот отпуск мы никуда на мотоцикле не едем. Крис стал предлагать, например, проверить бензин, что я уже сделал, или поискать механика. Но механиков там никаких не было. Только обрубки сосен, кусты и дождь.

Я сидел с ним в траве на обочине дороги, разгромленный, уставившись в деревья и кустарник. Я терпеливо ответил на все его вопросы, и чем дальше, тем реже и реже он их задавал. И когда Крис, наконец, понял, что наше путешествие действительно завершилось, он заплакал. Ему было лет восемь тогда, наверное.

Мы добрались до нашего города автостопом, взяли напрокат трейлер, прицепили к машине, приехали и забрали мотоцикл, доставили его обратно и начали все снова -- уже на машине. Но это было уже не то. Много радости нам это не принесло.

Через две недели после того, как отпуск закончился, как-то вечером после работы я снял карбюратор посмотреть, что же все-таки произошло, но найти ничего не смог. Чтобы снять грязь, прежде чем поставить его на место, я повернул ventиль бензобака, слить немного горючего. Ничего не вылилось. В баке было пусто. Я не верил своим глазам. Я до сих пор едва могу в это поверить.

Я сотни раз мысленно пинал себя за эту глупость и, наверное, никогда не оправлюсь от этого по-настоящему.

Очевидно, плескалось горючее в запасном баке, который я так и не использовал. Я не проверил тщательно, поскольку допустил, что двигатель не работал из-за дождя. Тогда я не понимал еще, насколько глупы такие скороспелые допущения. Теперь мы сидим на машине в двадцать восемь лошадей, и к уходу за ней я отношусь очень серьезно.

Внезапно Джон обгоняет меня, ладонь повернута вниз, что означает остановку. Мы сбавляем скорость и ищем, где съехать на обочину. Край бетонки сильно выступает, гравий совсем не утрамбован, и мне такой маневр совершенно не нравится.

Крис спрашивает:

-- Зачем мы остановились?

-- Мне кажется, мы пропустили поворот, -- говорит Джон.

Я оборачиваюсь и ничего не вижу:

-- Я не видел никаких указателей.

Джон качает головой:

-- Здоровый, как амбарные ворота.

-- Да?

Они с Сильвией кивают.

Джон наклоняется, всматривается в мою карту и показывает, где был поворот, потом -- на виадук после него.

-- Мы уже проехали виадук.

Я вижу, что он прав. М-да.

-- Вперед или назад? -- спрашиваю я.

Он думает.

-- Думаю, нет резона возвращаться. Хорошо, поехали вперед. Так или иначе, доедем.

И вот теперь, пристраиваясь им в хвост, я думаю: с чего бы это? Я едва заметил перекресток с трассой. А до этого забыл сказать им про грозу. Как-то выбивает из колеи.

Край грозового облака вырос, оно движется не так быстро, как я рассчитывал. Не очень хорошо. Когда тучи быстро надвигаются, они быстро и проходят. Когда они подкрадываются медленно -- как сейчас, -- можно прилично застрять.

Зубами стаскиваю перчатку, наклоняюсь и щупаю алюминиевый бок двигателя. С температурой все в порядке. Слишком тепло, чтоб держать руку долго, но не обожжешься. Ничего страшного.

У двигателей с воздушным охлаждением, как этот, от перегрева может случиться «припадок». У этой машины был один такой... нет, три. Время от времени я его проверяю, как проверял бы пациента с сердечным приступом, если даже он, кажется, уже поправился.

Во время припадка поршни расширяются от перегрева, становятся слишком велики для стенок цилиндров, застревают в них, иногда вплавляются, двигатель глохнет, заднее колесо замыкает, и мотоцикл бросает юзом. Когда так случилось в первый раз, голову мне закинуло дальше переднего колеса, а мой пассажир оказался почти верхом на мне. При тридцати двигатель опять расклинило, и он заработал нормально, но я съехал с дороги и остановился посмотреть, что произошло. Пассажир мой только и мог сказать: «А это ты для чего сделал?» Я пожал плечами, поскольку недоумевал так же, как и он, и просто таращился на мотоцикл, а машины мчались мимо. Мотор так раскалился, что воздух вокруг него дрожал, и мы ощущали жар. Когда я коснулся его мокрым пальцем, он зашипел, как горячий утюг, и мы медленно поехали домой. Звук у мотора изменился: хлопки, означавшие, что поршни не соответствуют цилиндрам, и тут нужен буксир.

Я отвез его в мастерскую, ибо не думал, что с ним произошло что-то достаточно серьезное, чтобы оправдать меня, если я влезу туда самостоятельно: придется изучать все эти сложные детали, может даже заказывать запчасти и специальные инструменты, все это займет кучу времени, хотя можно сделать так, чтобы мотоциклом занялся кто-то другой и сделал все побыстрее, -- типа того, как к этому относился Джон.

Мастерская отличалась от тех, что я помнил. Если раньше все механики выглядели древними ветеранами, то теперь походили на простых пацанов. Радио орало во всю, а они болтали между собой, выпендривались и меня, кажется, совсем не замечали. Когда один из них, наконец, подошел, то, едва послушав хлопки поршней, сразу сказал: «Ах, да. Перепускные болты.»

Перепускные болты? Кабы знать тогда, во что это выльется.

Через две недели я заплатил им по счету 140 долларов и начал осторожненько ездить, переключая малые скорости, чтобы все в нем приработалось, а, проехав с тысячу миль, врубил полный газ. При семидесяти пяти его заело снова, а при тридцати опять отпустило, как и раньше. Когда я привез его обратно, они обвинили меня, в том, что я неправильно ввожу его в режим, но после долгих споров все-таки согласились заглянуть внутрь. Они снова его разобрали и сами вывели на скоростные испытания.

На этот раз он заглох у них.

После третьего капремонта два месяца спустя они заменили цилиндры, поставили новые жиклеры главного карбюратора, отрегулировали зажигание так, чтобы он работал как можно спокойнее, и сказали мне: «Только не гоняйте его чересчур».

Мотоцикл был весь в грязи и не заводился. Я обнаружил, что свечи отсоединены, ввернул их и завел; вот теперь в самом деле стучали перепускные болты. Они их не отрегулировали. Я сообщил им об этом, пришел пацан с неправильно установленным разводным ключом и быстренько срезал обе алюминиевые головки болтов, тем самым окончательно их загубив.

-- Надеюсь, у нас на складе есть еще, -- сказал он.

Я кивнул.

Он принес молоток с зубилом и начал их расклепывать. Зубило пробило алюминиевую головку, и я увидел, как пацан вгоняет его прямым в головку двигателя. Со следующим ударом он промахнулся полностью и вместо зубила попал молотком по радиатору, отколов часть двух охлаждающих ребер.

-- Ты погоди, -- вежливо сказал я, как в кошмарном сне. -- Ты мне только новые крышки дай, и я его заберу, как он есть.

Я выбрался оттуда как можно быстрее: стучащие болты, пробитые головки, грязная машина, все потом, потом -- и почувствовал сильную вибрацию при скоростях выше двадцати. На обочине я обнаружил, что из четырех болтов, крепящих двигатель, недостает двух, а у третьего не хватает гайки. Весь мотор болтался на одном винтике. Болта верхнего кулачка натяжного устройства цепи тоже не было, а значит регулировать болты все равно было бы бесполезно. Ужас.

И Джон может отдавать свой БМВ в руки таким людям... Я никогда ему об этом не рассказывал. Наверное, следовало.

Причину «припадков» я нашел через несколько недель, ожидая, что это случится снова: маленький 25-центовый штифт во внутреннем маслопроводе, который срезало, и он не пропускал масло в головку при больших скоростях.

Вопрос *почему* приходит в голову снова и снова; именно из-за него мне и хочется сделать этот Шатокуа. Почему они его так искромсали? Они не бежали от техники, как Джон и Сильвия. Они сами были технарями. Перед ними стояла цель: сделать работу, -- а делали они ее, как шимпанзе. Ничего личного. Никаких видимых причин. И я пытался мысленно вернуться в ту мастерскую, в то кошмарное место, и попробовать вспомнить, что могло бы оказаться такой причиной.

Радио -- вот причина. Нельзя одновременно сосредотачиваться на том, что делаешь, и слушать радио. Может, они считали, что их работа не имеет отношения к сосредоточенной мыслительной деятельности, и думали, что это просто -- как ключом гаечным ворочать: а ворочать ключом под музыку всяко приятнее.

Их торопливость -- вот еще одна причина. Они ляпали все в спешке, даже не глядя, где лопухнулись. Так получается больше денег -- если не останавливаешься подумать (что обычно занимает больше времени или же просто получается хуже).

Но самое главное, наверное, -- выражения их лиц. Их трудно объяснить. Добродушные, дружелюбные, свойские -- и непричастные. Как зрители. Такое чувство, что они сами туда только что забрели, а им сунули в руки по

гаечному ключу. Нет причастности к работе. Нет такого, мол: «Я -- механик». Знаешь, что в 17.00 или когда там у них заканчиваются их восемь часов, они отключаются, и больше ни единой мысли о работе. Они и так уже стараются, чтобы ни одной мысли о работе у них не было на *самой* работе. По-своему они достигают того же, что и Джон с Сильвией, живя бок о бок с техникой, но не имея с ней в действительности ничего общего. Или же у них что-то общее с ней-таки было, но их собственные «я» лежали где-то вне ее, отстраненно, удаленно. Они занимались работой, но не настолько, чтобы она их заботила.

Эти механики не только не нашли срезанный штифт; напротив, совершенно ясно, что именно механик и срезал его в самом начале, неправильно надевая боковую крышку. Я вспомнил, как бывший владелец говорил, что его механик жаловался, что крышка плохо садится. Вот и причина. Инструкция в мастерской предупреждала об этом, но, как и остальные, он наверное слишком торопился -- или же ему было наплевать.

За работой я думал как раз об этом наплевательстве в инструкциях к цифровым компьютерам, которые я редактировал. Остальные одиннадцать месяцев в году я зарабатываю на жизнь тем, что пишу и редактирую технические инструкции, и знаю, что в них полно ошибок, двусмысленностей, упущений и информации, настолько исковерканной, что приходится перечитывать по шесть раз, чтобы хоть что-то в них понять. Но вот что поразило меня в самый первый раз -- согласованность этих инструкций со зрительским отношением, с которым я столкнулся в той мастерской. Эти инструкции -- для зрителей. Они подобраны под их формат. В каждой строчке сквозит идея: мол, «вот вам машина, изолированная во времени и пространстве от всего остального во вселенной; она не имеет отношения к тебе, ты не имеешь отношения к ней, если не считать верчения определенных ручек, поддержания уровней питания, проверки условий возникновения ошибки...» и так далее. Вот в чем дело. Механики по своему отношению к машине на самом деле ничем не отличались от отношения инструкции к машине или от меня, привезшего ее к ним. Мы все были зрителями. И меня осенило, что *не существует* инструкции по *настоящему* уходу за мотоциклом, то есть по самому важному аспекту.

Забота о том, что делаешь, либо считается несущественной, либо принимается как должное.

Наверное, в нынешнем путешествии нам следует это замечать, самую малость любопытствовать: найдутся ли у нас в этом странном разграничении того, что человек есть, и того, что он делает, какие-то намеки на то, что же, к чертям собачьим, пошло не так в нашем двадцатом столетии. Я не хочу торопить события. Спешка сама по себе -- отравка двадцатого века. Если хочешь что-то поторопить, значит, тебе больше нет до этого дела, и ты хочешь перейти к чему-то другому. Мне хочется приступить к этой задаче медленно, но осторожно и тщательно -- с тем же отношением, которое появилось у меня перед тем, как я нашел срезанный штифт. Не я, а то мое отношение нашло его -- и ничто иное.

Я вдруг замечаю, что земля сплюснулась в эвклидову плоскость. Ни холмика, ни бугорка. Значит, въехали в Долину Ред-Ривер. Скоро окажемся в Дакотах.

3

К тому времени, как мы выезжаем из Долины Ред-Ривер, грозовые тучи -- повсюду; они чуть ли не накрывают нас.

Мы с Джоном обсудили ситуацию в Брекенридже и решили двигаться дальше, пока не придется остановиться совсем.

Осталось уже недолго. Солнце скрылось, ветер дует холодом, и нас окружает призрачная стена различных оттенков серого.

Она громадна и подавляет собой все остальное. Прерия здесь тоже огромна, но огромность этой серой массы, готовой опуститься сверху, пугает. Мы полностью в ее власти. Когда и где она обрушится на нас -- не нам определять. Мы можем только наблюдать, как она придвигается все ближе и ближе.

Немного раньше -- там, где самая темная часть серого сомкнулась с землей, -- виднелся городок: какие-то домики, водоканка; теперь они исчезли. Скоро нас накроет. Я уже не вижу никаких населенных пунктов, и просто придется мчаться во всю прыть.

Я подтягиваюсь к Джону и выбрасываю вперед руку: полный вперед! Он кивает и рвет вперед. Я даю ему небольшую фору и приноравливаю к его скорости. Машина реагирует прекрасно -- семьдесят... восемьдесят... восемьдесят пять... Вот теперь мы по-настоящему чувствуем ветер, и я опускаю голову, чтобы уменьшить

сопротивление... Девяносто. Стрелка спидометра качается туда-сюда, но на тахометре -- постоянные девять тысяч... под девяносто пять миль в час... а мы держим эту скорость... движемся. Уже не сосредоточиться на обочинах... Я протягиваю руку и щелкаю выключателем фары. Все равно нужно. Безопасности ради. Слишком темно.

Мы несемся по открытой плоской равнине: ни единой машины, лишь кое-где -- деревья, но дорога -- гладкая, чистая, и двигатель звучит плотно, как при высоком числе оборотов в минуту: с ним все в порядке. Становится все темнее и темнее.

Вспышка и «бу-буммм» грома: одно сразу за другим. Я вздрагиваю, голова Криса прижата к моей спине.

Несколько предупредительных капель дождя... при такой скорости они -- как иголки. Вторая вспышка -- БАММ, и все вокруг -- видно, как на ладони... а потом, в ясности следующей вспышки -- та ферма... та мельница... о Господи, он *был* здесь!.. сбросить газ... это *его* дорога... забор и деревья... а скорость падает до семидесяти, потом -- шестьдесят, пятьдесят пять, и я держу ее.

-- Почему мы тормозим? -- кричит Крис.

-- Слишком быстро!

-- Нет!

Я киваю, что да.

Домик и водокачка промелькнули мимо, и теперь появляются небольшая дренажная канава и перекресток с дорогой, уводящей к горизонту. Да... думаю, правильно. Так оно и есть.

-- Они уже далеко! -- вопит Крис. -- Догоняй!

Я мотаю головой из стороны в сторону.

-- Почему? -- вопит он.

-- Опасно!

-- Они уехали!

-- Подождут.

-- Быстрее!

-- Нет. -- Я качаю головой. Просто смутное чувство. На мотоцикле таким чувствам начинаешь доверять, и мы остаемся на пятидесяти пяти.

Начинается дождь, но впереди я замечаю огоньки города... Я знал, что он здесь будет.

Когда мы подъезжаем, Джон и Сильвия уже ждут нас под первым деревом у дороги.

-- Что с вами случилось?

-- Сбросили скорость.

-- *Это* мы поняли. Что-то не так?

-- Нет. Давайте выбираться из-под дождя.

Джон говорит, что на противоположной окраине есть мотель, но я отвечаю, что есть мотель и получше, если повернуть направо по дороге, обсаженной тополями, через несколько кварталов отсюда.

Мы сворачиваем к тополям и проезжаем несколько кварталов -- появляется небольшой мотель. Внутри, в конторе, Джон озирается и произносит:

-- Это *действительно* хорошее место. Когда ты здесь был до этого?

-- Не помню, -- отвечаю я.

-- Откуда ты тогда про него знаешь?

-- Интуиция.

Он смотрит на Сильвию и качает головой.

Сильвия уже некоторое время наблюдает за мной. Она замечает, как слегка дрожат мои руки, когда я расписываюсь в книге регистрации.

-- Ты ужасно бледный, -- говорит она. -- Это на тебя молния так подействовала?

-- Нет.

-- Ты как привидение увидел.

Джон и Крис смотрят на меня, и я отворачиваюсь от них к двери. Дождь по-прежнему как из ведра, но мы делаем рывок к своим комнатам. Все наши вещи на мотоциклах укрыты, и мы переживаем грозу -- потом заберем.

Дождь заканчивается, небо немножко светлеет. Но со двора мотеля я вижу, как за тополями почти совсем собралась другая тьма -- ночная. Мы идем в город, ужинаем, а когда возвращаемся, я чувствую, как дневная усталость по-настоящему наваливается на меня.

Мы почти неподвижно отдыхаем в металлических шезлонгах во дворе мотеля, медленно допивая пинту виски, которую Джон принес из холодильника мотеля вместе с какими-то закусками. Виски проходит внутрь медленно и приятно. Прохладный ночной ветерок постукивает листочками тополей вдоль дороги.

Крис спрашивает, что мы будем делать дальше. Этого пацана ничего не утомляет. Новизна и странность обстановки возбуждают его, и он хочет, чтобы мы пели песни, как они это делали в лагере.

-- Мы не очень хорошо поем песни, -- говорит Джон.

-- Тогда давайте рассказывать истории. -- Крис задумывается. -- А вы знаете что-нибудь интересное о привидениях? Все пацаны в нашем домике рассказывали по ночам о привидениях.

-- Лучше ты нам расскажи, -- просит Джон.

И он рассказывает. Слушать его истории довольно забавно. Некоторые я не слышал с тех пор, как сам был в его возрасте. Я говорю ему об этом, и он хочет послушать мои истории, но я ни одной не помню.

Немного погодя он спрашивает:

-- Ты веришь в привидения?

-- Нет, -- отвечаю я.

-- Почему?

-- Потому что они не-на-уч-ны.

Мой тон заставляет Джона улыбнуться.

-- В них не содержится материи, -- продолжаю я, -- и нет энергии -- а, следовательно, согласно законам науки, они не существуют нигде, кроме как в умах людей.

Виски, усталость и ветер в деревьях начинают мешаться у меня в голове.

-- Конечно, -- прибавляю я, -- законы науки тоже не содержат в себе материи и не имеют энергии, и, следовательно, не существуют нигде, кроме людских умов. Лучше всего сохранить целиком научный подход ко всему вместе и отказаться верить и в привидения, и в научные законы. Только так будешь в безопасности. Для веры во что-то остается очень немного места, но это -- тоже научный подход.

-- Я не понимаю, о чем ты говоришь, -- отвечает Крис.

-- Я просто развлекаюсь.

У Криса опускаются руки, когда я так разговариваю, но не думаю, что он обижается.

-- Один пацан из Христианского союза молодежи говорит, что он верит.

-- Он просто тебя дурачит.

-- Ничего не дурачит. Он сказал, что если людей правильно не похоронили, их призраки возвращаются, чтобы преследовать других людей. Он правда в это верит.

-- Он тебя просто дурачит, -- повторяю я.

-- Как его зовут? -- спрашивает Сильвия.

-- Том Белый Медведь.

Мы с Джоном переглядываемся, внезапно вспомнив одно и то же.

-- А-а-а, *индеец!* -- говорит он.

Я смеюсь.

-- Наверное, придется кое-что пояснить, -- говорю я. -- Я думал о европейских привидениях.

-- Какая разница?

Джон хохочет:

-- Он тебя поймал.

Я на минуту задумываюсь:

-- Ну, у индейцев иногда другой взгляд на вещи, и я не утверждаю, что он полностью неправилен. Наука не есть часть индейской традиции.

-- Том Белый Медведь сказал, что папа и мама не велели ему верить во все это. Но бабушка шепнула ему, что это все равно правда, вот он в это и верит.

Крис умоляюще смотрит на меня. Ему на самом деле иногда *хочется* о чем-то узнать. Развлекаться -- еще не значит быть хорошим отцом.

-- Конечно, -- отвечаю я, давая задний ход, -- я тоже верю в привидения.

Теперь на меня странно смотрят Джон и Сильвия. Я вижу, что на этот раз мне легко не отделаться, и мысленно готовлю себя к долгому объяснению.

-- Совершенно естественно, -- говорю я, -- считать невеждами европейцев или индейцев, веривших в привидения. Научная точка зрения низвела все остальные точки зрения до такого положения, когда все они кажутся примитивными. Поэтому если человек сегодня говорит о призраках или духах, он считается невеждой -- или же чокнутым. Почти невозможно представить себе мир, где могут действительно существовать привидения.

Джон утвердительно кивает, и я продолжаю:

-- Мое личное мнение: интеллект современного человека -- не такое уж совершенство. Коэффициенты интеллекта не слишком отличаются. Те индейцы и средневековые люди были так же умны, как и мы, но контекст, в котором они мыслили, был совершенно иным. В *том контексте* мышления привидения и духи настолько же реальны, насколько для современного человека реальны атомы, частицы, протоны и кванты. В *этом* смысле в привидения я верю. Знаете, у современного человека ведь тоже есть свои призраки и духи.

-- Что?

-- О, законы физики и логики... система чисел... принцип алгебраической подстановки. Все это призраки. Просто мы верим в них так истово, что они кажутся реальными.

-- *Мне* они кажутся реальными, -- говорит Джон.

-- Не улавливаю, -- говорит Крис.

Поэтому я продолжаю.

-- Например, кажется абсолютно естественным подразумевать, что гравитация и закон тяготения существовали до Исаака Ньютона. Только чокнутый, наверное, будет думать, что до семнадцатого века гравитации не было.

-- Конечно.

-- А значит, когда начался этот закон? Он существовал всегда?

Джон хмурится, пытаясь понять, к чему я клоню.

-- А веду я вот к чему, -- говорю я. -- До начала земли, до того, как образовались солнце и звезды, до самого первоначального поколения всего закон тяготения существовал.

-- Еще бы.

-- Сидя в пустоте, не имея ни своей массы, ни собственной энергии, не находясь ни в чьем мозгу, потому что никого просто еще не было, ни в пространстве, потому что и пространства тоже не существовало, нигде -- этот закон тяготения все-таки существовал?

Вот теперь Джон, кажется, уже не так уверен.

-- Если этот закон тяготения существовал, -- говорю я, -- то, честное слово, я не знаю, *что* вещь должна сделать, чтобы *не* существовать. Мне кажется, закон тяготения прошел все испытания на несуществоемость, которые только есть. Вы не придумаете ни единого качества несуществования, которое бы не нашлось у закона тяготения. И ни одного-единственного научного определения существования, которым бы он обладал. И все-таки по-прежнему «здравый смысл» заставляет верить в то, что он существовал.

Джон говорит:

-- Кажется, мне надо будет над этим подумать.

-- Ну, тогда я предсказываю, что ты будешь думать над этим достаточно долго и в конце концов поймешь себя на том, что снова и снова возвращаешься назад -- пока не придешь к единственно возможному, рациональному, разумному заключению. Закона тяготения и самой гравитация *не существовало* до Исаака Ньютона. И ни одно другое заключение не имеет смысла.

А это означает, -- продолжаю я, не дав ему перебить, -- это означает, что закон тяготения не существует *нигде*, кроме как в головах людей! Это призрак! Мы все очень заносчивы и самонадеянны, третируя призраки других, но сами становимся столь же невежественными и суеверными варварами, когда дело доходит до наших собственных.

-- Почему же тогда все верят в закон тяготения?

-- Массовый гипноз. В своей очень ортодоксальной форме, называемой «образование».

-- В смысле, учитель гипнотизирует детей, чтобы те верили в закон тяготения?

-- Конечно.

-- Это абсурд.

-- Вы слышали о важности зрительного контакта в школьном классе? Каждый педагог подчеркивает это. Ни один педагог этого не объясняет.

Джон качает головой и наливает мне еще. Он подносит руку ко рту и театральным шепотом говорит Сильвии:

-- Знаешь, он всегда производил впечатление такого нормального парня.

Я парирую:

-- Это первая нормальная вещь, которую я сказал за последние недели. Остальное время я прикидываюсь безумцем двадцатого века -- таким, как вы. Чтобы не привлекать внимания.

Но *повторю* -- для тебя. Мы верим, что лишённые оболочки слова сэра Исаака Ньютона сидели в самой середине небытия за миллиарды лет до того, как он родился, и что он эти слова магически *открыл*. Они существовали всегда, даже когда ни к чему не применялись. Постепенно появился мир, и они стали применяться к *нему*.

Фактически, сами эти слова и были тем, что образовало мир. Это, Джон, смешно.

Проблема, противоречие, на котором застряли ученые, -- *разум*. Разум не обладает ни материей, ни энергией, но его господства над всем, что они делают, не избежать. Логика существует в умах. Числа существуют только в умах. Я не расстраиваюсь, когда ученые говорят, что привидения существуют в умах. Меня достает лишь вот это *«только»*. Наука тоже -- *только* в твоём уме, и именно это ее не портит.

Они просто смотрят на меня, поэтому я продолжаю:

-- Законы природы -- человеческие *изобретения*, вроде привидений. Законы логики, математики -- тоже человеческие изобретения, вроде привидений. Вся эта благословенная штука -- человеческое изобретение, включая само представление о том, что это -- *не есть* человеческое изобретение. Мир не имеет вообще никакого существования вне человеческого воображения. Все это -- привидение, и в древности его таковым и признали: весь этот благословенный мир, в котором мы живем. Он управляется привидениями. Мы видим то, что видим, потому что привидения нам это *показывают*: призраки Моисея, Христа, Будды, Платона, Декарта, Руссо, Джефферсона, Линкольна -- снова, снова и снова. Исаак Ньютон -- очень хорошее привидение. Одно из лучших. Ваш здравый смысл -- не больше, чем голоса тысяч и тысяч таких привидений из прошлого. Призраки опять и опять. Призраки, которые пытаются найти свое место среди живущих.

Джон, видимо, слишком погружен в мысли, чтобы ответить что-то, но Сильвия возбуждена:

-- Откуда ты *взял* все эти идеи? -- спрашивает она.

Я уже почти готов признаться, но потом передумываю. У меня такое чувство, что я уже и так подтолкнул тему к самому пределу, а может -- и за него, и пришло время отступить.

Немного спустя Джон произносит:

-- Хорошо будет снова увидеть горы.

-- Да, хорошо, -- соглашаюсь я. -- За это по последней!

Мы заканчиваем бутылку и расходимся по комнатам.

Я вижу, что Крис чистит зубы, и на сей раз спускаю ему с рук -- но с обещанием, что примет душ утром. По старшинству захватываю постель у окна. Когда свет уже погашен, он говорит:

-- Теперь расскажи мне про привидение.

-- Я же только что рассказал, во дворе.

-- Нет, ты расскажи *настоящую* историю.

-- Это была самая-пресамая настоящая в жизни история про привидение.

-- Ты знаешь, какую. Другую.

Я пытаюсь вспомнить какую-нибудь из числа привычных.

-- Когда я был мальчишкой, Крис, я знал множество, но теперь все забыл. Пора спать. Нам всем завтра рано вставать.

Тихо, если не считать ветра за жалюзи мотеля. Мысль об этом ветре, несущемся к нам через открытые равнины прерий, успокаивает и убаюкивает меня. Ветер поднимается и опускается, потом поднимается и вздыхает, и опускается опять... с такого огромного расстояния.

-- Ты когда-нибудь сам встречал призрака? -- спрашивает Крис.

Я уже почти сплю.

-- Крис, -- отвечаю я, -- у меня однажды был приятель, который всю свою жизнь потратил на то, чтобы ничего не делать, а только охотиться на привидение, и это было пустой тратой времени. Поэтому спи.

Я осознаю свою ошибку слишком поздно.

-- Он его нашел?

-- Да, Крис, он его нашел.

Мне по-прежнему хочется, чтобы Крис только слушал ветер, а не задавал вопросы.

-- А потом он что сделал?

-- Проучил его хорошенько.

-- А потом?

-- А потом сам стал привидением.

У меня почему-то возникла мысль, что это убаюкает Криса, но ничего подобного не происходит -- я только просыпаюсь еще больше сам.

-- Как его зовут?

-- Ты его не знаешь.

-- Ну *как*?

-- Не важно.

-- Ну, все равно -- как?

-- Поскольку, Крис, это не важно, то его зовут Федр. Ты такого имени не знаешь.

-- Это ты *его* видел на мотоцикле под дождем?

-- С чего ты это выдумал?

-- Сильвия сказала, что ты увидел привидение.

-- Это она просто так выразилась.

-- Пап?

-- Крис, пусть это будет твой последний вопрос, а то я рассержусь.

-- Я просто хотел сказать, что ты правда разговариваешь так, как никто больше не разговаривает.

-- Да, Крис, я знаю, -- отвечаю я. -- В этом-то и проблема. Теперь спи.

-- Спокойной ночи, пап.

-- Спокойной ночи.

Через полчаса он уже сонно дышит, ветер несколько не утих, а у меня сна ни в одном глазу. Там, за окном, в темноте этот холодный ветер пересекает дорогу, теряется в деревьях, листья -- посверкивающие блестки лунного света: никакого сомнения быть не может, Федр все это видел. У меня нет ни малейшего понятия, что он здесь делал. Я, вероятно, никогда не узнаю, зачем он поехал по этой дороге, но он был здесь, направлял нас по этому странному пути, был с нами все это время. Выхода нет.

Вот бы сказать, что не знаю, почему он здесь, но, боюсь, должен признаться, что знаю. Все, что я говорил о науке и призраках, и даже та мысль о заботе и технологии сегодня днем -- все они не мои. На самом деле, у меня уже много лет как нет новых идей. Они украдены у него. И он наблюдает. Вот почему он здесь.

С таким признанием, надеюсь, он теперь позволит мне немного поспать.

Бедный Крис. «Ты знаешь какие-нибудь истории о привидениях?» Я мог бы рассказать ему одну, но даже сама мысль об этом пугает.

В самом деле пора спать.

В каждом Шатокуа где-то должен быть список ценных вещей, которые надо не забыть; он должен храниться в каком-нибудь безопасном месте, чтобы когда-нибудь при необходимости черпать в нем вдохновение. Детали. И теперь, пока остальные еще храпят, растрачивая это прекрасное утреннее солнышко... что ж... убить время, что ли...

У меня тут собственный список ценностей: их надо взять с собой в следующую поездку на мотоцикле по Дакотам.

Я проснулся на рассвете. На соседней кровати Крис еще крепко спит. Я начал переворачиваться на другой бок поспать еще, но услышал, как кукарекает петух, и вспомнил, что мы в отпуске, поэтому спать смысла нет.

Слышу, как прямо за перегородкой Джон издает звуки лесопилки... если это только не Сильвия... нет, для нее слишком громко. Проклятая бензопила, звучит как...

Я так устал забывать брать в такие поездки вещи, что составил этот список раз и навсегда и положил дома в папку, чтобы проверять перед каждым выездом.

Большинство пунктов обычны и не требуют особых пояснений. Некоторые свойственны только мотоциклистам, поэтому нуждаются кое в каких комментариях. Некоторые вообще специальные, поэтому их надо разяснять особо. Список делится на четыре части: Одежда, Личные Вещи, Кухонное и Лагерное Снаряжение и Мотоциклетные Принадлежности.

Первая часть -- Одежда -- очень проста:

1. Две смены белья.
2. Теплое белье.
3. Смена рубашки и брюк для каждого. Я пользуюсь списанной армейской формой. Она дешева, прочна и на ней не видно грязи. У меня сначала был еще пункт «парадная одежда», но Джон напротив него дописал карандашом: «смокинг». Я же думал лишь о том, что можно носить за пределами заправочной станции.
4. Каждому по свитеру и куртке.
5. Перчатки. Кожаные перчатки без подкладки -- лучше всего, они предохраняют от солнечных ожогов, впитывают пот и остужают руки. Когда выезжаешь на час-другой, такие мелочи не особенно важны, но когда едешь целый день -- и не один, -- они приобретают исключительное значение.
6. Мотоциклетные сапоги.
7. От дождя.
8. Шлем и солнцезащитный козырек.
9. Пузырь. От закрытого шлема у меня клаустрофобия, поэтому я пользуюсь им только в дождь; капли на большой скорости вонзаются в лицо, как иголки.
10. Очки. Я не люблю ветровых стекол, потому что они тоже отгораживают от внешнего мира. У меня английские очки из многослойного стекла, очень хорошие. Под простые солнцезащитные забирается ветер. Пластиковые легко царапаются и сильно искажают.

Следующий список -- Личные Вещи:

Расчески. Бумажник. Складной нож. Записная книжка. Ручка. Сигареты и спички. Фонарик. Мыло в пластиковой мыльнице. Зубные щетки и паста. Ножницы. Анальгин от головной боли. Средство для отпугивания насекомых. Дезодорант (в конце жаркого дня, проведенного на мотоцикле, твоим лучшим друзьям даже не придется намекать тебе про запах). Лосьон от загара (на мотоцикле не замечаешь солнечного ожога, пока не остановишься, а тогда уже будет поздно; лучше намазаться заранее). Пластырь. Туалетная бумага. Мочалка (можно класть в пластмассовую коробку, чтобы больше ничего не промокло). Полотенце.

Книги. Не знаю ни одного мотоциклиста, который брал бы с собой книги. Занимают много места, но все равно сейчас у меня с собой их три. Внутрь вложены листки чистой бумаги для записей. Вот эти книги:

а. Заводская инструкция для этого мотоцикла.

б. Общий справочник неисправностей, со всей технической информацией, которая не держится в голове. У меня «Чилтоновский справочник неисправностей мотоцикла», написанный Оси Ричем; продается в магазинах «Сирз Рёбак».

в. Томик «Уолдена» Торо... которого Крис еще никогда не слышал и которого можно читать сотни раз без усталости. Я всегда стараюсь подобрать книгу намного выше его уровня и читаю ее больше как основу для вопросов и ответов, а не просто сплошняком. Читаю ему фразу или две, жду, пока он налетит с тучей своих обычных вопросов, отвечаю на них, потом читаю следующую пару предложений. Классика таким вот образом читается хорошо. Она должна быть написана именно так. Иногда мы проводим целый вечер за чтением и разговором, в конце обнаружив, что прочли всего две-три страницы. Так читали сто лет назад... когда были популярны Шатокуа. Если не пытался так делать, то не сможешь себе представить, насколько приятно это делать *так*.

Я вижу, что Крис спит полностью расслабленный, без своего обычного напряжения. Не стану его, наверное, пока будить.

Лагерное Снаряжение включает в себя:

1. Два спальных мешка.
2. Два пончо и одна подстилка. Они превращаются в палатку, а также защищают багаж от дождя при езде.
3. Веревка.
4. Топографические карты района, по которому мы надеемся поехать.
5. Мачете.
6. Компас.
7. Фляга. Когда мы уезжали, я не смог ее нигде найти. Наверное, дети куда-то задевали.
8. Два списанных армейских столовых набора с ножом, вилкой и ложкой.
9. Разборная печка «Стерно» с банкой топлива «Стерно» средних размеров. Экспериментальная покупка; я ею еще не пользовался. Когда идет дождь, или поднимаешься выше зоны лесов, дрова найти -- целая проблема.
10. Несколько алюминиевых банок с притертыми крышками. Для жира, соли, масла, муки, сахара. Много лет назад мы купили их в магазине для альпинистов.
11. «Брилло», чистящая паста.
12. Два рюкзака с алюминиевыми рамами.

Мотоциклетные Принадлежности. Стандартный набор инструментов прилагается к мотоциклу и спрятан под сиденьем. Дополняется следующим:

Большой разводной ключ. Машинный молоток. Слесарное зубило. Конусный пробойник. Пара ободов. Набор для заклейки шин. Велосипедный насос. Аэрозольный баллон с дисульфидом молибдена для цепной передачи. (Очень хорошо проникает во внутренности каждого ролика, где это действительно имеет смысл, а преимущества дисульфида молибдена как смазочного средства всем хорошо известны. Тем не менее, когда он высыхает, его надо разводить машинным маслом CAE-30.) Силовая отвертка. Остроносый напильник. Толщиномер. Контрольная лампа.

В запчасти входят:

Свечи. Дроссельный клапан, муфта сцепления и тормозные тросики. Контакты, предохранители, лампочки к фаре и габаритным огням, звено цепи с держателем, шплинты, трос. Запасная цепь (старая, уже изношенная, но хватит, чтобы добраться до мастерской, если полетит новая).

Вот, пожалуй, и все. Никаких шнурков.

Вероятно, естественно было бы уже поинтересоваться, в каком трейлере все это поместится. На самом деле, все занимает не так много места, как может показаться.

Боюсь, остальные герои будут спать весь день, если им разрешить. Небо снаружи сияет, просто стыдно тратить время зря.

Наконец, решаюсь и трясусь Криса. Глаза у него распахиваются, и он подскакивает, ничего не соображая.

-- Пора в душ, -- говорю я. И выхожу наружу.

Воздух взбадривает. На самом деле -- божже! -- там *холодно*. Я колочу в дверь Сазерлендов.

-- Угу-у, -- доносится из-за двери сонный голос Джона. -- Умгммммхгм. Угм.

Чувствуется *осень*. Мотоциклы мокры от росы. Дождя сегодня не будет. Но какая *холодина*! Градусов сорок⁽³⁾, должно быть.

Пока остальные собираются, я проверяю уровень масла, шины, болты и натяжение цепи. Тут немножко провисает, и я достаю инструменты и подтягиваю ее. Мне в самом деле очень хочется выехать побыстрее.

Я вижу, что Крис одевается потеплее, мы складываем вещи и выезжаем. Определенно холодно. За несколько минут все тепло из одежды выдувает ветром, и меня начинает трясти. Бодрит.

Когда солнце поднимется повыше, должно потеплеть. Еще полчаса, и будем завтракать в Эллендейле. По таким прямым дорогам сегодня надо успеть проехать как можно больше.

Если бы не этот дьявольский дубак, прогулка была бы просто роскошной. Лучи низкого утреннего солнца бьют по чему-то похожему на покрывший поля иней, но это, по-моему, просто роса, блестящая и какая-то туманная.

От рассветных теней местность кажется на вид менее плоской, чем вчера. Всё -- для нас одних. Похоже, никто еще даже из проснулся. На моих часах шесть тридцать. Старая перчатка над ними тоже, видать, покрылась инеем, но это скорее соль после вчерашнего дождя. Старые добрые поношенные перчатки. Сейчас такие жесткие от холода, что пальцы едва разгибаются.

Вчера я говорил о заботе; я *забочусь* об этих ветхих мотоциклетных перчатках. Я улыбаюсь им, летящим рядом со мной по ветерку, поскольку они были со мной столько лет и так стары, так устали, так гнилы, что просто смешно. Они пропитывались маслом, потом, грязью, раздавленными жуками, и теперь, даже если они не замерзли, когда я кладу их на стол, они не хотят лежать плоско. У них собственная память. Стоили они всего три доллара, а штопались столько раз, что залатать их уже практически невозможно, но все равно я трачу на починку много времени и усилий, потому что не могу представить себе на их месте ни одну новую пару. Это непрактично, но практичность -- еще не главное, когда имеешь дело с перчатками или с чем-нибудь другим. Машине тоже достается толика этого чувства. С намотанными 27-ю тысячами пробега она уже переходит в разряд должителей, хотя множество машин постарше -- еще на ходу. Но чем больше миль -- и думаю, большинство мотоциклистов согласится со мной -- тем больше распознаешь в отдельной машине некие чувства, свойственные только этой, отдельной, машине и никакой другой. Один мой друг, у которого мотоцикл -- того же производства, модели и даже того же года выпуска, что и мой, привез его мне на ремонт, и когда я потом опробовал его, трудно было поверить, что много лет назад он сошел с конвейера того же завода. За все это время он приобрел собственное ощущение, ход и звук, полностью отличавшиеся от моего. Не хуже, но другие. Наверное, это можно назвать личностью. Каждая машина обладает собственной, уникальной *личностью*, которую, видимо, можно определить как общую интуитивную сумму всего, что знаешь о ней и испытываешь к ней. Личность эта постоянно изменяется: обычно -- к худшему, но иногда, на удивление, -- и к лучшему. Именно эта личность -- подлинный объект ухода за мотоциклом. Новые машины начинают жизнь привлекательными незнакомцами, и в зависимости от того, как к ним относятся, либо быстро деградируют до скверно работающих ворчунов или даже калек, либо превращаются в здоровых, добродушных друзей-должителей. Мой, например, несмотря на убийственное обращение тех мнимых механиков, кажется, поправился и со временем требует все меньше ремонтов. Вот он! Эллендейл!

Водокачка, дома, разбросанные по рошицам в свете утреннего солнца. Я только что сдался ознобу, почти не прекращавшемуся всю дорогу. На часах семь пятнадцать.

Через несколько минут мы останавливаемся у каких-то старых кирпичных домов. Я оборачиваюсь к Джону и Сильвии, подъехавшим сзади:

-- Ну и холодина!

Они смотрят на меня рыбьими глазами.

-- Бодрит, говорю, а?

Никакого ответа.

Я жду, пока они не спешатся полностью, а потом вижу, как Джон пытается развязать весь их багаж. Узел не поддается. Он бросает, и мы вместе направляемся к ресторану.

Я пытаюсь снова. Иду перед ними спиной вперед, еще не отойдя от езды, заламывая руки и смеясь:

-- Сильвия! Поговори со мною!

Ни улыбки.

Наверное, они *действительно* замерзли.

Они заказывают завтрак, не поднимая глаз от стола.

Завтрак заканчивается, и я в конце концов произношу:

-- Что дальше?

Джон отвечает нарочито медленно:

-- Мы не покинем это место, пока не потеплеет.

Он говорит тоном «шери́фа на закате»; по всей видимости, это придает его решению окончательность.

Поэтому Джон, Сильвия и Крис сидят в вестибюле отеля, примыкающего к ресторану, и греются, а я выхожу погулять.

Мне кажется, они разозлились на меня за то, что я поднял их в такую рань, чтобы ехать по такому... Когда держишься с кем-то вместе так тесно, то, наверное, маленькие различия в темпераменте просто не могут не выступить на поверхность. Теперь, когда я задумался об этом, припоминаю, что прежде никогда не ездил с ними раньше часу или двух дня, хотя для меня самое лучшее время на мотоцикле -- рассвет и раннее утро.

Городок чист, свеж и совсем не похож на тот, в котором мы сегодня проснулись. Некоторые уже вышли на улицы, открывают магазины и говорят «доброе утро», перебрасываются фразами и отмечают, как сегодня холодно. Два термометра на теневой стороне улицы показывают 42 и 46 градусов. Тот, что на солнце, показывает 65.

Через несколько кварталов главная улица двумя утоптанными грунтовыми колеями съезжает в поле мимо сарая из гофрированного железа, полного сельхозтехники и ремонтного инструмента, и там, в поле, заканчивается.

Человек, стоящий на поле, смотрит на меня с подозрением: что это я там делал, когда заглядывал в сарай? Я возвращаюсь по главной улице, нахожу зябкую скамейку, сажусь и начинаю разглядывать мотоцикл. Делать нечего.

Правильно, было холодно, но не *настолько* же. Как вообще Джон с Сильвией собираются пережить зиму в Миннесоте? Какая-то вопиющая непоследовательность, слишком очевидная, чтобы на ней останавливаться. Если

они не переносят физического дискомфорта и не переносят техники, то у них остается очень мало почвы для компромиссов. Они одновременно зависят от техники и проклинают ее. Я уверен, что они об этом знают, и это только усугубляет их нелюбовь ко всей ситуации в целом. Они не представляют собой логические тезисы, а являются живым свидетельством того, что *есть*. Но вот три фермера въезжают в город, появляясь из-за угла в своем новеньком пикапе. Готов спорить, что у них -- все наоборот. Они будут хвастаться и этим своим грузовичком, и трактором, и новой стиральной машинкой, и у них найдутся инструменты, чтобы все это починить, если оно сломается, и они будут знать, как этими инструментами пользоваться. Они *ценят* технику. Но им она нужна **меньше всего**. Если вся техника исчезнет -- завтра же! -- эти люди смогут выкарабкаться. Круто, но они выживут. И Джон, и Сильвия, и Крис, и я отдохнем через неделю. Анафема техники -- неблагодарность, вот что это такое.

Хотя -- тупик. Если кто-то неблагодарен, и ему говоришь, что он неблагодарен, -- ладно, обозвал. Только ничего не решилось.

Через полчаса термометр у дверей отеля показывает 53 градуса. Я нахожу остальных в пустом зале ресторана -- они чем-то обеспокоены. Хотя, если судить по выражениям на лицах, настроение у них -- отменное, и Джон оптимистически говорит:

-- Я надену все, что у меня есть, и тогда будет полный порядок.

Он выходит к мотоциклам, а когда возвращается, говорит:

-- Конечно, мне очень не хочется все распаковывать, но и ездить, как в последний раз, я больше не хочу.

Он сообщает, что в мужском туалете мороз, и, поскольку в ресторане больше никого нет, заходит у нас за спинами за стол, а я сижу, беседуя с Сильвией, и когда оборачиваюсь, там стоит Джон, в полный рост выраженный в пару бледно-голубого теплого белья. Он настолько глупо выглядит, что ухмыляется от уха до уха. Я секунду смотрю на его очки, оставшиеся на столе, потом говорю Сильвии:

-- Знаешь, минуту назад мы тут сидели и трепались с Кларком Кентом⁽⁴⁾... видишь, вот его очки... а теперь вдруг... Лоис, как ты думаешь -- ...?

Джон взывает:

-- СУПНЫЙ МЭН!

Он скользит по натертому полу, словно конькобежец, делает сальто и скользит обратно. Поднимает одну руку над головой и пригибается, будто готовясь рвануться в небо.

-- Я готов, я иду!

Потом печально качает головой:

-- Оох, как не хочется портить этот славный потолок, но мое рентген-зрение подсказывает, что кто-то попал в беду.

Крис хихикает.

-- Мы все попадем в беду, если ты что-нибудь не наденешь, -- говорит Сильвия.

Джон смеется:

-- Эксгибиционист, а? «Элленсдейлский разоблачитель!»

Он немного прогуливается в таком виде, потом начинает натягивать на себя одежду со словами:

-- О нет, о нет! Они этого не сделают. У Супного Мэна и полиции -- взаимопонимание. Они знают, кто на стороне закона, порядка, справедливости, порядочности и честной игры для каждого.

Когда мы снова выезжаем на шоссе, еще прохладно, но уже не так. Мы проезжаем несколько городков, и постепенно, почти неощутимо солнце разогревает нас, и чувства мои теплеют вместе с ним. Усталость выветривается полностью, ветер и солнце ощущаются во всей их прекрасной реальности. Вот оно, вот оно -- от простого повышения температуры и дорога, и зеленые степные фермы, и бьющий в лицо ветер соединяются в одно целое. И вскоре ничего больше уже не остается, кроме прекрасного тепла, ветра, скорости и солнца на пустынной дороге. Последний утренний озноб тает от теплого воздуха. Ветер, и снова солнце, и снова гладкая дорога.

Так зелено это лето, и так свежо.

В траве перед старой проволочной оградой -- белые и золотые маргаритки, за ними -- луг с несколькими коровами, а еще дальше, на расстоянии -- мягкий подъем с чем-то золотым наверху. Трудно сказать, что это. А знать и не нужно.

Когда дорога слегка идет в гору, гул мотора тяжелеет. Мы поднимаемся на пологий перевал, видим, как перед нами снова разворачивается земля, дорога опускается, и гул снова стихает. Прерия. Спокойная и отстраненная. Позже, когда мы останавливаемся, у Сильвии в глазах от ветра стоят слезы; она вытягивает руки и говорит:

-- Так прекрасно. Так пусто.

Я показываю Крису, как надо расстилать куртку на земле и из запасной рубашки делать подушку. Ему совсем не хочется спать, но я все равно велю ему лечь: нужно отдохнуть. Я расстегиваю свою куртку, чтобы самому вобрать как можно больше тепла. Джон вытаскивает камеру.

Немного погодя он говорит:

-- На свете нет ничего тяжелее, чем фотографировать. Нужен объектив на триста шестьдесят градусов, что ли?

Вот видишь что-то, потом смотришь в матовое стекло, а там какая-нибудь ерунда. Как только на что-нибудь надеваешь границу, оно исчезает.

-- Это то, чего не видишь в машине? -- спрашиваю я.

-- Однажды, когда мне было десять лет, мы вот так же остановились у дороги, и я истратила половину пленки, -- говорит Сильвия. -- Просто снимала. А когда снимки вернулись из проявки, я плакала. На них ничего не оказалось.

-- Ну когда же мы поедem? -- канючит Крис.

-- Куда ты торопишься? -- осаживаю его я.

-- Я просто хочу ехать.

-- Впереди нет ничего лучше того, что у тебя перед носом.

Он молчит, хмурится и опускает глаза:

-- А мы вечером будем ставить палатку?

Сазерленды оценивающе смотрят на меня.

-- Будем? -- настаивает он.

-- Посмотрим, -- отвечаю я.

-- Почему посмотрим?

-- Потому что сейчас я пока не знаю.

-- А почему ты сейчас пока не знаешь?

-- Ну, просто сейчас не знаю, почему я сейчас пока не знаю.

Джон пожимает плечами: все в порядке. Я говорю:

-- Это место -- не самое лучшее для лагеря. Здесь негде укрыться и нет воды.

Но неожиданно добавляю:

-- Хорошо, вечером разбиваем лагерь.

Разговор об этом у нас уже был. Поэтому мы едем по пустой дороге. Я не хочу ни владеть этими прериями, ни фотографировать их, ни менять их, ни останавливаться -- даже двигаться дальше не хочу. Мы просто едем по пустой дороге.

5

Горизонтальность прерии пропадает, и земля начинает вздыматься крутыми волнами. Заборы встречаются все реже, а зелень бледнеет... Все признаки того, что мы приближаемся к Высоким Равнинам.

Мы останавливаемся в Хейге заправиться и спрашиваем, можно ли как-нибудь переправиться через Миссури между Бисмарком и Мобриджem. Служитель не знает. Уже припекает, и Джон с Сильвией куда-то уходят снять теплое белье. У мотоцикла меняют масло и смазывают цепь. Крис наблюдает за тем, что я делаю с легким нетерпением. Нехороший признак.

-- Глазам больно, -- говорит он.

-- От чего?

-- От ветра.

-- Поищем очки.

Мы вместе заходим в магазин за кофе и булочками. Все здесь для нас -- новое, кроме нас самих, поэтому мы предпочитаем не болтать, а смотреть по сторонам и ловить обрывки разговоров людей, как нам кажется, давно знакомых друг с другом: они смотрят на нас, поскольку новенькие здесь -- мы. Потом в лавке чуть подальше я нахожу походный термометр и очки для Криса.

Человек из скобяной лавки тоже не знает короткого пути через Миссури. Мы с Джоном изучаем карту. Я надеялся найти какую-нибудь неофициальную переправу -- паром, пешеходный мост или что-нибудь похожее на этом девяностомильном отрезке пути, но, по всей видимости, ничего там нет, поскольку на другой стороне добираться тоже особо не к чему. Одна индейская резервация. Мы решаем спуститься на юг к Мобриджу и переправиться там.

Дорога на юг ужасна. Извилистая, узкая, бугристая бетонка с неприятным встречным ветром; солнце в глаза и большие полуприцепы навстречу. Эти холмы, по которым лишь на санках удобно кататься, сначала прицепы под уклон разгоняют, потом замедляют на подъеме -- заранее не увидишь, сплошная нервотрепка, когда они внезапно выезжают навстречу. Первый напугал меня, поскольку я не был к нему готов. Теперь я взял себя в руки и готовлюсь ко встрече с ними заранее. Не опасно. Просто бьет ударной волной, жаркой и сухой.

В Херрейде Джон исчезает попить, а Сильвия, Крис и я находим в парке тень и пытаемся отдохнуть. Не отдыхается. Что-то изменилось, и я не совсем понимаю, что именно. Улицы этого городка широки, гораздо шире, чем нужно, а воздух бледен от пыли. Пустыри между домов заросли сорняками. Сараи из листового железа и водокачка -- такие же, как и раньше, только какие-то рассевишиеся. Всё запущеннее и механистичнее;

расположено все как-то наобум. Постепенно я начинаю видеть, что произошло. Никому больше нет дела до того, чтобы сохранять это место в порядке. Земля больше не ценится. Это уже Запад.

В Мобридже мы обедаем гамбургерами и пивом в «А-и-В», едем вниз по главной улице с плотным движением и внизу, у подножия холма видим ее -- Миссури. Странна вся эта движущаяся вода, ограниченная поросшими травой холмами, до которых вода вообще еле-еле доходит. Я оборачиваюсь и мельком смотрю на Криса, но ему, кажется, не особо интересно.

Мы спускаемся по склону к берегу, металлически грохочем по мосту и вот уже видим реку сквозь ритмично мелькающие столбики ограждения; и вот мы уже на другом берегу.

Мы долго, очень долго взбираемся по склону и попадаем уже в совсем иную местность.

Все заборы теперь действительно пропали. Ни кустов, ни деревьев. Скаты холмов настолько огромны, что мотоцикл Джона впереди похож на муравья, ползущего по наклонным зеленым поверхностям. На вершинах холмов над головой выступают скалы, венчающие выходы пород.

Все это как-то естественно ухожено. Если бы земли здесь бросили, вид у них был бы пожеванный и взерошенный: бетонные обрубки старых фундаментов, обрывки крашенных листов железа и проволоки, сорняки, пролезающие всюду, дерн весь взрыли ради какой-то фигни. Здесь ничего этого нет. Не прибрано -- просто не изгажено с самого начала. Так и должно было быть всегда. Резервация.

По другую сторону тех скал нет дружелюбного механика, и я спрашиваю себя, готовы ли мы к этому. Если сейчас что-то произойдет, у нас уже будут настоящие неприятности.

Рукой я проверяю температуру двигателя. Он успокаивающе прохладен. Выключаю сцепление и даю ему секунду катиться по инерции, чтобы послушать, как он работает вхолостую. Какой-то забавный звук, и я повторяю все заново. Требуется некоторое время, чтобы вычислить, что дело тут вовсе не в двигателе. Это эхо от утеса, оно раздается после того, как дроссельный клапан закрыт. Смешно. Я проделываю такой финт два или три раза. Крис спрашивает, что случилось, и я даю ему послушать эхо. Никаких комментариев от него не поступает. Звук у нашей старой машины -- как у кошелька с мелочью. Словно внутри сдача звякает. Звук ужасный, но это просто клапаны так лязгают. Нормально. Как только привыкнешь и научишься ожидать его, начнешь автоматически слышать отклонения. Если их не слышно, значит, хорошо.

Я как-то пытался заинтересовать Джона этим звуком, но все бестолку. Он слышал только шум, видел только машину и меня с грязными инструментами в руках -- больше ничего. Не вышло.

Он на самом деле не видит, что происходит, и ему неинтересно в этом ковыряться. Ему не так интересно знать, что вещи *означают*, как то, чем они *являются*. Достаточно важно, что он все видит именно так. Мне понадобилось много времени, чтобы понять эту разницу, и для Шатокуа важно, что я эту разницу объяснил.

Меня так ошарашил его отказ даже думать о любом механическом предмете, что я все пытался подобрать ключи к его отношению ко всему окружающему, но не знал, где начать.

Я хотел было подождать, пока что-нибудь не случится с *его* машиной, и я не помогу *ему* починить ее -- и вот *так* втяну его во все это, но сам попал впросак, поскольку не понимал разницы в том, как он на все смотрит.

Рукоятки руля у него начали соскальзывать. Не очень сильно, сказал он, а только когда на них налегаешь. Я предупредил, чтобы он не вздумал гайки затягивать разводным ключом: нарушится хромовое покрытие и пойдут маленькие ржавые пятнышки. Он согласился взять мой набор торцовых головок.

Когда он привез мотоцикл, я достал свои ключи, но заметил, что никаким подкручиванием гаек ничего не исправить, поскольку концы хомутиков накрепко защемлены.

-- Тебе надо расклинить их прокладкой, -- сказал я.

-- Что такое прокладка?

-- Это тонкая плоская полоска металла. Тебе нужно просто надеть ее за рукоятку под хомутик, чтобы можно было опять затянуть ту же. Такие прокладки используются, чтобы регулировать всякие машины.

-- А-а, -- сказал он. Заинтересовался: -- Хорошо. Где их купить?

-- У меня тут есть немного, -- торжествующе сказал я, протягивая ему банку из-под пива.

Он сначала не понял. Потом переспросил:

-- Что -- *банка*?

-- Конечно, -- ответил я. -- Лучший в мире склад прокладок.

Сам я думал, что это довольно умно. Сэкономить ему путешествие за прокладками Бог знает куда. Сэкономить ему время. Сэкономить ему деньги.

Но, к моему удивлению, он вообще не увидел в этом ничего умного. Немного погодя начал отлынивать, как-то отмазываться, и не успел я понять, как на самом деле он к этой затее относится, он решил не чинить никаких рукояток вообще.

Насколько я знаю, те рукоятки до сих пор болтаются. И сейчас я понимаю, что в тот день оскорбил его до глубины души. У меня хватило *дерзости* предложить ему отремонтировать его новый БМВ за восемнадцать сотен долларов, гордость полувекового германского совершенства, куском старой банки *из-под пива*!

Ach, du lieber!⁽⁵⁾

С тех пор у нас с ним было очень мало разговоров об уходе за мотоциклом. Совсем не было, если точнее.

Чуть только начнешь давить на него по этому поводу, как неожиданно залишься, сам не зная, почему.

В порядке объяснения должен сказать, что алюминий, из которого делают пивные банки, мягок и липуч для металла, и тем совершенен в употреблении. Он не окисляется при влажной погоде -- точнее, на его поверхности всегда есть тонкий слой окисла, предотвращающий дальнейшее окисление. Тоже неплохо.

Другими словами, любой *настоящий* немецкий механик с полувековым стажем совершенствования в механическом деле за плечами заключил бы, что частное решение данной технической проблемы -- *совершенно*. Некоторое время я думал, что *следовало бы* потихоньку отойти к верстаку, вырезать из пивной банки прокладку, стереть краску, а потом вернуться и сказать, что нам несказанно повезло: у меня осталась последняя прокладка, специально импортированная из Германии. Это бы все и решило. Особая прокладка из личного запаса барона Альфреда Круппа, который вынужден был пойти на большие жертвы и продать ее. Тогда бы Джон точно умом тронулся.

Эта фантазия о «прокладке от самого Круппа» некоторое время утешала меня за неудачу, но потом испарилась, и я понял, что фантазия просто была мстительной. На ее месте выросло то старое ощущение, о котором я уже говорил: как будто сюда вовлечено нечто большее, нежели проступает на поверхности. За такими несообразностями следишь довольно долго, и они иногда перерастают в ошеломляющие откровения. С моей стороны выглядело так: есть нечто немножко больше того, чем хочется заниматься бездумно, а я вместо этого по своему обыкновению стал извлекать причины и следствия, пытаюсь увидеть, *что именно* тут намешано, и *что* заводит в тупик наших с Джоном различий во взглядах на эту прокладку. В механической работе такое возникает постоянно. Подвешенное состояние. Просто сидишь, таращишься и думаешь, наобум ищешь новую информацию, уходишь и возвращаешься, а через некоторое время появляются ранее не видимые факторы. Вначале в смутной форме, затем приобретая все более четкие очертания, возникло такое объяснение: я видел эту прокладку как-то интеллектуально, рационально, умозрительно -- в расчет брались только научные свойства металла. Джон же видел ее непосредственно, интуитивно, оттяжно. Я подходил к ней с точки зрения формы, лежащей в ее основе. Он подходил с точки зрения непосредственного внешнего вида. Я видел, что прокладка *означала*. Он -- чем она *являлась*. Вот как я пришел к пониманию этой разницы. А когда видишь, чем прокладка *является*, то это в данном случае угнетает. Кому нравится думать, что прекрасную, высокоточную машину чинят какой-то дрянью?

Кажется, я забыл упомянуть, что Джон -- музыкант, барабанщик; он играет с группами по всему городу и довольно неплохо зарабатывает. Мне кажется, он обо всем думает так же, как об игре на ударных, -- то есть, *не думает* вообще. Просто делает. Просто *есть* с этим. Он отреагировал на починку мотоцикла пивной банкой так же, как отреагировал бы, если бы кто-то запаздывал во время его игры. У него внутри просто бухнуло и все -- он не хотел больше иметь с этим никаких дел.

Поначалу различие это казалось довольно незначительным, но оно росло... и росло... и росло... пока я не начал понимать, почему проглядел его. Кое-что пролетает мимо потому, что эти вещи -- такие крохотные, что их просто не замечаешь. Однако, чего-то не видишь из-за того, что оно *огромное*. Мы оба смотрели на одно и то же, видели одно и то же, говорили об одном и том же, думали об одном и том же, но только он смотрел, видел, говорил и думал в абсолютно другом *измерении*.

На самом деле, он *не чурается* техники. Просто в своем другом измерении он полностью терпит крах и получает от нее отпор. Она не хочет под него подстраиваться. Он же пытается ее подстроить под себя безо всякого предварительного рационального обдумывания и только и делает, что латает ее, и после стольких заплат сдается и налагает какое-то защитное проклятие на все связанное с гайками и болтами. Он не хочет или не может поверить, что в этом мире есть нечто, по чему не надо оттягиваться.

Вот измерение, в котором он существует. Оттяжное измерение. Я ужасно квадратный, когда постоянно талдычу про всю эту механику. Все они -- просто части, отношения, анализы, синтезы, вычисления разных вещей, и всех их, на самом деле, *здесь* нет. Они где-то в другом месте, и только думают, что они здесь, на самом же деле -- за миллионы миль отсюда. *Вот* что это все означает. Джон находится посреди этой разницы измерений, которая лежала в основе большинства перемен в культуре шестидесятых и, думаю, -- до сих пор влияет на процесс переформирования всего нашего особого взгляда на вещи. Ее результатом стал «конфликт поколений», из нее выросли названия «бит» и «хип». Теперь уже очевидно, что это измерение -- не бзик, который исчезнет на следующий год или через пару лет. Оно останется надолго, потому что это серьезный и важный способ смотреть на вещи, который только *выглядит* несовместимым с разумом, порядком и ответственностью; в действительности это не так. Вот мы и докопались до самых корней.

Ноги у меня так онемели, что болят. Я поочередно вытягиваю их и ворочаю ступнями вправо-влево как можно дальше -- для разминки. Помогает, но устают другие мышцы, держащие ноги на весу.

У нас тут -- конфликт *видений реальности*. Мир, каким видишь его прямо здесь, прямо сейчас, и *является реальностью*, независимо от того, чем его могут назвать ученые. Так его видит Джон. Но тот мир, каким его сделали научные открытия, -- тоже реальность, независимо от того, каким он может быть на вид; и людям в измерении Джона приходится больше чем просто игнорировать его, если они хотят сохранить свое видение реальности. Джон поймет это, когда подгорят его контакты.

Вот почему, на самом деле, он так расстроился, когда не смог завести мотоцикл. То оказалось *вторжением в его реальность*. Просто во всем его оттяжном мировосприятии пробило дыру, а у него не хватило смелости принять это, поскольку под угрозой оказался весь его стиль жизни. В каком-то смысле -- тот же самый гнев, что иногда возникает у людей науки по отношению к абстрактному искусству. Или, по крайней мере, *раньше* возникал. Оно тоже не соответствовало *их стилю* жизни.

На самом же деле, есть *две* реальности: одна -- непосредственной художественной видимости, а другая -- лежащего в основе научного объяснения; они не совпадают, не подходят друг к другу и в действительности не имеют практически ничего общего одна с другой. Вот так ситуация. Можно сказать, у нас тут небольшая проблемка.

На длинном перегоне заброшенной дороги мы видим одинокую бакалейную лавку. Внутри, в подсобке находим какие-то ящики, устраиваемся на них посидеть и пьем баночное пиво.

Усталость и боль в спине начинают сказываться. Я подталкиваю ящик к столбу и прислоняюсь. По выражению лица Криса я вижу, что ему становится погано. Позади -- долгий и трудный день. Еще в Миннесоте я сказал Сильвии, что можно ожидать спада в настроении на второй или третий день -- и вот пожалуйста. Миннесота... когда это было?

Женщина, в стельку пьяная, покупает пиво какому-то мужику, который остался в машине на улице. Она никак не может выбрать марку, и жена хозяина начинает злиться. Тетка еще размышляет, но видит нас, машет рукой и спрашивает, не наши ли мотоциклы. Мы киваем, она говорит, что хочет покататься. Я устраниюсь и предоставляю заниматься этим Джону.

Он учтиво отнекивается, но она настырно лезет, предлагая за прогулку доллар. Я отпускаю по этому поводу какие-то шуточки, но все не смешно, поэтому депрессия усугубляется. Мы выходим, и снова -- бурые холмы и жара.

В Леммон мы приезжаем уже совершенно без сил. В баре слышим, что южнее есть место, где можно разбить лагерь. Джон хочет поставить палатки в парке посреди города; это заявление звучит странно и очень злит Криса. Сейчас я так устал, что не могу даже вспомнить, когда в последний раз со мной было что-то подобное. Другие -- тоже. Но мы тащимся через универсам, собираем какую-то бакалею -- что приходит в голову -- и с некоторыми осложнениями укладываем все на мотоциклы. Солнце уже так низко, что нам не хватает света. Через час уже стемнеет. Мы, кажется, никак не можем сдвинуться с места. Не могу понять, мы просто сачкуем, или как?

-- Давай, Крис, поехали, -- говорю я.

-- Не ори на меня. Я готов.

Мы выезжаем из Леммона по грунтовке и, изможденные, едем, наверное, целую вечность, хотя долго быть не может: солнце -- по-прежнему над горизонтом. Лагерь пуст. Хорошо. Но осталось меньше получаса дневного света, а сил никаких больше нет. Теперь -- самое трудное.

Я пытаюсь распаковаться как можно быстрее, но от усталости так одурел, что бросаю все прямо возле дороги, не замечая, насколько паршиво это место. Потом вижу, что здесь слишком ветрено. Это ветер Высоких Равнин. Здесь -- полупустыня, все выжжено и сухо, если не считать озера, больше похожего на пруд, под нами. Ветер дует от самого горизонта через озеро и бьет по нам резкими порывами. Уже прохладно. Ярдах в двадцати от дороги -- какие-то чахлые сосенки, и я прошу Криса перенести все туда.

Он не слушается. Бредет куда-то к пруду. Я переносу вещи сам.

Между ходками я вижу, что Сильвия очень старательно устраивает нам кухню, хотя устала так же, как и я.

Солнце заходит.

Джон собрал валежник, но дрова такие большие, а ветер -- такой порывистый, что развести костер трудно. Надо порубить на щепки. Я возвращаюсь к сосенкам и в сумерках роюсь в вещах, пытаюсь найти мачете, но уже так темно, что ни черта не видно. Нужен фонарик. Ищу теперь его, но в темноте и его кошки съели.

Я возвращаюсь, завожу мотоцикл и еду обратно, чтобы найти фонарик при свете фары. Методично перерываю все вещи в его поисках. Проходит достаточно времени прежде, чем я соображаю, что мне фонарик вовсе не нужен, мне нужен мачете, который давно лежит у меня под носом. Пока я ходил за мачете, Джон развел огонь. Я все равно раскалываю несколько больших бревен.

Появляется Крис. Фонарик -- у него!

-- Когда мы будем есть? -- хнычет он.

-- Как только, так сразу, -- отвечаю я. -- Оставь фонарик здесь.

Он опять исчезает, прихватывая фонарик с собой.

Ветер задувает пламя -- оно не достает до жарящихся стейков. Из больших камней, валяющихся у дороги, мы пытаемся соорудить защитную стенку, но слишком темно. Подводим оба мотоцикла и освещаем стройку перекрестным светом фар. Странное освещение. Ветер поднимает из костра пепел, который внезапно вспыхивает белым в лучах, а потом исчезает вовсе.

БАХ! У нас за спинами раздается громкий взрыв. Потом слышу, как хихикает Крис.

Сильвия расстроилась.

-- Я нашел хлопушки, -- говорит Крис.

Я успеваю сдержаться и говорю ему:

-- Пора есть.

-- Мне нужны спички, -- отвечает он.

-- Сядь и поешь.

-- Сначала дай мне спички.

-- Сядь и поешь.

Он садится, и я пытаюсь разрезать стейк своим армейским столовым ножом, но мясо слишком жесткое, и я взамен достаю охотничий. На меня падает свет фары, поэтому когда я кладу нож на место, он попадает в тень, и я не вижу, куда положил его.

Крис говорит, что свой он разрезать тоже не может, и я передаю ему нож. Наклонившись за ним, он вываливает всё из своей тарелки на брезент.

Никто не произносит ни слова.

Я не сержусь на то, что он все опрокинул, я сержусь, что весь остаток поездки брезент будет в жирных пятнах.

-- Еще есть? -- спрашивает он.

-- Ешь *это*, -- отвечаю я. -- Это же брезент, а не земля.

-- Все равно грязь, -- говорит он.

-- Значит, больше ничего нет.

Накатывает депрессия. Я хочу пойти и просто лечь спать. Но он сердится, и я жду, когда начнется его обычная маленькая истерика. Дождался.

-- Это невкусно, -- говорит он.

-- Да, Крис, жестко.

-- Я *ничего* не хочу. Мне вообще этот лагерь не нравится.

-- Это же была *твоя* мысль, -- напоминает ему Сильвия. -- Лагерь разбивать предлагал ты.

Лучше б она этого не говорила, но откуда ж ей знать? Заглатываешь его приманку, а он подбрасывает еще одну, потом еще и еще, пока, наконец, его не стукнешь, а именно на это он и напрашивался.

-- Мне наплевать, -- говорит он.

-- Не смей так говорить, -- отвечает она.

-- Буду.

Близится взрыв. Сильвия и Джон смотрят на меня, но я сижу с каменным лицом. Мне очень жаль, что все идет именно так, но сейчас я не смогу ничего сделать. Любые споры только усугубят это дело.

-- Я не хочу есть, -- говорит Крис.

Никто не отвечает.

-- У меня болит живот, -- говорит он.

Взрыва не будет: Крис поворачивается и уходит в темноту.

Мы заканчиваем ужинать. Я помогаю Сильвии вымыть посуду, а потом мы недолго сидим вокруг костра. Фары выключаем, чтобы не сажать аккумуляторы -- и из-за того, что их свет уродлив сам по себе. Ветер подует, и костер слабо освещает все вокруг. Через некоторое время глаза привыкают. Еда и злость несколько сняли усталость. Крис не возвращается.

-- Ты думаешь, это он просто тебя *наказывает*? -- спрашивает Сильвия.

-- Да, -- отвечаю я, -- хотя дело не в этом.

Немного подумав, добавляю:

-- Это термин из детской психологии, а такой контекст мне не нравится. Давай лучше просто скажем, что он -- отпетый мерзавец.

Джон посмеивается.

-- Все равно, -- говорю я, -- хороший был ужин. Вы уж меня за него извините.

-- Да все в порядке, -- отвечает Джон. -- Только жалко, что он ничего не поест.

-- Ему хуже не станет.

-- Ты не боишься, что он заблудится?

-- Нет, он тогда начнет орать.

Теперь, когда он ушел, и нам нечего делать, пространство вокруг нас начинает на меня действовать. Нигде ни звука. Одинокая прерия.

Сильвия говорит:

-- Как ты думаешь, у него на самом деле болит живот?

-- Да, -- как-то уперто отвечаю я. Мне жаль, что эта тема продолжается, но они заслуживают лучшего объяснения, чем то, которое я им предложил. Вероятно, чувствуют, что за этим кроется больше, чем они слышали.

-- Уверен, что болит, -- наконец, произношу я. -- Его уже раз десять проверяли. Однажды было так плохо, мы думали, что аппендицит... Помню, мы были в отпуске на севере. Я только закончил составлять техническое предложение на пятимиллионный контракт -- оно едва меня не прикончило. Это совсем другой мир. Ни времени, ни терпения -- и шесть сотен страниц информации, которые надо выжать из себя за неделю. Я уже был почти готов убить трех совершенно разных людей, -- и вот мы подумали, что лучше на некоторое время податься в леса.

Я уже не помню, где именно мы тогда были. Голова кругом шла от технических данных, а Крис просто криком кричал. До него дотронуться нельзя было, пока я, наконец, не понял, что надо быстро его хватать и везти в больницу; где она находилась, я так и не помню, но там у него ничего не нашли.

-- Ничего?

-- Ничего. Но потом это повторялось снова.

-- И врачи так ничего и не определили? -- спрашивает Сильвия.

-- Этой весной они поставили диагноз -- начинающиеся симптомы душевной болезни.

-- Что? -- переспрашивает Джон.

Уже слишком темно: не видно ни Сильвии, ни Джона, ни очертаний холмов. Я хочу услышать хоть что-нибудь вдали, но ничего не слышу. Я не знаю, что им ответить, поэтому не говорю ничего.

Если взглядеться, можно различить звезды над головой, но из-за костра перед нами разглядеть их трудно. Ночь вокруг -- темная и густая. Моя сигарета дотлела до самых пальцев, и я гашу ее.

-- А я и не знала, -- произносит голос Сильвии. Все следы злости растаяли. -- Мы всё думали: почему ты взял с собой его, а не жену. Хорошо, что сказал.

Джон подталкивает головешки в костер.

Сильвия спрашивает:

-- Как ты думаешь, из-за чего это?

Джон резко выдыхает, словно бы одергивая ее, но я отвечаю:

-- Не знаю. Причины и следствия, наверное, тут не применимы. Причины и следствия -- результат мысли. Мне же кажется, что душевная болезнь наступает еще *до* мысли.

Для них это не имеет смысла, я уверен. Для меня смысла тоже не очень-то много, а я слишком устал, чтобы обдумывать это, и я бросаю мысль, не договорив.

-- А что думают психиатры? -- спрашивает Джон.

-- Ничего. Я это бросил.

-- Бросил?

-- Да.

-- Так лучше?

-- Не знаю. По логике вещей, я не знаю, почему это может быть *плохо*. Просто у меня самого -- помрачение рассудка. Я об этом думаю -- обо всех «за», планирую визиты и даже ищу номер телефона, -- а потом наступает затмение, будто дверь захлопнули.

-- Здесь что-то не так.

-- Вот-вот, все так считают. Мне кажется, я не смогу держаться вечно.

-- Но *почему*? -- спрашивает Сильвия.

-- Не *знаю* я, почему... просто... Не знаю... Они ведь не *родня*...

Удивительное слово, думаю я про себя. Раньше я его никогда не употреблял. Не *родня*... Звучит как-то по-крестьянски... Но крестьяне -- не такие, как они... *Добрые*⁽⁶⁾... У них не может быть к нему никакой настоящей *доброты* -- они не *родня* ему... Вот какое чувство, точно, да.

Старое слово -- такое древнее, что почти ушло на дно. Как все переменялось в веках! Теперь любой может быть «добрым». И предполагается, что каждый так и поступает. Вот только тогда, давно, в «доброте» ты уже рождался -- и не мог без нее жить. А теперь это отчасти всего лишь прикид -- как учителя в первый день учебного года. Но что действительно знают о *доброте* те, кто не *родня*?

Мысли возвращаются вновь и вновь... *mein Kind* -- дитя моё. Вот оно -- на другом языке. *Mein Kinder...* «*Wer reitet so spat durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind.*»⁽⁷⁾

От этого -- странное чувство.

-- О чем ты думаешь? -- спрашивает Сильвия.

-- Об одном старом стихотворении. Гёте. Ему уже лет двести, наверное. Мне его как-то давно пришлось выучить. Не знаю, чего вдруг я его сейчас вспомнил, если не считать...

Странное чувство возвращается.

-- О чем оно? -- спрашивает Сильвия.

Я пытаюсь припомнить:

-- Человек едет в бурю по берегу. Это отец; с ним -- его сын, которого он крепко прижимает к себе. Он спрашивает сына, почему тот так побледнел, а сын отвечает: «Папа, разве ты не видишь призрака?» Отец пытается успокоить мальчика: мол, это всего лишь туман над водой, да шелест листьев на ветру, но сын продолжает повторять, что это призрак, и отец скачет сквозь ночь все быстрее и быстрее.

-- А чем заканчивается?

-- Плохо... ребенок умирает. Призрак победил.

Ветер раздувает угли в костре, и я вижу, что Сильвия потрясенно смотрит на меня.

-- Но то -- другая страна и другое время, -- говорю я. -- Здесь же в конце -- только жизнь, и призраки не имеют значения. Я в это верю. В это все я тоже верю, -- продолжаю я, глядя в темную прерию, -- хотя пока не уверен, *что* все это значит... Я в последнее время почти ни в чем не уверен. Может, поэтому так много болтаю.

Угли медленно гаснут. Мы курим по последней сигарете. Крис -- где-то в темноте, но я не собираюсь бегать за ним по кустам. Джон старательно молчит, и Сильвия молчит, и внезапно мы все -- порознь, одиноки в своих личных вселенных, и никакой связи между нами нет. Мы заливаем огонь и возвращаемся к спальным мешкам среди сосен.

Я обнаруживаю, что наше единственное крохотное убежище в соснах, куда я положил спальные, -- еще и приют от ветра для миллионов комаров, живущих на пруду. Репеллент не останавливает их вообще. Забираюсь поглубже в мешок и оставляю только дырочку, чтобы дышать. Я уже почти сплю, когда, наконец, появляется Крис.

-- Там большая куча песка, -- говорит он, хрустя иголками под ногами.

-- Да, -- отвечаю я. -- Ложись спать.

-- Ты должен ее посмотреть. Завтра сходишь и посмотришь, ладно?

-- У нас не будет времени.

-- А утром мне можно там поиграть?

-- Да.

Он никак не может раздеться и залезть в спальник. Наконец, шорохи прекращаются. Затем он начинает ворочаться. Потом все затихает, и он начинает ворочаться опять. Зовет меня:

-- Пап?

-- Что?

-- Как было, когда ты был маленьким?

-- Да *спи* же, Крис! -- Тому, что я в силах выслушать, есть предел.

Чуть позже слышу резкое хлюпанье: он плачет, и я не сплю, хоть и вымотан до предела. Несколько слов утешили бы его. Он старался быть дружелюбным. Но слова почему-то не приходят. Слова утешения больше подходят для незнакомых людей, для больниц -- не для родни. Маленькие эмоциональные пластыри, вроде этого, -- не для него, не они нужны... Я не знаю, что ему нужно.

Из-за сосен медленно поднимается полная луна, и по ее медленной, терпеливой дуге через все небо я за часом час отмеряю свой полусон. Слишком устал. И луна, и странные сны, и комариный зуд, и разрозненные фрагменты воспоминаний беспорядочно мешаются в нереальном утраченном пейзаже, где сияет луна и в то же время лежит туман, и я скачу на лошади, а Крис со мной, и лошадь перескакивает через ручей, бегущий где-то по песку к океану. А потом все ломается... И возникает вновь.

И в тумане появляется подобие фигуры. Она исчезает, если я смотрю прямо на нее, но потом я ее снова вижу -- краем глаза. Я хочу что-то сказать, позвать ее, узнать ее; но останавливаюсь, зная, что признать ее хоть жестом -- значит, придать ей реальность, которой у нее быть не должно. Но фигуру эту я узнаю, хоть и не позволяю себе признаться в этом. Это Федр.

Злой дух. Безумно. Из мира без жизни и без смерти.

Фигура тает, и я еле сдерживаю поднимающуюся панику... крепко... не спеша... пусть просто утонет... ни веря в это, ни не веря... но волосы медленно шевелятся у меня на затылке... он зовет Криса, что ли?... Да?..

6

На моих часах девять. И спать уже слишком жарко. Солнце уже высоко. Воздух вокруг чист и сух.

Я поднимаюсь с помятым лицом и ломотой во всем теле от лежания на земле.

Во рту пересохло, губы потрескались, а руки все в комариных укусах. Болит какой-то вчерашний солнечный ожог.

За соснами -- выжженная трава, глыбы земли и песок; всё такое яркое, что трудно смотреть. От жары, тишины, голых холмов и пустого неба возникает чувство огромного, насыщенного пространства.

Ни капли влаги в небе. Сегодня будет палево.

Я выхожу из сосен на участок голого песка среди кое-какой растительности и долго смотрю, размышляю...

Я решил, что с сегодняшнего Шатокуа начнется исследование мира Федра. Намерение было таково: сначала сформулировать еще раз некоторые его идеи относительно технологии и человеческих ценностей, и при этом не соотносить их с ним лично, -- но схема мышления и воспоминания, пришедшие вчера ночью, подсказали, что это не метод. Выпускать сейчас из виду его лично означало бы бежать от того, от чего бежать не следует.

То, что Крис рассказал вчера о бабушке своего индейского друга, в первом утреннем свете вернулось ко мне, кое-что прояснив. Она сказала, что привидения появляются, когда кого-нибудь похоронили неправильно. Так и есть. Его так *правильно* и не похоронили -- в этом-то как раз источник всего беспокойства.

Немного погодя я оборачиваюсь и вижу, как Джон непонимающе глядит на меня. Он еще не вполне проснулся и теперь бродит кругами, чтобы очухаться. Сильвия вскоре тоже поднимается; ее левый глаз полностью заплыл. Я спрашиваю, что случилось. Она говорит, что комар укусил. Я начинаю собирать вещи и привязывать их на мотоцикл. Джон делает то же самое.

Когда все упаковано, мы разводим костер, а Сильвия разворачивает бекон, яйца и хлеб на завтрак.

Еда готова, и я иду будить Криса. Он не хочет вставать. Я бужу его еще раз. Он отказывается. Я хватаю дно спальника, мощно дергаю его, как скатерть со стола, и Крис вываливается, хлопая глазами, прямо на сосновые иголки. Некоторое время он соображает, что произошло, а я пока сворачиваю спальник.

Он приходит завтракать с оскорбленным видом, откусывает один раз, говорит, что не голоден, и что у него болит живот. Я показываю на озеро внизу, такое странное посреди полупустыни, но он не проявляет никакого

интереса. Только твердит про свой живот. Я пропускаю его жалобы мимо ушей, Джон и Сильвия тоже не обращают внимания. Я рад, что они теперь знают про Криса. Иначе возникли бы трения. Мы молча доедаем, и я как-то странно умиротворен. Может быть, оттого, что решил, что делать с Федром. Но, возможно, еще и потому, что мы -- футах в ста над озером и смотрим поверх него в какие-то западные просторы. Голые холмы, нигде ни души, ни звука; а в таких местах что-то как-то поднимает дух и заставляет думать, что всё, наверное, образуется.

Загружая остаток вещей на багажную раму, я с удивлением замечаю, что задняя шина сильно изношена. Должно быть, сказалось всё вместе: скорость, большая нагрузка, вчерашняя жара на дороге. Цепь тоже провисает, я достаю инструменты отрегулировать ее и не могу сдержать стога.

-- Что случилось? -- спрашивает Джон.

-- В регуляторе цепи резьбу сорвало.

Я вытаскиваю регулирующий винт и осматриваю нарезку:

-- Сам виноват -- сорвал, когда как-то пытался подтянуть, не ослабив осевой гайки. А болт еще хороший. -- Я показываю ему. -- Похоже, это внутренняя резьба в раме сорвана.

Джон долго глядит на колесо:

-- Думаешь, доберешься до города?

-- А? Да, конечно. Оно может работать целую вечность. Просто цепь подтягивать трудно будет.

Он внимательно наблюдает за тем, как я выбираю гайку задней оси до тех пор, пока она едва держится, слегка подстукиваю ее молотком в сторону, пока не исчезает провис цепи, затягиваю гайку изо всех сил, чтобы ось потом не соскользнула вперед, и ставлю шплинт на место. В отличие от осевых гаек автомобиля, эту можно затягивать плотно.

-- Откуда ты знаешь, как всё это делать? -- спрашивает он.

-- Тут можно и догадаться, если просто раскинуть мозгами.

-- Я бы не знал, с чего начать.

Я думаю про себя: да-а, проблема так проблема -- где начать? Чтобы доехать до Джона, надо сдавать все дальше и дальше назад, и чем дальше назад сдаешь, тем яснее видишь, что остается еще больше -- пока то, что сначала казалось небольшой проблемой понимания, не оборачивается огромным философским исследованием. А посему, как я думаю, и существует Шатокуа.

Я пакую инструменты, закрываю боковую крышку и думаю: хотя он стоит того -- чтобы попытаться до него доехать.

Воздух на дороге сушит испарину от этих цепных дел, и я некоторое время чувствую себя хорошо. Хотя когда пот высыхает, становится жарко. Уже под восемьдесят, должно быть.

На этой дороге нет движения, и мы едем очень неплохо. Хорошо в такой день путешествовать.

Теперь я хочу начать обещанное с того, что существовал некто (его здесь больше нет), которому было что сказать, и который сказал это, но ему никто не поверил, или его никто по-настоящему не понял. Его забыли. По причинам, которые станут понятными позже, я бы предпочел, чтобы о нем и не вспоминали, но другого выбора нет -- только вновь открыть его дело.

Не знаю его истории полностью. И никто никогда не будет знать, кроме самого Федра, а он говорить больше не может. Но из его записей, из того, что говорили другие, и из фрагментов моих собственных воспоминаний должно сложиться вместе какое-то подобие того, о чем он говорил. Поскольку основные идеи, взятые для этого Шатокуа, были заимствованы у него, то большого отклонения, на самом деле, не произойдет -- будет только увеличение, от которого Шатокуа станет понятнее, чем если бы я его представил в чисто абстрактном виде. Цель этого увеличения -- не агитировать в его пользу и уж конечно не превозносить его. Цель -- похоронить его. Навсегда.

Когда мы ехали в Миннесоте по болотам, я упоминал о «формах» техники, о «силе смерти», от которой, кажется, бегут Сазерленды. Теперь я хочу двинуться в направлении, противоположном Сазерлендам, *навстречу* этой силе -- и в самое ее ядро. Сделав это, мы вступим в мир Федра, единственный мир, ведомый ему, мир, в котором все понимание заключено в понятия лежащей в основе всего формы.

Мир лежащей в основе формы, -- необычный предмет для обсуждения, поскольку сам по себе, в сущности, -- *способ* обсуждения. Вещи описываешь в понятиях их непосредственного внешнего вида или же в понятиях лежащей в их основе формы; когда же пытаешься описывать сами эти способы описания, то втягиваешься в то, что можно назвать проблемой платформы. У тебя нет платформы, с которой можно их описывать, -- кроме самих этих способов.

До сих пор я описывал его мир лежащей в основе формы -- или, по крайней мере, один из аспектов его, называемый технологией, -- лишь с внешней точки зрения. Теперь, я думаю, правильнее будет говорить об этом мире с его собственной точки зрения. Я хочу говорить о форме, лежащей в основе мира *самой* лежащей в основе формы.

Чтобы это сделать, для начала необходима дихотомия, но прежде, чем я смогу честно ею пользоваться, необходимо сдать назад и сказать, чем *она* является и что означает, а это, само по себе, -- уже долгая история.

Часть проблемы сдавания назад. Прямо сейчас же я просто хочу воспользоваться этой дихотомией, а объяснять

ее буду потом. Я хочу разделить человеческое понимание на два вида -- на классическое и романтическое. В понятиях истины в последней инстанции такая дихотомия мало что означает, но она вполне законна, когда действуют в рамках классического способа, используемого для открытия или создания мира лежащей в основе формы. Понятия *классический* и *романтический* в том смысле, в каком их употреблял Федр, означают следующее:

Классическое понимание видит мир, в первую очередь, как саму форму, лежащую в основе. Романтическое видит его, в первую очередь, в понятиях его непосредственной видимости. Если бы пришлось показывать машину, механический чертеж или электронную схему романтику, то, вероятнее всего, он не увидел бы в них ничего особо интересного. Это его к себе не притягивает, поскольку та реальность, которую он видит, -- поверхность. Скучные сложные списки названий, линии и цифирь. Ничего интересного. Но если бы пришлось показывать тот же самый чертеж или схему, или давать то же самое описание классическому человеку, он бы мог взглянуть на него и проникнуться его очарованием, поскольку видит в тех линиях, формах и символах потрясающее богатство лежащей в основе формы.

Романтический способ, в первую голову, ориентирован на вдохновение, воображение, созидание, интуицию. В большей степени доминируют чувства, а не факты. Когда «Искусство» противопоставляется «Науке», оно зачастую романтично. Романтический способ не подчиняется разуму или законам в своем развитии. Он подчиняется чувству, интуиции и эстетическому сознанию. В культурах Северной Европы романтический способ обычно ассоциируется с женским началом, но такая ассоциация, конечно же, не является обязательной. Классический способ, напротив, управляется разумом и законами, -- которые сами по себе являются формами, лежащими в основе мысли и поведения. В европейских культурах это, в первую очередь, мужской способ, и сферы науки, юриспруденции и медицины, как правило, непривлекательны для женщин именно по этой причине. Хотя езда на мотоцикле романтична, уход за мотоциклом -- чисто классичен. Грязь, смазка, требуемое владение основной формой -- все это сообщает ему столь отрицательное романтическое влечение, что женщины никогда и близко к нему не подходят. NT>

Хотя в классическом способе понимания часто можно найти поверхностное безобразие, оно внутренне не присуще ему. Существует и классическая эстетика, которую романтики зачастую пропускают из-за ее тонкости. Классический стиль прямолинеен, неприкрашен, неэмоционален, экономичен и обладает тщательно выверенными пропорциями. Цель его -- не вдохновлять эмоционально, а из хаоса извлекать порядок и неизвестное делать известным. Этот стиль -- отнюдь не эстетически свободный и естественный стиль. Он эстетически сдержан. Все находится под контролем. Его ценность измеряется умением, с каким этот контроль поддерживается.

Романтику этот классический способ часто кажется скучным, неуклюжим и безобразным -- как и само техническое обслуживание. Все определяется деталями, частями, компонентами и пропорциями. Ничего не высчитывается, пока не будет десять раз пропущено через компьютер. Все надо измерять и доказывать. Подавляет. Тяжко. Бесконечно серо. Сила смерти.

Тем не менее, из классического способа восприятия романтик тоже выглядит неким образом. Он фриволен, иррационален, рассеян, ненадежен, прежде всего заинтересован в поисках удовольствий. Мелок. Нет сути. Зачастую -- паразит, не способный или не желающий нести свой собственный груз. Настоящий тормоз общества. Что -- знакомые боевые позиции?

Тут-то и зарыт источник разногласий. Люди склонны думать и чувствовать только в одном режиме, а посему склонны неверно понимать и недооценивать сущность противоположного способа. Никто ведь не желает отказываться от той истины, которую видит, и, насколько я знаю, никто из ныне здравствующих не смог по-настоящему примирить эти две истины или два способа. Не существует точки, в которой эти видения реальности сошлись бы.

И поэтому в последнее время мы стали свидетелями того, как между классической культурой и романтической контркультурой происходит громадный разлом: два мира все более и более отчуждаются, наполняются ненавистью друг к другу; а все в это время задаются вопросом: всегда ли так будет -- дом разделяется на ся? В действительности никто ведь этого не хочет -- несмотря на то, что может подумать его антагонист в другом измерении.

Как раз в этом контексте имеет значение то, о чем думал и что говорил Федр. Но в то время *ни один* лагерь не слушал его; сначала все считали его просто эксцентриком, потом -- нежелательным элементом, потом -- слегка повернутым, а потом -- по-настоящему безумным. Уже, наверное, почти нет сомнений в том, что он был безумен, но большая часть написанного им в то время указывает на то, что с ума его сводило именно это враждебное мнение. Необычное поведение склонно отстранять людей, что, в свою очередь, усугубляет необычное поведение, ведущее к остраенности -- и так далее, подпитываемыми самих себя кругами, до тех пор, пока не дойдет до какой-то кульминации. У Федра ею стал полицейский арест по распоряжению суда и постоянная изоляция от общества.

Я вижу слева поворот на шоссе №12, и Джон съезжает с дороги заправиться. Я подъезжаю к нему. Термометр у дверей станции показывает 92 градуса.
-- Сегодня опять будет круто, -- говорю я.

Когда баки наполнены, мы направляемся к ресторану через дорогу выпить кофе. Крис, конечно, проголодался.

Я говорю ему, что ждал этого. Что он либо ест со всеми вместе, либо не ест вообще. Говорю не сердито.

Обыденно. Он смотрит с упреком, но понимает, что так и будет.

Сильвия бросает мне мимолетный взгляд облегчения. Очевидно, она считала проблему продолжительной.

Когда мы заканчиваем кофе и опять выходим наружу, жара -- такая яростная, что мы чуть ли не бежим к мотоциклам. Снова эта моментальная прохлада, но она быстро пропадает. Выгоревшая трава и песок так ярко от солнца, что приходится прищуриваться, чтобы глаза так не резало. Это шоссе №12 -- старое и плохое. Разбитый бетон -- весь в пятнах мазута и буграх. Дорожные знаки предупреждают об объездах впереди. По обеим сторонам дороги изредка встречаются ветхие сараи, хижины и придорожные ларьки -- они накапливались здесь годами. Сейчас тут сильное движение. Я просто счастлив, что думаю о рациональном, аналитическом, классическом мире Федра.

Его типом рациональности пользовались со времен античности, чтобы удалить себя от скуки и депрессии непосредственного окружения. Это трудно увидеть, поскольку там, где он когда-то использовался, чтобы бежать *этого всего*, побег оказался таким успешным, что сам теперь стал «этим всем», от чего пытаются сбежать романтики. Этот мир так трудно ясно увидеть не из-за его странности, а из-за его обычности. Близкое знакомство тоже может ослеплять.

Его способ смотреть на вещи порождает тот вид описания, который можно назвать «аналитическим». Это еще одно название классической платформы, с которой обсуждают вещи в понятиях формы, лежащей в их основе. Федр был абсолютно классическим человеком. А чтобы полностью описать, что это такое, я хочу развернуть его аналитический подход на самое себя и проанализировать сам анализ. И сделать это, с самого начала приведя его обширный пример, а затем -- рассекая то, чем он является. Такой подходящий пример -- мотоцикл, поскольку сам мотоцикл изобрели классические умы. Слушай:

С целью классического рационального анализа мотоцикл можно разделить по составным агрегатам и функциям.

Если делить его по составным агрегатам, то самое основное деление -- на силовой агрегат и ходовую часть.

Силовой агрегат можно разделить на двигатель и систему питания. Сначала возьмем двигатель.

Двигатель состоит из картера, содержащего коробку передач, топливно-воздушной системы, системы зажигания, системы впуска и системы смазки.

Передача состоит из цилиндров, поршней, шатунов, коленчатого вала и маховика.

Компоненты воздушно-топливной системы, являющейся частью двигателя, включают бензобак с фильтром, воздушный фильтр, карбюратор, клапаны и выхлопные трубки.

Система зажигания состоит из генератора переменного тока, выпрямителя, батареи, высоковольтной обмотки и запальных свечей.

Система впуска состоит из кулачковой передачи, распределительного вала, перепускных болтов и распределителя.

Система смазки состоит из масляного насоса и каналов для распределения масла, проходящих через картер.

Система распределения мощности, сопутствующая двигателю, состоит из сцепления, трансмиссии и цепи.

Несущая конструкция, сопутствующая силовому агрегату, состоит из рамы, включая подставки для ног, сиденье и брызговики; рулевого управления; переднего и заднего амортизаторов; колес; рычагов управления и кабелей; фонарей и звукового сигнала; спидометра и одометра.

Это -- мотоцикл, разделенный по компонентам. Чтобы знать, для чего предназначены компоненты, необходимо также разделение по функциям:

Мотоцикл можно разделить на обычные двигательные функции и особые функции, контролируемые водителем. Обычные двигательные функции могут подразделяться на функции в течение цикла всасывания, сжатия, рабочего хода и цикла выхлопа.

И прочая. Я мог бы перечислять и дальше, какие функции следуют за какими в их должной последовательности в течение каждого из циклов, потом перейти к функциям, контролируемым водителем, и у нас получится очень общее описание формы, лежащей в основе мотоцикла. Оно будет крайне коротким и рудиментарным, как и все описания подобного рода. Почти о любом из упомянутых компонентов можно распространяться до бесконечности. Я прочел целый технический том по одним контактам прерывателя -- простой, маленькой, но жизненно важной детали распределителя. Существуют другие типы двигателей, отличающиеся от одноцилиндрового двигателя Отто, описанного выше: двухцикловые, многоцилиндровые, дизельные, двигатели Ванкеля; но и этого примера достаточно.

Это описание будет охватывать «что» мотоцикла в понятиях его компонентов и «как» двигателя в понятиях функций. Ему еще очень понадобится анализ «где» в форме иллюстраций, а также анализ «почему» в форме инженерных принципов, которые привели к данной совокупности частей. Но цель наша -- отнюдь не утомительно анализировать мотоцикл. Цель -- задать начальную точку, способ понимания вещей, который сам станет объектом анализа.

Конечно же, в этом описании нет ничего странного на первый взгляд. Похоже на вводный курс учебника или первый урок профессионального образования. Необычное начинает проглядывать, когда перестает быть способом дискурса и становится объектом дискурса. В этом случае можно кое-что отметить.

Первое замечание настолько очевидно, что его следует придержать, а не то оно утопит все остальные наблюдения. Это скучнее стоячей воды в канаве. Бу-бу, бу-бу, бу-бу, бу, карбюратор, передаточное число, сжатие, бу-бу-бу-бу, поршень, свечи, всасывание, бу-бу, бу, дальше, дальше и дальше. Это -- романтическое лицо классического способа. Скучно, неуклюже и безобразно. Очень немногие романтики продвигаются дальше.

Но если ухватиться за это, самое очевидное, наблюдение, то можно заметить и кое-что еще -- то, чего сначала не видно.

Во-первых, мотоцикл, описанный таким образом, почти невозможно понять, если еще не знаешь, как он работает. Непосредственных поверхностных впечатлений, жизненно необходимых для первичного понимания, нет. Остается только лежащая в основе форма.

Во-вторых, то, чего наблюдатель не видит. В описании не сказано, что для того, чтобы увидеть поршень, надо снять головку цилиндра. «Тебя» в этой картинке нигде нет. Даже «оператор» -- нечто вроде безличностного робота, чье выполнение функции в этой машине совершенно механистично. В описании нет настоящих субъектов. Существуют только объекты, независимые от какого бы то ни было наблюдателя.

В-третьих, полностью отсутствуют слова «хорошо», «плохо» и все их синонимы. Нигде не высказывается никаких оценочных суждений, только факты.

В-четвертых, здесь работает нож. И причем смертоносный: интеллектуальный скальпель, столь быстрый и острый, что иногда даже не замечаешь, как он движется. Создается иллюзия, что все эти детали просто существуют, и их называют так, как они существуют. Однако, их можно называть совсем иначе и располагать совершенно по-другому -- в зависимости от того, как движется нож.

Например, механизм всасывания, включающий в себя распредвал, кулачковую передачу, перепускные болты и распределитель, существует постольку, поскольку этим аналитическим ножом проведен необычный разрез. Если же придешь в отдел запчастей для мотоцикла и спросишь у них индукционный агрегат, то они не поймут, что это ты, к чертовой матери, там мелешь. Они его таким образом не разбирают. Не существует двух похожих производителей, разбравших бы его совершенно одинаково, и каждый механик знаком с проблемой запчасти, которую не можешь купить потому, что не можешь ее найти, поскольку производитель считает эту деталь деталью чего-то другого.

Важно видеть этот нож таким, каков он есть, а не глупо-доверчиво считать, что мотоциклы или что-то другое именно таковы только потому, что нож по случаю взрезал их вот таким образом. Важно сосредоточиться на самом ноже. Потом я еще покажу, как способность творчески и эффективно использовать этот нож может привести к решениям проблемы раскола классического и романтического.

Федр владел этим ножом мастерски, пользовался им ловко и с осознанием собственной силы. Одним ударом аналитической мысли он рассекал целый мир на части по собственному выбору, рассекал части и рассекал фрагменты частей, всё тоньше, тоньше и тоньше -- до тех пор, пока не уменьшил этот мир до желаемого размера. Даже особое употребление понятий «классического» и «романтического» -- пример его мастерского владения ножом.

Если бы дело было только в этом аналитическом мастерстве, я бы немедленно заткнулся. Но он пользовался своим мастерством столь причудливо и в то же время -- столь значимо, что не затыкаться по его поводу очень важно. Никто никогда этого не видел. Я даже думаю, что он этого не видел сам. Может, это моя личная иллюзия, но нож, которым он пользовался, был скорее лезвием плохого хирурга, нежели ножом наемного убийцы.

Возможно, никакой разницы и нет. Но он видел, как происходило что-то гадкое и болезненное, и резал глубоко -- все глубже и глубже, лишь бы добраться до корня. Он что-то искал. Вот что важно. Он что-то искал и брал нож потому, что тот был его единственным инструментом. Но он взвалил на себя так много и зашел так далеко в конце, что сам стал своей жертвой.

Жара уже повсюду. Я больше не могу не обращать на нее внимания. Воздух раскален, как духовка, и глазам под очками даже прохладно по сравнению с остальными частями лица. Рукам тоже прохладно, но на перчатках от пота проступают большие темные пятна с белыми ободками подсохшей соли.

Впереди на дороге ворона клюет какую-то падаль; она медленно взлетает при нашем приближении. Похоже, там валяется ящерица, высохшая и прилипшая к асфальту.

На горизонте появляются слегка мерцающие очертания зданий. Я сверяюсь с картой: должно быть, это Боумэн. Мечтаю о воде со льдом и кондиционере.

Мы почти никого не встречаем на мостовых и тротуарах Боумэна, хотя множество припаркованных автомобилей говорит о том, что все -- здесь. Внутри. Мы въезжаем на изогнутую углом стоянку и резко разворачиваемся, чтобы без помех выехать обратно, когда соберемся. Одинокая пожилая личность в широкополой шляпе наблюдает, как мы ставим мотоциклы на подпорки, снимаем шлемы и очки.

-- Вам не жарко? -- спрашивает он. На его лице ничего не написано.

Джон качает головой и отвечает:

-- Бож-же!

Выражение лица, затененного шляпой, становится улыбкой.

-- А сколько сегодня? -- спрашивает Джон.

-- Сто два, -- отвечает тот, -- когда я смотрел последний раз. Должно до ста четырех дойти.

Он спрашивает, сколько мы проехали, мы сообщаем, и он кивает головой с каким-то одобрением:

-- Это много.

Потом спрашивает про машины.

Нас манят пиво и кондиционер, но мы его не обламываем. Мы просто стоим на стодвухградусной жаре, и беседуем с этим человеком. Он -- скотник, на пенсии, говорит, что здесь в округе много пастбищ, и что много лет назад у него был мотоцикл марки «Хендерсон». Мне нравится, что ему хочется поговорить про этот свой «Хендерсон» в стодвухградусном пекле. Мы еще немного с ним беседуем, нетерпение Джона, Сильвии и Криса растет, а когда мы, наконец, прощаемся, он говорит, что рад был познакомиться, и, хотя лицо его по-прежнему ничего не выражает, мы чувствуем, что он говорит правду. Он уходит прочь с каким-то медлительным достоинством в эту стодвухградусную жару.

В ресторане я пытаюсь завести о нем беседу, но никому не интересно. Джон и Сильвия, похоже, по-настоящему отрубились. Просто сидят и впитывают кондиционированный воздух без единого движения. Подходит официантка за заказом, и это немного их встряхивает, но они еще не готовы, и она уходит опять.

-- Я, кажется, не хочу никуда отсюда уезжать, -- произносит Сильвия.

Человек с улицы в широкополой шляпе снова встает у меня перед глазами. Я говорю:

-- Подумайте, как здесь было до появления кондиционеров.

-- Я об этом и думаю, -- отвечает она.

-- По таким раскаленным дорогам с моей плохой задней шиной мы бы не сделали больше шестидесяти.

Никакой реакции.

Крис, напротив, кажется, вернулся в свое обычное состояние: он на чеку и за всем наблюдает. Когда приносят еду, он на нее набрасывается и задолго до того, как заканчиваем мы, просит еще. Получает свою добавку, и теперь мы ждем, когда закончит он.

Много миль спустя жара -- такая же зверская. Светло так, что мотоциклетных и темных очков уже недостаточно. Нужен щиток сварщика.

Высокие Равнины ломаются и размываются, превращаясь в изборожденные оврагами холмы. На всем -- яркий беловатый налет. Нигде ни травинки. Только разбросанные тут и там стебли сорняков, камни и песок. На черную дорогу смотришь с облегчением, и я наблюдаю, как она проносится под ногой. Рядом вижу левую выхлопную трубу: она стала голубоватой -- такого оттенка раньше не было. Я плюю на кончики пальцев в перчатке, трогаю ее и вижу, как слюна шипит. Нехорошо.

Теперь важно просто сжиться с этим, а не мысленно сражаться... контроль разумом...

Теперь следует поговорить о ноже Федра. Поможет понять кое-что из того, о чем мы уже упоминали.

Каждый применяет этот нож, делит мир на части и строит такое здание. Мы постоянно осознаем миллионы вещей вокруг нас: эти изменчивые формы, эти пылающие холмы, звук двигателя, чувство газа, каждый камешек, сорняк, и столб забора, и куча мусора у дороги -- осознаем все это, но не очень-то осознанно, если в этих вещах нет ничего необычного, или они не отражают того, что мы уже предрасположены в них увидеть. Нам невозможно осознанно относиться ко всему этому и все это запоминать, потому что иначе наш ум настолько переполнился бы бесполезными подробностями, что мы бы просто не смогли мыслить. Из этого сознания мы обязаны выбирать, и то, что мы выбираем и называем уже осознанием, никогда не равно сознанию, поскольку мутирует в процессе выбора. Мы зачерпываем пригоршню песка из бескрайнего ландшафта сознания вокруг и называем эту горсть песка миром.

Как только у нас появляется эта горсть песка -- мир, который мы осознаем, -- ее начинает обрабатывать процесс установления различий. Это и есть нож. Мы делим песок на части. Это и то. Здесь и там. Черное и белое. Теперь и тогда. Различение -- это деление осознанной вселенной на части.

Горсть песка вначале выглядит однородной, но чем дольше мы вглядываемся в нее, тем более разнообразной находим ее. Каждая песчинка различна. Двух одинаковых нет. Некоторые похожи одним образом, другие -- другим, и мы можем разложить песок по кучкам на основании этой схожести и несхожести. Оттенки цвета в отдельных кучках -- размеры в отдельных кучках -- формы песчинок в отдельных кучках -- подвиды форм в отдельных кучках -- степени прозрачности в отдельных кучках -- и так далее, далее и далее. Можно решить, что процесс подразделения и классификации где-нибудь придет к концу, но он не приходит. Он продолжается и продолжается.

Классическое понимание имеет дело с кучками, основанием для их сортировки и взаимоотношениями между ними. Романтическое направлено на горсть песка еще до того, как начинается сортировка. И то, и другое -- обоснованные способы смотреть на мир, хотя и непримиримы по отношению друг к другу.

Насущной необходимостью стал способ мировоззрения, который не совершал бы насилия ни над одним из этих видов понимания и объединял бы их в одно. Такое понимание не станет отрицать ни сортировки песка, ни

созерцания нерассортированного песка ради него самого. Напротив, такое понимание будет направлять внимание на этот бескрайний ландшафт, из которого взят песок. Как раз это и пытался делать Федр, бедный хирург.

Чтобы понять то, что он пытался сделать, необходимо в самом ландшафте увидеть фигуру, раскладывающую песок на кучки, и понять, что она -- *часть* ландшафта, *неотделимая* от него, и ее просто *должно* понять. Видеть ландшафт, не замечая фигуры, -- значит не видеть ландшафта вообще. Отрицать ту ипостась Будды, которая уделяет внимание анализу мотоциклов, -- значит пропускать Будду полностью.

Существует вечный классический вопрос: какая часть мотоцикла, какая крупца песка в какой кучке и есть Будда? Очевидно, что задавать подобный вопрос -- значит смотреть не туда, ибо Будда -- везде. Но столь же очевидно, что задавать такой вопрос -- значит смотреть именно *туда*, куда нужно, ибо Будда -- везде. Много говорилось уже о Будде, существующим независимо от какой бы то ни было аналитической мысли; некоторые решили бы -- даже *слишком* много, -- и поставили бы под сомнение любую попытку что-либо к сказанному прибавить. Но практически ничего не говорилось о Будде, существующем в *самой* аналитической мысли и *задающем этой мысли направление*, -- и тому есть свои исторические причины. Но история продолжает происходить, и кажется, что нет никакого вреда (а может, есть и какое-то позитивное добро) в том, чтобы прибавить к нашему историческому наследию немного разговоров в этой дискурсивной сфере.

Когда аналитическая мысль -- нож -- применяется к опыту, в этом процессе что-то обязательно умерщвляется. Это сравнительно хорошо понято -- по крайней мере, в искусствах. Приходит в голову то, что произошло с Марком Твенем: когда, овладев аналитическим знанием, необходимым для проводки судов по Миссиссиппи, он обнаружил, что река потеряла для него свое очарование. Что-то *всегда* гибнет. Но гораздо меньше заметно в искусствах то, что нечто, к тому же, всегда создается. И вместо того, чтобы заикливаться на жертве, гораздо важнее видеть рождение и рассматривать процесс как какую-то непрерывность жизни-смерти, которая ни хороша, ни плоха -- она просто *есть*.

Мы проезжаем через городок под названием Мармарт, но Джон не останавливается даже на перекур, и мы едем дальше. Опять жара, как в печке, какие-то изрытые пустоши -- и вот мы уже пересекаем границу Монтаны. Об этом гласит щит у дороги.

Сильвия машет руками вверх и вниз, и я в ответ жму на сигнал, но когда бросаю взгляд на щит, то мои чувства отнюдь не праздничны. Неожиданно возникает какое-то внутреннее напряжение -- у них его быть не может. Откуда им знать, что мы сейчас -- там, где жил он.

Пока вся эта болтовня о классическом и романтическом понимании наверняка выглядит каким-то странным объездом при описании самого Федра, но чтобы добраться до сути, следует выбирать только этот окольный путь. Описывать физическую внешность Федра или его жизненную статистику означало бы скользить по поверхности, а это заведет нас не туда. Идти же прямо к нему -- только навлечь беду.

Он был безумен. Когда смотришь прямо на безумного человека, видишь лишь отражение собственного знания того, что он безумен; а это означает не видеть человека вообще. Чтобы его увидеть, надо видеть то, что видел он, а когда пытаешься поймать видение безумца, то самое действенное -- объезд. Иначе дорогу блокируют твои собственные мнения. Есть только один проход -- и идти нам еще очень долго.

Я давал себе труд заниматься всеми этими анализами, определениями и иерархиями не ради них самих, а ради того, чтобы заложить фундамент понимания того, куда шел Федр.

Как-то ночью я сказал Крису, что Федр всю свою жизнь потратил на погоню за призраком. Так оно и было. Призрак, за которым он гнался, лежал в основе всей технологии, всей современной науки, всего западного мышления. Призрак самой рациональности. Я сказал Крису, что когда он его нашел, то хорошенько отдубасил. Наверное, что в фигуральном смысле это тоже правда. Он приоткрыл кое-что из того, что я надеюсь извлечь на свет, пока мы едем. Теперь настали такие времена, что и другие, наконец, могут найти там какую-то ценность.

Тогда же никто не желал видеть призрака, за которым гнался Федр, но сейчас, я думаю, все больше и больше людей видят его -- или же он мелькает перед ними в дурные мгновения, этот призрак, называющий себя рациональностью. Снаружи он бессвязен и бессмыслен, поэтому самые нормальные повседневные поступки несколько кажутся сумасшедшими из-за того, что несоразмерны с чем-либо еще. Это призрак нормальных повседневных допущений, объявляющий невозможной конечную цель жизни (остаться живым), но от этого она не перестает быть конечной целью жизни. Великие умы по-прежнему сражаются с болезнями, чтобы люди могли жить дольше, и только безумцы спрашивают, зачем. Живут дольше с тем, чтобы иметь возможность жить дольше. Другой цели нет. Так говорит призрак.

В Бейкере, где мы останавливаемся, термометры показывают 108 в тени. Когда я снимаю перчатки, бензобак так раскален, что невозможно дотронуться. Двигатель зловеще потрескивает от перегрева. Очень плохо. Задняя шина тоже сильно стерлась, и я, приложив ладонь, чувствую, что она такая же горячая, как и бензобак.

-- Придется ехать медленнее, -- говорю я.

-- Что?

-- Думаю, не следует гнать больше пятидесяти.

Джон смотрит на Сильвию, а та смотрит на него. Между ними что-то уже говорилось по поводу моей медлительности. Оба выглядят так, будто с них уже почти хватит.

-- Мы же хотели побыстрее добраться, -- высказывается Джон, и они идут к ресторану.

Цепь тоже раскалилась и пересохла. В правой седельной сумке нашариваю баллончик со смазкой, завожу двигатель и брызгаю на движущуюся цепь. Она еще не остыла, и раствор испаряется почти мгновенно. Затем я выпускаю тоненькую струйку масла, даю ему немного стечь и выключаю двигатель. Крис терпеливо ждет, а потом идет за мною в ресторан.

-- Мне показалось, ты говорил, что большой упадок наступит на второй день, -- говорит Сильвия, когда мы подходим к кабинке, где они уже сидят.

-- На второй или на третий, -- отвечаю я.

-- Или на четвертый и пятый?

-- Может быть.

Они с Джоном снова переглядываются с тем же самым выражением, что и раньше. Кажется, оно означает: «Трое -- уже толпа». Может, захотят ехать быстрее и дожидаться меня в каком-нибудь городке впереди. Я бы предложил им это сам, но если они поедут *намного* быстрее, то ждать меня в городке им не придется. Ждать меня они будут в кювете.

-- Не знаю, как люди здесь это терпят, -- говорит Сильвия.

-- Крутая тут страна, знаешь ли, -- отвечаю я с некоторым раздражением. -- Они знают, что здесь круто, когда сюда едут, и готовы к этому. Если кто-то один жалуется, -- прибавляю я, -- то остальным становится еще тяжелее. У них есть *жизненная сила*. Они знают, как идти дальше.

Джон и Сильвия не очень разговорчивы, и Джон быстро допивает кока-колу и отходит к бару за стаканчиком. Я выхожу и снова проверяю багаж: после последней упаковки вещи немного ужались, и я выбираю слабинку и всё перевязываю снова.

Крис показывает нам термометр на солнце, и мы видим, что ртуть поднялась намного выше 120 градусов.

Мы еще не выехали из города, а я уже весь взмок от пота. На ветру высыхаю меньше, чем за полминуты.

Жара просто припечатывает нас. Даже в темных очках приходится щуриться. Вокруг -- ничего, кроме пылающего песка и бледного неба, такого яркого, что трудно вообще куда-либо смотреть. Все раскалилось добела. Настоящая преисподняя.

Джон впереди разгоняется все быстрее. Я бросаю думать о нем и сбрасываю скорость до пятидесяти пяти. Если не хочешь в такую жару неприятностей, то не станешь терзать покрышки на 85 милях в час. Лопнувшая шина на этом участке пути -- это крапты.

Наверное, они восприняли то, что я сказал, как некую отповедь, но я не имел этого в виду. Мне при такой жаре не удобнее их, но залипать на этом не имеет смысла. Весь день, пока я вспоминал и говорил о Федре, они, должно быть, думали о том, как все плохо. Вот что их действительно изнашивает. Мысль.

Кое-что можно заметить о Федре и как о личности:

Знатор логики, классической «системы систем», описывающей правила и процедуры систематического мышления, при помощи которого аналитическое знание может структурироваться и соотноситься. Он был в этом так спор, что его коэффициент интеллекта Стэнфорда-Бине, в сущности, представляющий собой запись навыков аналитической манипуляции, был зафиксирован со значением 170 -- а эта цифра встречается только у одного человека из пятидесяти тысяч.

Он был систематичен, но сказать, что он думал и действовал, как машина, означало бы неверно понимать природу его мысли. Это не походило на поршни, колеса и шестерни, все двигающиеся одновременно, массивно и скоординированно. На ум вместо этого приходит образ лазерного луча: одинокий тоненький карандашик света такой ужасающей энергии в такой крайней степени концентрации, что его можно направить на луну и снова увидеть его отражение на земле. Федр не использовал свою яркость для общего освещения. Он выискивал особую далекую мишень, целился в нее и попадал. И всё. На мою же долю, кажется, осталось лишь общее освещение этой мишени, которую он уже поразил.

Пропорционально своей разумности он был крайне одинок. Не осталось свидетельств, имелись ли у него близкие друзья. Он путешествовал один. Всегда. Даже в присутствии других он был совершенно одинок. Люди иногда это чувствовали, это их отталкивало, поэтому он им не нравился, но нелюбовь их была ему безразлична.

Больше всего, наверное, страдали его жена и семья. Жена утверждает, что те, кто пытался попасть за барьеры его сдержанности, оказывались лицом к лицу с пустотой. По-моему, они тянулись к какой-то теплоте, которой он никогда не давал.

Никто его по-настоящему не знал. Очевидно, этого как раз он и добивался, -- так оно и было. Возможно, одиночество было результатом его ума. Возможно, причиной. Но оба эти свойства всегда шли бок о бок.

Необычайная одинокая разумность.

Хотя рассуждения по-прежнему ни к чему не приводят, поскольку и они, и образ лазерного луча создают впечатление, что он был абсолютно холоден и бесстрастен, а это не так. В своей погоне за тем, что я назвал призраком рациональности, он был фанатиком охоты.

Сейчас особенно ярко всплывает один случай в горах, когда солнце уже полчаса как скрылось за вершиной, и ранние сумерки обратили деревья и даже скалы в почти зачерненные тени синего, серого и коричневого. Федр

пробыл здесь без еды три дня. Еда закончилась, но он глубоко погрузился в раздумья, имел видения, и не хотел уходить. Дорога лежала недалеко, он о ней знал и поэтому не спешил.

В сумраке он увидел какое-то движение вниз по тропе, и к нему приблизилось животное, похожее на собаку -- вроде крупной овчарки или, вероятнее, эскимосской лайки, -- и он спросил себя, что привело собаку в это глухое место в такое время вечера. Собак он не любил, но животное подходило, как бы предвосхищая такие чувства с его стороны. Казалось, пес наблюдал за ним, оценивал *его самого*. Федр долго и пристально смотрел в глаза животного и вдруг почувствовал нечто вроде узнавания. Потом пес исчез.

Много позже Федр понял: то был лесной волк, -- и память об этой встрече долгое время оставалась с ним.

Думаю, потому, что он увидел что-то вроде образа себя самого.

Фотография может показать физический образ, в котором время статично, а зеркало может показать физический образ, в котором время динамично, но, я думаю, в горах он видел совершенно иное: образ тот не был физическим и вовсе не существовал во времени. И, тем не менее, то был его образ -- поэтому-то он и почувствовал узнавание. Сейчас это ко мне так живо возвращается потому, что я опять видел его прошлой ночью -- как образ самого Федра.

Подобно тому лесному волку в горах, у него было какое-то животное мужество. Он шел собственным путем, не заботясь о последствиях, -- что иногда ошеломяло людей, а меня ошеломяет и сейчас, когда слышу об этом. Он нечасто отклонялся влево или вправо. Я это обнаружил. Но корни его мужества -- вовсе не в идеалистическом самопожертвовании, а в одной лишь интенсивности его погони, и тут нет ничего благородного. Думаю, он преследовал призрак рациональности потому, что хотел ему *отомстить*, ибо чувствовал, что сам им так сформировался. Он хотел освободиться от своего образа. Хотел его разрушить, поскольку призрак и *он сам* были одним и тем же, а ему хотелось стать свободным от уз собственной личности. Станным образом, но этой свободы он добился.

Такие воспоминания могут показаться «не от мира сего», но самая запредельная их часть еще только на подходе. Мои собственные с ним отношения. Они уже предвосхищены и были до сих пор смутны, но все равно о них нужно рассказать.

Я впервые обнаружил его много лет назад путем умозаключений из одной странной цепи событий. Однажды в пятницу я отправился на работу и сделал довольно много перед выходными, обрадовался этому и поехал потом на вечеринку, где разговаривал со всеми слишком долго и громко, а выпил больше того и *подавно*. Потом ушел в заднюю комнату ненадолго прилечь.

Когда я проснулся, то увидел, что проспал всю ночь, потому что уже рассвело, и подумал: «Господи, я даже не знаю, как зовут хозяев». К какой неловкости это может, в конце концов, привести? Комната не походила на ту, где я прилег, но когда я заходил, было темно, а я, должно быть, все равно нализался.

Я встал и увидел, что на мне другая одежда. Не то, что я надевал прошлым вечером. Я вышел из комнаты, но, к моему удивлению, дверь вела не в тот дом, а в длинный коридор.

Идя по нему, я ощущал, что все смотрят на меня. Три раза незнакомые люди останавливали меня и спрашивали, как я себя чувствую. Думая, что они имеют в виду мое вчерашнее состояние, я отвечал, что у меня даже нет похмелья, от чего один из них рассмеялся, но осекся.

В конце коридора я увидел стол, вокруг которого что-то происходило. Я сел поблизости в надежде, что меня никто не заметит, пока я это все как-нибудь не вычислю. Но подошла женщина в белом, и спросила, знаю ли я, как ее зовут. Я прочел имя на маленькой табличке, прицепленной к ее блузке. Она не заметила, явно этому поразила и поспешно отошла.

Вернулась она с мужчиной, и тот смотрел прямо на меня. Он сел рядом и спросил, знаю ли я, как зовут его. Я ответил и сам удивился так же, как они удивлялись тому, что я это знал.

-- Для этого еще очень рано, -- сказал он.

-- Похоже на больницу, -- сказал я.

Те кивнули.

-- Как я сюда попал? -- спросил я, думая о пьяной вечеринке.

Мужчина ничего не ответил, а женщина опустила глаза. Объяснили они очень мало.

Больше недели из того, что меня окружало, я вычислял, что до моего пробуждения все было сном, а после -- реальностью. Чтобы отличить их друг от друга, не было никакой основы, кроме нагромождения все новых и новых событий, казалось, ставивших под сомнение то пьяное происшествие. Появилось ощущение запертой двери; что снаружи, я не знаю, как ни пытаюсь вспомнить. И бумажка из наследственного суда, где говорилось, что такой-то и такой-то признан невменяемым. Они что, имеют в виду *меня*?

Наконец, мне объяснили: «Теперь у вас -- новая личность». Но это утверждение, на самом деле, ничего не объясняло. Оно озадачивало больше, чем обычно, поскольку я не создавал никакой «старой» личности вообще.

Вот если бы они сказали: «Вы теперь -- другая личность», было бы гораздо понятнее. Тогда бы все встало на свои места. Они совершили ошибку, думая о личности, как о каком-то типе владения, вроде чемодана с одеждой человека. Но что, кроме личности, в нем вообще есть? Немного костей и мяса. Возможно, набор юридических данных, но уж, конечно, никакого человека. Кости, мясо и юридические данные -- это покровы, которые носит личность, а не наоборот.

Но кем была *старая* личность, которую они знали и продолжением которой считали меня?

Это и стало мне первым намеком на существование Федра много лет назад. За все дни, недели и годы, что последовали за этим, я узнал намного больше.

Он умер. Его уничтожили по распоряжению суда усиленным пропусканием переменного тока высокого напряжения через доли его головного мозга. Приблизительно 800 миллиампер, продолжительностью от 0,5 до 1,5 секунд, применялись последовательно 28 раз, что составило процесс, технологически известный как «аннигиляция воздействия окружающей среды». Личность целиком ликвидировали без остатка технологически безупречным действием, которое с тех пор и определяло наши с ним отношения. Я его никогда не встречал. И никогда не встречал.

Но все же странные пряди его памяти внезапно накладываются и совпадают с этой дорогой, и со скалами в пустыне, и с добела раскаленным песком вокруг нас; и происходит какое-то чудное совпадение, и я уже знаю, что он все это видел. Он здесь был, иначе я бы этого не знал. Должен был быть. Наблюдая эти внезапные сращения видения, вспоминая странные обрывки мыслей, о происхождении которых не имею ни малейшего представления, я похож на ясновидца, на спиритического медиума, принимающего послания из иного мира. Вот так все и происходит. Я вижу что-то и собственными глазами и его глазами тоже. Когда-то они принадлежали ему.

Эти ГЛАЗА! Вот в чем весь ужас. Эти руки в перчатках, ведущие мотоцикл, на которые я сейчас смотрю, когда-то были *его* руками! И если можешь это почувствовать, то сможешь понять и настоящий страх. Страх от сознания, что бежать куда-то -- невозможно.

Мы въезжаем в неглубокий каньон. Немного спустя у дороги возникает стоянка, которой я ждал. Несколько скамеек, домик и зеленые деревца со шлангами, подведенными к основаниям стволов. Джон -- Господи, помоги мне -- уже у выхода на другой стороне, уже готов выезжать обратно на шоссе.

Я не обращаю на него внимания и останавливаюсь у домика. Крис спрыгивает, и мы ставим машину на подпорку. От двигателя поднимается жар, будто он загорелся, и тепловые волны искажают все вокруг него. Краем глаза я вижу, что второй мотоцикл возвращается. Подъезжая, оба яростно смотрят на меня. Сильвия говорит:

-- Мы просто... вне себя!

Я пожимаю плечами и шагаю к питьевому фонтанчику.

-- Где же вся та жизненная сила, о которой ты нам говорил? -- спрашивает Джон.

Я с одного взгляда вижу, что он *действительно* рассержен.

-- Я боялся, что ты воспримешь все это слишком всерьез, -- отвечаю я и отворачиваюсь. Пью воду -- она щелочная и отдает мылом, но я все равно ее пью.

Джон заходит в домик намочить себе рубашку. Я проверяю уровень масла. Колпачок масляного фильтра так раскалился, что даже сквозь перчатки жжет мне пальцы. Много масла двигатель не потерял. Протектор задней шины стерся еще немного, но еще послужит. Цепь натянута достаточно, но немного подсохла, и я в целях безопасности смазываю ее еще раз. Все важные болты достаточно хорошо затянуты.

Подходит Джон, с которого капает, и говорит:

-- Сейчас ты поезжай вперед, а мы за тобой.

-- Я быстро не поеду, -- отвечаю я.

-- Хорошо, -- говорит он. -- Все равно доберемся.

И вот я еду впереди, и движемся мы медленно. Дорога по каньону не выпрямляется, как было прежде и как я рассчитывал, а, напротив, начинает забираться в гору. Сюрприз.

Вот она то немного петляет, то вообще отклоняется от нужного нам направления, то возвращается на него снова. Вскоре она немного поднимается, потом -- еще немного. Мы углами продвигаемся по каким-то чертовым щелям, вверх, с каждым поворотом все выше и выше.

Появляются кустарники. Небольшие деревья. Дорога ведет все выше, среди травы, потом среди огороженных лугов.

Над головой появляется маленькое облачко. Может, дождь? Может. Раз есть луга, должен быть дождь. А на этих сейчас цветы. Странно, как все изменилось. По карте этого не видно. Воспоминания тоже исчезли. Должно быть, Федр здесь не проезжал. Но другой дороги не было. Странно. Продолжаем подъем.

Солнце склоняется к облачку, которое уже расплзлось до самого края горизонта над нами: там деревья, сосны, и холодный ветер оттуда приносит с собой запах хвои. Цветы на лугах волнуются от ветра, мотоцикл немного накреняется, и вдруг становится холодно.

Я смотрю на Криса, а он улыбается. Я тоже улыбаюсь.

И тут дождь обрушивается на дорогу вместе с ошеломляющим запахом земли, поднявшимся от пыли, которая ждала его слишком долго, и она, эта пыль рядом с дорогой, испещрена первыми каплями дождя.

Это все -- так ново. И нам он так нужен, новый дождь. Одежда намокает, очки забрызганы, меня знобит, и я чувствую себя восхитительно. Облако выходит из-под солнца, сосновый лес и луга снова сияют, поблескивая там, где капельки ловят солнечный свет.

Мы добираемся до верха подъема снова сухими, но уже замерзшими, и останавливаемся, глядя на огромную долину и реку внизу.

-- Кажется, приехали, -- произносит Джон.

Сильвия и Крис уже бродят по лугу среди цветов, под соснами, сквозь которые виден дальний край долины -- вдали и внизу.

Теперь я -- первооткрыватель, а подо мной -- земля обетованная.

ЧАСТЬ 2

8

Около десяти утра я сижу рядом с машиной на прохладной затененной кромке тротуара за отелем, который мы обнаружили в Майлз-Сити, Монтана. Сильвия с Крисом -- в прачечной-автомате стирают нам всем белье. Джон где-то ищет козырек себе на шлем. Ему показалось, что он увидел его в витрине мотомагазина вчера, когда мы въезжали в город. А я собираюсь немного подработать двигатель.

Сейчас хорошо. Мы приехали сюда днем и сразу нацелились выспаться. Хорошо, что остановились. Мы так одурели от измождения, что сами не понимали, насколько устали. Когда Джон пытался зарегистрировать нас в отеле, то даже не смог вспомнить мое имя. Дежурная гостиницы спросила, не мы ли хозяева этих «клевых, сказочных мотоциклов» за окном, и мы оба так заржали, что девушка испугалась, не ляпнула ли она чего-нибудь не так. Но то был просто тупой смех от слишком сильной усталости. Мы были бы больше чем рады просто бросить их на стоянке и ради разнообразия пойти пешком.

И вымыться. В прекрасной старой чугунной эмалированной ванне, что присела на львиных лапах посреди мраморного пола в ожидании нас. Вода была такой мягкой, что мне казалось, я никогда не смою с себя мыло. После этого мы гуляли взад-вперед по центральным улицам и ощущали себя семьей...

Я так часто регулировал машину, что это стало ритуалом. Мне уже не надо раздумывать, как это сделать.

Главным образом, надо просто искать что-то необычное. У двигателя появился шум, похожий на стук разболтанного перетяжного болта, но на самом деле причиной может оказаться что-то похуже, поэтому я сейчас его настрою и посмотрю, исчезнет или нет. Подгонка болтов должна производиться с остывшим двигателем, а это значит, что где бы вечером ни припарковался, там и придется работать на следующее утро. Именно поэтому я сейчас сижу в тени на тротуаре, на задворках отеля в Майлз-Сити, Монтана. Воздух в тени прохладен, и так будет еще около часа, пока солнце не поднимется над кромкой деревьев, и это хорошо при работе с мотоциклами. Очень важно не регулировать их на солнце или под вечер, когда мозги уже засоряются, потому что даже если проделывал это сотни раз, все равно должен быть постоянно на страже, чтобы ничего не пропустить.

Не все понимают, какой это рациональный процесс -- уход за мотоциклом. Его считают какой-то «сноровкой» или «склонностью к машинам». Они правы, но сноровка -- почти в чистом виде процесс интеллекта, и большинство неприятностей вызвано, как называли его в старину радисты, «замыканием между наушниками», неумением использовать свою голову должным образом. Мотоцикл функционирует в полном соответствии с законами разума, и изучение искусства ухода за мотоциклом -- это, на самом деле, изучение искусства рациональности в миниатюре. Вчера я сказал, что призрак рациональности -- это то, что преследовал Федр и что привело его к безумию, но чтобы проникнуть в него, жизненно необходимо придерживаться приземленных примеров рациональности, чтобы не потеряться в обобщениях, которые больше никто не сможет понять. Разговор о рациональности может очень сильно сбивать с толку, если в него не включать те вещи, с которыми рациональность имеет дело.

И вот мы стоим у барьера классического и романтического, где по одну сторону видим мотоцикл каким он нам непосредственно видится (и это -- важный способ его видеть), а по другую уже можем различать его в понятиях лежащей в основе формы, как это делает механик (и это -- тоже важный способ видеть вещи). Например, эти

инструменты, гаечный ключ -- у него своя романтическая красота, но цель его -- всегда чисто классическая. Он разработан для того, чтобы изменять форму, лежащую в основе машины. Фарфор внутри первой свечи сильно потемнел. Это классически -- так же, как и романтически, -- безобразно, поскольку означает, что в цилиндре -- слишком много топлива и недостаточно воздуха. Молекулы углерода в бензине не могут найти себе достаточно кислорода для связи и просто остаются, засоряя свечу. Вчера при въезде в город холостой ход был неравномерным -- симптом того же самого.

Только убедиться, один ли цилиндр такой грязный, я проверяю второй. То же самое. Я достаю карманный нож, беру из канавы первую попавшуюся ветку и обстругиваю кончик, чтобы вычистить свечи, пытаюсь разгадать, что послужило этому причиной. Дело тут не в шатунах и ни в клапанах. И карбюратор редко так барахлит. Главные жиклеры слишком велики, что способствует засорению при больших скоростях, но свечи *с теми же самыми* жиклерами до этого были намного чище. Загадка. Они всегда тебя окружают. Но если попытаешься решить их все, то никогда не починишь машину. Немедленного ответа нет, поэтому я просто оставляю вопрос висеть в воздухе.

Первый болт в порядке, никакой подкрутки не надо, и я сразу перехожу к следующему. У меня куча времени, пока солнце не поднялось над деревьями... Всякий раз при этом занятии я себя чувствую, как в церкви... Калибр - как икона, и я совершаю над ней святой обряд. Он -- часть набора, называемого «инструменты для точного измерения», что в классическом смысле имеет очень глубокое значение.

В мотоцикле эта точность поддерживается не по каким-то романтическим или перфекционистским причинам, а просто потому, что огромные силы тепла и взрывного давления внутри двигателя могут контролироваться только той точностью, которую дают эти инструменты. Когда происходит каждый взрыв, он гонит соединительный шатун на коленвал с поверхностным давлением во множество тонн на квадратный дюйм. Если шатун точно соответствует валу, то взрывная сила будет распределяться гладко, и металл сможет ее выдержать. Но если есть зазор хотя бы в несколько тысячных дюйма, то сила ударит внезапно, как молот, и шатун, подшипник и поверхность коленвала вскоре начнут расплющиваться, создавая шум, который сначала будет походить на стук разболтанных перепускных болтов. Вот почему я их сейчас проверяю. Если же это *действительно* разболтавшийся шатун, и я попытаюсь доехать до гор без капитального ремонта, то вскоре шуметь начнет все громче и громче, пока шатун не вырвется, не ударит во вращающийся коленвал и не уничтожит двигатель. Иногда сломавшиеся шатуны пробивают картер, и все масло выливается на дорогу. Тогда остается только идти пешком.

Но все это можно предотвратить подгонкой на несколько тысячных дюйма с помощью точности, которую дают измерительные инструменты, и в этом -- их классическая красота: не то, что видишь, а то, что они означают, на что они способны в понятиях контроля лежащей в основе формы.

Второй палец -- отлично. Я перебираюсь на сторону, обращенную к улице, и начинаю другой цилиндр.

Точные инструменты предназначены для достижения *идеи* пространственной точности, а ее совершенства достичь невозможно. Не существует совершенно сформированной детали мотоцикла и никогда не будет существовать, но если приблизишься к совершенству настолько, насколько позволят точные инструменты, произойдут замечательные вещи, и ты полетишь по земле с силой, которую можно было бы назвать волшебством, если б она не была столь абсолютно и всесторонне рациональной. В основе ее -- именно понимание этой рациональной интеллектуальной идеи. Джон смотрит на мотоцикл и видит сталь в различных формах, у него к этим стальным формам возникает негативное отношение, и он полностью отключается. А вот я смотрю на эти формы стали и вижу *идеи*. Он думает, что я работаю с *детальками*. Я же работаю с *концепциями*. Я упоминал об этих концепциях вчера: мотоцикл можно разделить по компонентам и по функциям. Когда я это произнес, то внезапно создал набор квадратиков, размещенных таким образом:



А когда я сказал, что компоненты могут далее подразделяться на силовой агрегат и ходовую часть, квадратиков внезапно стало больше:



Как видно, каждый раз, когда я подразделяю дальше, появляется все больше квадратиков, основанных на этих подразделениях -- до тех пор, пока из них не складывается пирамида. В конце концов видно, что пока я делил мотоцикл на все более и более мелкие части, то еще и строил его структуру.

Эта структура из концепций формально называется иерархией и с древних времен служила основой всего западного знания. Королевства, империи, церкви, армии -- все было структурировано в иерархии. Современный бизнес структурируется так же. Таблицы содержания справочного материала -- тоже, механические агрегаты,

компьютерные программы, все научное и техническое знание структурировано так -- до такой степени, что в некоторых областях знания, например, в биологии, иерархия «филюм--порядок--класс--род--вид» стала почти иконой.

Квадратик «мотоцикл» *содержит в себе* квадратики «компоненты» и «функции». Квадратик «компоненты» *содержит* квадратики «силовой агрегат» и «ходовая часть» -- и так далее. Существует множество других структур, произведенных другими операторами, вроде «служить причиной», который образует длинную цепь в форме: «А служит причиной Б, которое служит причиной В» и так далее. Эта структура используется при функциональном описании мотоцикла. «Существует», «равняется» и «подразумевает» операторы производят уже другие структуры. Они обычно взаимодействуют, образуя узоры и тропы настолько сложные и настолько огромные, что ни одному человеку не под силу понять за всю свою жизнь больше какой-то маленькой их части. Всеобщее название для этих взаимодействующих структур, род, в котором иерархия содержания и структура причинности -- всего лишь виды, -- *система*. Мотоцикл -- это система. *Настоящая* система.

Говорить об определенном правительстве и общественных институтах как о «системе» -- значит говорить верно, поскольку эти организации основаны на тех же структурных концептуальных отношениях, что и мотоцикл. Они поддерживаются структурными взаимоотношениями, даже когда сами потеряли иное предназначение и смысл. Люди приходят на фабрику и безо всяких вопросов выполняют абсолютно бессмысленное задание, поскольку структура требует, чтобы так было. Не существует никакого негодяя, никакого «гадкого типа», желающего, чтобы они жили бессмысленной жизнью, -- просто структура, система требует этого, и никто не хочет взвалить на себя невыполнимую задачу изменить эту структуру только потому, что она бессмысленна.

Но снести фабрику, взбунтоваться против правительства или отказаться чинить мотоцикл означает нападать скорее на следствия, нежели на причины; когда же нападают только на следствия, никакая перемена не возможна. Подлинная система, реальная система -- суть наше настоящее строение самой систематической мысли, самой рациональности, и если фабрика снесена до основания, но рациональность, породившая ее на свет, осталась, то эта рациональность просто создаст еще одну фабрику. Если революция уничтожает систематическое правительство, остаются нетронутыми систематические шаблоны мышления, создавшие это правительство, и эти шаблоны воспроизведут себя в последующем правительстве. Так много болтают о системе. И так мало понимают.

Мотоцикл -- только это и ничего более: система концепций, выполненных в стали. В ней нет ни одной части, ни одной формы, которые не произошли бы из чьего-то ума... болт номер три тоже в порядке. Остался еще один. Лучше, если б загвоздка была в нем... Я заметил, что люди, которые никогда не имели дела со сталью, не могут этого увидеть: того, что мотоцикл превыше всего прочего -- это умственное явление. Они ассоциируют металл с данными формами -- трубами, стержнями, балками, орудиями, частями, закрепленными и незбылемыми, -- и расценивают его как, в первую очередь, явление физическое. Но человек, занимающийся механикой, литьем, ковкой или сваркой, видит «сталь» не имеющей формы вообще. Сталь может быть любой формы, какую захочешь, если у тебя достаточно навыков, и любой формы, *кроме* той, какую захочешь, если у тебя их нет. Формы -- как вот этот палец, например, -- есть то, к чему *приходишь*, что сам придаешь стали. В стали -- не больше формы, чем вот в этом комке старой грязи на двигателе. Все эти формы -- из чьего-то ума. Вот что важно увидеть. *Сталь*? Черт возьми, даже сталь -- из чьего-то ума. В природе нет стали. Любой житель Бронзового Века тебе бы это сказал. В природе есть только *потенциал* для стали. И ничего больше. Но что такое «потенциал»? Он ведь тоже сидит в чьем-то уме!.. Призраки.

Вот что, на самом деле, имел в виду Федр, когда говорил, что все это -- в уме. Звучит безумно, когда просто подсказываешь и произносишь такое без ссылки на что-либо в частности, например, на двигатель. Но когда привяжешь высказывание к чему-то частному и конкретному, то безумное звучание скорее всего пропадет, и увидишь, что Федр, наверное-таки, говорил что-то важное.

Четвертый болт *действительно* слишком разболтан -- я на это и надеялся. Регулирую его. Проверяю распределение моментов зажигания и вижу, что здесь пока все в порядке, и контакты еще не изъедены коррозией, поэтому оставляю их в покое, прикручиваю крышки клапанов, ставлю на место свечи и завожу двигатель.

Стук болтов исчез, но это еще ничего не значит: масло пока холодное. Пусть поработает холостую, пока я сложу инструменты; после я сажусь в седло и направляюсь в ту сторону, куда нам вчера вечером показал мотоциклист на улице: там есть мотомагазин, где могут продаваться звено регулятора цепи и новая резина для подножки. Крису, должно быть, не сидится на месте -- его подножки стираются быстрее.

Проезжаю пару кварталов -- никакого стука. Двигатель начинает звучать хорошо, и я надеюсь, что шума больше не будет. Хотя окончательного заключения делать не буду, пока не проедем миль тридцать. А до тех пор -- прямо сейчас -- солнце светит ярко, воздух прохладен, у меня ясная голова, впереди -- целый день, мы уже почти в горах, в такой день хорошо жить. Просто разреженный воздух тому причиной. Всегда себя так чувствуешь, когда забираешься повыше.

Высота! Вот почему двигатель работает так грязно. Конечно же, должно быть именно поэтому. Мы уже на высоте 2.500 футов. Лучше перейти на стандартные сопла, их можно поставить всего за несколько минут. И лучше немного сместить регулировку холостого хода. Заберемся еще немного выше.

Под несколькими тенистыми деревьями я нахожу «Мотомастерскую Билла» -- но не его самого. Прохожий сообщает, что тот, «возможно, ушел куда-нибудь на рыбалку», оставив магазин открытым настежь. Мы -- *в самом деле* на Западе. Никто бы так не бросил лавку в Чикаго или Нью-Йорке.

Внутри я вижу, что Билл -- механик школы «фотографического ума». Все повсюду разложено. Ключи, отвертки, старые детали, старые мотоциклы, новые детали, новые мотоциклы, торговая литература, внутренние трубки разбросаны так густо и смешанно, что под ними не видно верстаков. Я бы не смог работать в таких условиях -- но просто потому, что я -- не механик фотографического ума. Вероятно, Билл может обернуться и вытащить из этой мешанины любой инструмент, не задумываясь. Я видел таких механиков. Спать легче, наблюдая за ними, но они выполняют работу так же хорошо -- а иногда даже быстрее. Тем не менее, стоит сдвинуть хотя бы один инструмент на три дюйма влево, и ему придется потратить несколько дней на его поиски.

Появляется Билл, чему-то ухмыляется... Конечно, у него есть сопла для моей машины, и он точно знает, где они лежат. Хотя мне придется секундочку подождать. Ему на заднем дворе надо завершить сделку по нескольким частям к «Харлею». Я иду с ним в сарай на заднем дворе и вижу, что он продает целый «Харлей» подержанными частями -- кроме рамы, которая у покупателя уже есть. Всё за 125 долларов. Вовсе не плохая цена.

На пути назад я замечаю:

-- Он узнает кое-что о мотоциклах, прежде чем *всё это* соберет вместе.

Билл смеется:

-- А это лучший способ чему-то научиться.

У него есть сопла и резина для подножки, но нет звена регулятора цепи. Он ставит резину и сопла, регулирует холостой ход, и я еду обратно в отель.

Сильвия, Джон и Крис только спускаются по лестнице с вещами, когда я подъезжаю. Судя по лицам, у них такое же хорошее настроение, как и у меня. Мы направляемся вниз по главной улице, находим ресторан и заказываем стейки.

-- Клевый городок, -- говорит Джон, -- действительно клевый. Не думал, что такие еще остались. Я утром все осмотрел. У них тут есть бары для скотников -- высокие сапоги, пряжки из серебряных долларов, «ливайсы», стетсоны, и прочее... И всё -- *настоящее*. Не просто барахло из Торговой Палаты... Сегодня утром в баре через квартал отсюда они заговорили со мной так, будто я прожил здесь всю жизнь.

Мы берем себе по пиву. Подкова, нарисованная на стене, подсказывает, что мы уже -- на территории пива «Олимпия», поэтому мы заказываем его.

-- Они наверняка подумали, что я сбежал с ранчо или типа этого, -- продолжает Джон. -- А старикан там все твердил, как он ничего не даст этим проклятым мальчишкам, -- действительно по кайфу было слушать. Ранчо должно отойти к девчонкам, потому что проклятые мальчишки спускают все до цента у Сюзи. -- Джон захлебывается от смеха. -- Жалко, что он вообще их вырастил -- ну, и так далее. Я думал, такое исчезло лет тридцать тому назад, но оно все по-прежнему здесь есть.

Приходит официантка со стейками, и мы врезаемся в них ножами. От возни с мотоциклом разыгрался аппетит.

-- Кое-что еще тебя может заинтересовать, -- произносит Джон. -- Там, в баре, говорили о Бозмене, куда мы едем. Они сказали, что у губернатора Монтаны был список из пятидесяти радикальных преподавателей колледжей в Бозмене, которых он собирался увольнять. А потом погиб в авиакатастрофе.

-- Это было давно, -- отвечаю я. Стейки *действительно* хороши.

-- Я и не знал, что в этом штате было *много* радикалов.

-- В этом штате *всякие* люди есть, -- говорю я. -- Но то была просто политика правого крыла.

Джон протягивает руку за солонкой:

-- Здесь проезжал журналист из вашингтонской газеты, и вчера появилась его статья, куда он это вставил, поэтому они о ней сегодня и разговаривали. Президент колледжа подтвердил это.

-- А список напечатали?

-- Не знаю. Ты кого-то из них знал?

-- Если там пятьдесят имен, -- говорю я, -- мое наверняка в их числе.

Оба смотрят на меня с некоторым удивлением. На самом деле, я не знаю об этом почти ничего. То был, конечно, *он*, и с изрядной долей фальши из-за этого я объясняю, что «радикал» в округе Галлатин, штат Монтана, лишь немногим отличается от радикала где-нибудь в другом месте.

-- Это был колледж, -- рассказываю я им, -- где на самом деле запретили жену Президента Соединенных Штатов -- из-за того, что она «слишком противоречива».

-- Кто?

-- Элеанор Рузвельт.

-- О Господи, -- смеется Джон, -- вот это *дикость*.

Они хотят послушать что-нибудь еще, но сказать что-либо трудно. Потом вспоминаю еще одну вещь:

-- В такой ситуации *настоящий* радикал полностью всем обеспечен. Может заниматься почти всем, чем угодно, и все ему будет сходить с рук, потому что оппозиция уже выставила себя ослами. Они заставят его выглядеть хорошо вне зависимости от того, *что* он будет говорить.

На выезде мы проезжаем городской парк: я заметил его прошлой ночью, и он пробудил во мне память. Просто видение: какой-то взгляд вверх, в кроны деревьев. Однажды он спал на скамейке в этом парке на пути в Бозмен. Вот почему я не узнал вчера этого леса. Он ехал ночью, ехал в бозменский колледж.

Теперь мы пересекаем Монтану по Йеллоустоунской Долине. Среднезападные кукурузные поля сменяют западную полынью и наоборот -- в зависимости от речного орошения. Иногда мы поднимаемся на кручи, уводящие из орошаемого района, но обычно стараемся держаться у реки. Проезжаем знак, где написано что-то про Льюиса и Кларка⁽⁸⁾. Кто-то из них поднимался сюда в одну из своих вылазок во время Северо-Западного Перехода.

Приятный звук. Как раз для Шатокуа. У нас сейчас тоже что-то вроде Северо-Западного Перехода. Снова проезжаем поля и пустыню, а день тем временем продолжается.

Теперь я хочу пойти дальше за тем самым призраком, которого преследовал Федр, -- за самой рациональностью, за этим скучным, сложным, классическим призраком формы, лежащей в основе.

Сегодня утром я говорил об иерархиях мысли -- о системе. Сейчас хочу поговорить о методах поисков пути через эти иерархии -- о логике.

Используются два вида логики: индуктивная и дедуктивная. Индуктивные умозаключения начинаются с наблюдений за машиной и приходят к общим заключениям. Например, если мотоцикл подскакивает на ухабе, и двигатель пропускает зажигание, потом мотоцикл подскакивает еще на одном ухабе, и двигатель пропускает зажигание, потом опять подскакивает на ухабе, и двигатель опять пропускает зажигание, потом мотоцикл едет по длинному гладкому отрезку пути, и перебоя зажигания нет, а потом подскакивает еще на одном ухабе, и двигатель пропускает зажигание снова, то можно логически заключить, что причиной перебоя зажигания служат ухабы. Это -- индукция: рассуждение от конкретного опыта к общей истине.

Дедуктивные умозаключения производят прямо противоположное. Они начинают с общих знаний и предсказывают частное наблюдение. Например, если из чтения иерархии фактов о машине механик знает, что клаксон мотоцикла питается исключительно электричеством от аккумулятора, то может логически заключить, что если аккумулятор сел, клаксон работать не будет. Это -- дедукция.

Решение проблем, слишком сложных для разрешения здравым смыслом, достигается длинными цепочками смешанных индуктивных и дедуктивных умозаключений, которые выются туда и обратно между наблюдаемой машиной и мысленной иерархией машины, которую можно найти в инструкциях. Правильная программа этого переплетения формализуется в виде научного метода.

На самом деле, я никогда не видел проблемы из области ухода за мотоциклом, достаточно сложной для того, чтобы требовалось применение полноценного формального научного метода. Проблемы ремонта не столь сложны. Когда я думаю о формальном научном методе, на ум иногда приходит образ огромного Джаггернаута, громадного бульдозера -- медленного, нудного, неуклюжего, прилежного, но неуязвимого. Ему требуется вдвое, впятеро, может быть, вдесятеро больше времени, чем потребует умение неформального механика, но с ним знаешь, что в конце результат все-таки *получишь*. В уходе за мотоциклом не существует проблемы определения неисправности, которая устояла бы против него. Когда натыкаешься на действительно трудную загвоздку, пробуешь все, ломаешь голову, и ничего не срабатывает, и понимаешь, что на этот раз Природа решила быть по-настоящему непослушной, то говоришь: «О'кей, Природа, *милый* парень был, да весь вышел,» -- и собираешь силы для формального научного метода.

Для этого существует лабораторная записная книжка. Всё записывается формальным образом с тем, чтобы постоянно знать, где находишься, где был, куда идешь и куда хочешь попасть. В научной работе и электронной технологии это необходимо, поскольку иначе проблемы станут такими сложными, что в них потеряешься, запутаешься, забудешь то, что знаешь и чего не знаешь, и придется все бросить. В уходе за мотоциклом это не так сложно, но когда начинается путаница, то неплохо немного сдерживать ее, сделав все формальным и точным. Иногда простое действие -- запись проблем -- направляет мозги на то, *что* эти проблемы реально собой представляют.

Логические утверждения, вносимые в записную книжку, делятся на шесть категорий: (1) постановка проблемы, (2) гипотеза, касающаяся причины проблемы, (3) эксперименты, предназначенные для испытания каждой гипотезы, (4) предсказанные результаты экспериментов, (5) наблюдаемые результаты экспериментов, и (6) заключения из результатов экспериментов. Это ничем не отличается от формальной организации лабораторных тетрадей в колледжах и высших школах, но цель здесь -- не простая трата времени, а точное руководство мыслями, которое окажется неудачным, если записи не будут точными.

Подлинная цель научного метода -- удостовериться в том, что Природа не направила тебя по ложному пути, и ты не думаешь, что знаешь то, чего на самом деле не знаешь. Не существует механика, ученого или техника, который от этого бы не страдал настолько, чтобы инстинктивно не оберегаться. В этом -- главная причина того, почему так много научной и механической информации звучит скучно и осторожно. Если станешь небрежным или начнешь романтизировать научную информацию, добавляя там и сям завитушки, Природа вскоре выставит тебя полным дураком. Она и без того делает это достаточно часто, если даже не даешь ей повода. Следует быть

чрезвычайно осторожным и строго логичным, когда имеешь дело с Природой: один логический промах -- и целая научная доктрина рушится. Одно ложное дедуктивное заключение по поводу машины -- и неопределенно зависнешь в воздухе.

В Части Первой формального научного метода -- в постановке проблемы -- основное умение заключается в утверждении категорически не больше того, в знании чего положительно убежден. Гораздо лучше внести утверждение «Решить Проблему: почему не работает мотоцикл?», которое звучит тупо, но является верным, чем вносить утверждение «Решить Проблему: что случилось с системой электропитания?», когда *не уверен* абсолютно, в *электричестве* ли дело. Отметить следует только «Решить Проблему: что случилось с мотоциклом?», а *потом* уже вносить первый пункт в Часть Два: «Гипотеза Номер Один: Неполадка в системе электропитания». Приводишь столько гипотез, сколько можешь придумать, потом разрабатываешь эксперименты: испробовать их и понять, какие истинны, а какие ложны.

Такой осторожный подход к возникающим вопросам предохраняет от основного неверного поворота, который может стать причиной многих недель лишней работы или даже полностью подвесить тебя. Научные вопросы поэтому с виду часто тупы, но их задают для того, чтобы в дальнейшем избежать тупых ошибок.

О Части Три -- той части формального научного метода, которую называют экспериментированием, -- романтики часто думают как о самой науке, поскольку у нее единственной большая визуальная поверхность. Романтики видят множество пробирок, причудливого оборудования и людей, которые бегают вокруг и делают открытия. Они не рассматривают эксперимент как часть более обширного интеллектуального процесса и поэтому часто путают эксперименты с демонстрациями -- выглядят они одинаково. Человек, проводящий сенсационный научный показ с применением франкенштейновского оборудования стоимостью пятьдесят тысяч долларов, не совершает ничего научного, если знает заранее, какими будут результаты его усилий. Напротив, мотомеханик, нажимающий на клаксон, проверить, работает ли аккумулятор, неформально проводит настоящий научный эксперимент. Он проверяет гипотезу, ставя перед Природой вопрос. Ученый из телепостановки, который печально бормочет: «Эксперимент не удался, мы не достигли того, на что надеялись», в основном, страдает от плохой работы сценариста. Эксперимент никогда не бывает неудачным единственно потому, что не достигает предсказанных результатов. Эксперимент неудачен, только когда с его помощью не удастся адекватно испытать гипотезу, когда данные, полученные с его помощью, каким-то образом ничего не доказывают. Вот тут мастерство состоит в том, чтобы использовать эксперименты для проверки только лишь гипотезы под вопросом -- не меньше и не больше. Если клаксон клаксонит, и механик приходит к заключению, что вся электрическая система действует, то он попал в большую беду. Он пришел к нелогичному заключению. Действующий клаксон говорит лишь о том, что работают только аккумулятор и клаксон. Для того, чтобы разработать эксперимент так, как надо, механику придется очень строго думать в понятиях того, что служит непосредственной причиной чего. Это уже нам известно из иерархии. Клаксон не приводит мотоцикл в движение. И аккумулятор не приводит -- разве что очень опосредованно. Тот пункт, в котором электрическая система служит *непосредственной* причиной зажигания в двигателе, -- свечи зажигания, и если не проверить здесь, на выходе электрической системы, то никогда по-настоящему не будешь знать, электрическая это неисправность или нет.

Для того, чтобы проверить это так, как нужно, механик вынимает свечу и кладет ее рядом с двигателем так, чтобы база вокруг свечи заземлилась на двигатель, нажимает на рукоятку стартера и смотрит, чтобы в искровом пространстве свечи появилась голубая искра. Если ее там нет, он может сделать один из двух выводов: а). неполадка в электросистеме, б). его эксперимент небрежен. Если механик опытен, он попробует еще несколько раз, проверяя все контакты, пытаясь любым способом, который только может придумать, заставить свечу зажечься. Затем, если это не удастся, он, наконец, приходит к тому, что заключение «а» верно, в электросистеме неисправность, а эксперимент закончен. Он доказал, что его гипотеза верна.

В последней категории -- заключения -- умение состоит в утверждении не более того, что доказал эксперимент. Он не доказал, что после исправления электрической системы мотоцикл заведется. Неполадки могут быть и в другом. Но механик знает, что мотоцикл не поедет, пока не заработает электрическая система, и ставит следующий формальный вопрос: «Решить Проблему: что не в порядке с электрической системой?»

После он формулирует для этого гипотезы и проверяет их. Задавая правильные вопросы, выбирая правильные тесты и делая правильные выводы, механик прокладывает себе путь сквозь эшелоны иерархии мотоцикла до тех пор, пока не находит точную конкретную причину или причины неполадки двигателя, а затем изменяет их таким образом, чтобы они больше не приводили к неисправности.

Нетренированный наблюдатель видит только физический труд, и у него часто создается впечатление, что механик, в основном, занят только физическим трудом. На самом деле, физический труд -- мельчайшая и легчайшая часть того, что делает механик. Гораздо бльшая часть его работы -- тщательное наблюдение и точное мышление. Вот поэтому механики иногда кажутся такими неразговорчивыми и ушедшими в себя при проведении испытаний. Им не нравится, когда с ними разговаривают, потому что они сосредоточены на мысленных образах, иерархиях и в действительности вообще не смотрят ни на тебя, ни на физический мотоцикл. Для них эксперимент -- часть программы расширения собственной иерархии знания неисправного мотоцикла и сравнения ее с правильной иерархией, существующей в уме. Они смотрят на форму, лежащую в основе.

В нашу сторону едет автомобиль с трейлером; он не успевает вернуться в свою полосу движения. Я мигаю фарой, удостовериться, что он нас видит. Он-то видит, но съехать не может. Обочина дороги -- узкая и бугристая. Мы свалимся, если выедем на нее. Я жму на тормоза, сигналю, мигаю. Боже всемогущий, он паникует и целится на нашу обочину! Я продолжаю держаться края дороги. ВОТ он! В последний момент отворачивает в сторону и проходит в нескольких дюймах от нас.

Впереди по дороге катается картонная коробка; мы видим ее задолго до того, как подъезжаем. Свалилась с чьего-то грузовика, очевидно.

Вот сейчас нас пробивает. Если бы мы ехали в машине, то встретились бы лоб в лоб. Или свалились бы в канаву. Въезжаем в маленький городок, он может быть посреди какой-нибудь Айовы. Вокруг растет высокая кукуруза, и тяжелый запах удобрений висит в воздухе. От припаркованных мотоциклов уходим в огромное старое заведение с высокими потолками. На этот раз под пиво я заказываю все виды закусок, которые у них есть, и мы устраиваем поздний ланч: земляные орехи, кукурузные хлопья, соленые крендельки, картофельные чипсы, сушеные анчоусы, какая-то копченая рыбка с кучей мелких косточек внутри, «тощие Джимы» и «длинные Джоны», пеппероны, «фрито», «пивные орешки», колбасный паштет, шкварки и кунжутные крекеры с наполнителем, вкус которого я не могу определить.

Сильвия произносит:

-- Меня до сих пор трясет.

Она почему-то решила, что наш мотоцикл превратился в картонный ящик, и его вновь и вновь мотыляет на шоссе.

10

Когда мы снова выезжаем в долину, небо опять ограничено утесами по обе стороны реки, но они -- ближе и друг к другу, и к нам, чем сегодня утром. Долина сужается, чем ближе мы к истокам.

Помимо всего прочего, мы оказываемся в какой-то отправной точке тех вещей, о которых я говорю. С нее можно, наконец, начать рассказывать об отрыве Федра от основного течения рациональной мысли в погоне за призраком самой рациональности.

Есть один отрывок, который он читал и повторял про себя столько раз, что тот сохранился в целости. Начинается он так:

В храме науки есть много обитателей... и подлинно многообразны и те, кто в них обитает, и мотивы, которые привели их туда. Многие берутся за науку из радостного чувства превосходящей интеллектуальной силы; наука -- их собственный особый вид спорта, которым они занялись ради получения яркого опыта и удовлетворения амбиции; в храме можно найти многих других, которые положили продукты своих умов на этот алтарь в чисто утилитарных целях. Если бы ангел Господень спустился и выгнал бы всех людей, принадлежащих к этим двум категориям, из храма, то храм бы заметно опустел, но внутри все же осталось бы несколько человек, как из настоящего, так и из прошлого... Если бы те типы людей, которые мы только что исключили, были там единственными, то храма бы никогда не существовало -- как леса, состоящего из одних лиан... Те, над кем смиловился ангел... несколько странные, необщительные, замкнутые личности, более непохожие друг на друга, чем толпы изгнанных.

Что привело их в храм... -- нет единого ответа... побег от повседневной жизни с ее болезненной грубостью и безотрадной мрачностью, от пут собственных изменчивых желаний. Тонко настроенная натура жаждет бежать своего шумного тесного окружения в тишину высоких гор, где взор свободно блуждает в спокойном чистом воздухе и любовно скользит по успокаивающим очертаниям, очевидно выстроенным для вечности.

Отрывок -- из речи, произнесенной в 1918 году молодым немецким ученым по имени Альберт Эйнштейн. Федр окончил свой первый курс университетской науки, когда ему было пятнадцать лет, его областью уже тогда была биохимия, и он намеревался специализироваться по взаимодействию органического и неорганического миров, известному теперь как молекулярная биология. Он не считал это карьерой, не думал о собственном личном продвижении. Он был очень молод, и это стало для него некой благородной идеалистической целью.

Состояние ума, позволяющее человеку совершать работу такого типа, сродни состоянию ума верующего или любовника. Ежедневное усилие происходит не от осознанного намерения или программы, а прямо из сердца.

Если бы Федр вступил в науку с амбициозными или утилитарными намерениями, ему, возможно, никогда бы не пришлось в голову задавать вопросы о природе научной гипотезы как сущности в себе. Но он их задал и не удовлетворился ответами.

Образование гипотез -- самая таинственная категория научного метода. Никто не знает, откуда они приходят. Человек где-нибудь сидит, занимается своим делом, как вдруг -- бац! -- понимает то, чего не понимал раньше. Пока она не проверена, гипотеза -- не истина. Ибо тесты не являются ее источником. Ее источник -- в чем-то другом.

Эйнштейн сказал:

Человек пытается составить себе упрощенную и разборчивую картину мира так, как это ему лучше подходит. Потом он до некоторой степени пытается подменить этот свой космос миром опыта -- и так преодолеть его... Он делает этот космос и его строение той осью, вокруг которой вращается его эмоциональная жизнь, чтобы таким образом обрести мир и спокойствие, которых не может найти в узком водовороте личного опыта... Высшая задача... прийти к тем универсальным элементарным законам, из которых космос можно выстроить чистой дедукцией. К этим законам нет логической тропы; только интуиция, покоящаяся на благожелательном понимании опыта, может их достичь...

Интуиция? Благожелательность? Станные слова, чтобы описать происхождение научного знания.

Ученый помельче Эйнштейна сказал бы, возможно: «Но научное знание происходит от *природы*. Природа снабжает нас гипотезами.» Эйнштейн же понял, что это не так. Природа снабжает нас только экспериментальными данными.

Меньший ум, вероятно, затем бы сказал: «Ну, тогда гипотезы дает *человек*.» Но Эйнштейн и это отрицал. «Никто, -- говорил он, -- из тех, кто по-настоящему проник в суть дела, не станет отрицать, что на практике мир явлений уникально определяет теоретическую систему вопреки тому факту, что между явлениями и их теоретическими принципами не существует теоретического моста.»

Отрыв Федра произошел, когда в результате накопления лабораторного опыта он заинтересовался гипотезами как сущностями в себе. В своей лабораторной работе он снова и снова замечал: то, что могло казаться самой трудной частью научной работы, -- придумывание гипотез -- неизменно оказывалось самым легким. Сам акт формальной записи всего точно и ясно, казалось, предлагал их. Когда он проверял экспериментальным методом гипотезу номер один, у него в уме возникал поток других гипотез; когда он проверял их, в голову приходили еще, а когда он начинал проверять и следующие, то гипотез появлялось еще больше -- пока не становилось до боли очевидно, что, продолжая проверять гипотезы, снимая или подтверждая их, он не уменьшает их числа. Пока он продолжал это делать, их количество, в действительности, *росло*.

Сначала он находил это забавным. Он изобрел закон, который с юмором, подобным закону Паркинсона, утверждал, что «количество рациональных гипотез, способных объяснить любое данное явление, бесконечно». Ему нравилось никогда не испытывать недостатка в гипотезах. Даже когда все его возможные методы экспериментальной работы, казалось, заводили в тупик, он знал, что если просто сядет и повозится с работой достаточно долго, то, конечно же, появится еще одна гипотеза. И она всегда появлялась. И только месяцы спустя после того, как он придумал этот закон, начали возникать кое-какие сомнения по поводу его юмора или полезности.

Если это так, то закон -- не незначительный просчет в научном мышлении. Закон этот полностью всеотрицающ. Он -- катастрофическое логическое опровержение общей ценности всего научного метода!

Если целью научного метода является выбор из множества гипотез, и если количество гипотез растет быстрее, чем может справиться экспериментальный метод, то ясно, что все гипотезы никогда не смогут быть проверены. Если все гипотезы не могут быть проверены, то результаты любого эксперимента недоказательны, а весь научный метод целиком не достигает своей цели -- установления доказанного знания.

Об этом Эйнштейн сказал: «Эволюция показала, что в любой данный момент из всех мыслимых конструкций одна-единственная всегда доказывала, что она абсолютно превосходит остальные,» -- и на этом остановился. Для Федра же это был неописуемо слабый ответ. Фраза «в любой данный момент» по-настоящему потрясла его. Эйнштейн, выходит, действительно имел в виду, что истина -- функция времени? Утверждать *такое* означало бы уничтожить самое основное допущение всей науки!

Но в этом заключалось всё, вся история науки, ясная история постоянно нового и меняющегося объяснения старых фактов. Временные периоды постоянства казались совершенно произвольными, он в них не видел никакого порядка. Некоторые научные истины, казалось, держатся веками, другие же -- меньше года. Научная истина -- не догма, пригодная для вечности, а временная количественная сущность, которую можно изучать как и все остальное.

Он изучил научные истины и расстроился еще больше от очевидной причины их преходящего состояния. Похоже, что временные периоды научных истин -- обратная функция интенсивности научного усилия. Таким образом, научные истины двадцатого века, кажется, обладают намного более коротким сроком жизни, чем истины прошлого века, поскольку научная деятельность теперь -- значительно активнее. Если в следующем веке научная активность возрастет в десять раз, то вероятность жизни любой научной истины, возможно, упадет до одной десятой от нынешней. Срок жизни существующей истины укорачивается объемом гипотез, призванных

заменить ее; чем больше гипотез, тем короче срок жизни истины. А причиной роста количества гипотез в последние десятилетия служит не что иное, как сам научный метод. Чем больше смотришь, тем больше видишь. Вместо выбора одной истины из множества *увеличиваешь само множество*. А логически это означает, что пока пытаешься продвинуться в сторону неизменяемой истины посредством применения научного метода, на самом деле, вовсе к ней не движешься. Движешься *от* нее! И заставляет ее изменяться именно твое применение научного метода!

То, что Федр наблюдал лично, оказалось глубоко характерным для истории науки явлением, долгие годы заматававшимся под ковер. Предсказываемые результаты научного исследования и его действительные результаты здесь диаметрально противоположны, а на этот факт, кажется, никто не обращает особого внимания. Цель научного метода -- выбрать единственную истину из многих гипотетических. Это -- в большей мере, чем что-либо другое -- то, о чем вся наука. Но исторически наука занималась как раз противоположным. Через умножение количества фактов, информации, теорий и гипотез сама наука ведет человечество от единственных абсолютных истин ко множественным, неопределенным и относительным. Основной производитель общественного хаоса, неопределенности мысли и ценностей, которые рациональное знание, как предполагается, упразднит, -- не что иное, как сама наука. И то, что видел Федр в уединении собственной лабораторной работы много лет назад, можно увидеть повсюду в технологическом мире сегодняшнего дня. Научно произведенная антинаука -- хаос.

Сейчас можно немного оглянуться назад и понять, почему важно говорить об этой личности в отношении ко всему, что было сказано до сих пор о разделении классической и романтической реальностей и их непримиримости. В отличие от множества романтиков, обеспокоенных хаотическими изменениями, навязываемыми наукой и технологией человеческому духу, Федр со своим научно тренированным классическим умом мог больше, нежели просто в смятении заламывать руки, убегать или обрушиваться на всю ситуацию целиком с потоками брани, не предлагая никаких решений.

Как я уже говорил, в конце концов он и предложил несколько решений, но проблема была настолько глубока, внушительна и сложна, что никто, на самом деле, не понял серьезности того, что он разрешил, и поэтому не смог понять -- ни правильно, ни даже неправильно -- того, что он сказал.

Причина нынешнего общественного кризиса, собирався сказать он, -- генетический дефект природы самого разума, и до тех пор, пока этот дефект не будет исправлен, кризисы не прекратятся. Наши теперешние режимы мышления не продвигают общество к лучшему миру, а уводят его все дальше и дальше от него. Со времен Возрождения эти режимы срабатывали. Сколь долго будет доминировать нужда в пище, одежде и убежище, столь долго эти режимы и будут продолжать срабатывать. Но теперь, когда для огромных масс людей нужды эти больше не затмевают всего остального, вся структура разума, переданная нам из древних времен, более не адекватна. Ее начинают видеть такой, какой она на самом деле является, -- эмоционально полой, эстетически бессмысленной и духовно пустой. Вот к чему сегодня она пришла, и вот какой останется еще долгое время.

У меня перед глазами стоит непрерывно бушующий общественный кризис, глубины которого никто по-настоящему не понимает, не говоря уже о том, что ни у кого нет никаких его решений. Я вижу людей типа Джона и Сильвии, живущих потерянно и отчужденно от всей рациональной структуры цивилизованной жизни, ища решений за пределами этой структуры, но не находя ни одного, способного по-настоящему и надолго удовлетворить. И после этого у меня перед глазами встает Федр и его изолированные абстракции, рожденные в уединении лаборатории: они действительно касаются того же самого кризиса, но начинают из другой точки и двигаются в противоположном направлении; и я пытаюсь здесь собрать все это воедино. Оно так велико -- поэтому иногда кажется, что я запутался.

Ни одного из тех, с кем разговаривал Федр, кажется, не беспокоило это явление, которое так озадачивало его. Они, судя по всему, говорили: «Мы знаем, что научный метод действителен -- так зачем подвергать его сомнению?»

Федр не понимал такого отношения, не знал, что с ним делать, и, поскольку он не постигал науку в личных или утилитарных целях, это его просто полностью вырубало. Как будто созерцал тот спокойный горный пейзаж, который описывал Эйнштейн -- как вдруг между гор появилась расщелина, провал из чистого ничто. И медленно, мучительно, для того, чтобы объяснить эту расщелину, ему пришлось признать, что горы, казавшиеся выстроенными на века, может быть, являются чем-то иным... возможно, просто выдумками его собственного воображения. Это его и остановило.

И вот так Федр, который в пятнадцать лет окончил первый курс, в семнадцать был выгнан из Университета за провал на экзаменах. Официальными причинами привели незрелость и невнимательность к занятиям.

Никто ничего не смог бы с этим сделать -- ни предотвратить, ни поправить. Университет не стал бы держать его ценой полного отказа от норм.

Ошеломленный, Федр начал долгий дрейф в сторону, который и привел его на дальнюю орбиту разума, но он постепенно вернулся к дверям самого Университета тем маршрутом, которым мы сейчас следуем. Завтра я попытаюсь начать по нему двигаться.

В Лореле, где наконец видно горы, мы останавливаемся на ночлег. Вечерний ветерок прохладен. Он спускается от снегов. Хотя солнце, должно быть, исчезло за горами с час назад, небо хорошо освещается из-за хребта.

Сильвия, Джон, Крис и я идем по длинной главной улице в собирающихся сумерках и чувствуем присутствие гор, даже говоря совсем о другом. Я счастлив, что мы здесь -- и все же немного грустно. Иногда все-таки лучше ехать, чем приезжать.

11

Я просыпаюсь в недоумении: я знаю, что мы вблизи гор, потому что помню или потому что ощущается что-то неуловимое. Мы -- в прекрасной старой деревянной комнате отеля. Солнце освещает темное дерево, пробиваясь сквозь штору, но даже несмотря на закрытые окна, я чувствую, что мы -- возле гор. В этой комнате -- горный воздух, он прохладен, влажен и почти благоухает. Один глубокий вдох уже готовит меня к следующему, потом -- к следующему, и с каждым глубоким вдохом я готов все больше и больше, пока не выпрыгиваю из кровати, не поднимаю штору и не впускаю внутрь все солнце -- блестящее, прохладное, яркое, резкое и ясное.

Растет желание подойти и растолкать Криса, растряссти его, чтобы он увидел все это, но из доброты -- или, быть может, уважения -- ему позволено поспать немного дольше. Поэтому я направляюсь с мылом и бритвой в руке в общую ванную на другом конце длинного коридора из того же самого темного дерева, и на всем пути под ногами скрипят половицы. В ванной кипятик парит и булькает в трубах: сначала слишком горячо для бритья, а потом, после того, как я смешиваю его с холодной водой, -- просто прекрасно.

За окном, что над зеркалом, я вижу, что на заднем дворе есть крыльцо, и, закончив, выхожу постоять на нем. Оно -- на одном уровне с верхушками деревьев вокруг отеля, которые, кажется, реагируют на этот утренний воздух так же, как и я. Ветки и листья колышутся от каждого легкого дуновения, словно ожидая его все это время.

Крис вскоре тоже встает, а Сильвия выходит из своей комнаты и говорит, что они с Джоном уже позавтракали, и он где-то гуляет, но она проводит нас с Крисом на завтрак.

Сегодня утром мы влюблены во все, и всю дорогу по залитой солнцем утренней улице к ресторану, болтаем о чем-то хорошем. Яйца, горячие кексы и кофе -- небесны. Сильвия и Крис интимно беседуют о его школе, друзьях и личных вещах, а я слушаю их, глазею из огромного ресторанного окна на витрину магазина через дорогу. Такая разница с тем одиноким вечером в Южной Дакоте. За теми домами -- горы и снежные равнины. Сильвия говорит, что Джон узнавал у кого-то в городе про другую дорогу в Бозмен -- южнее, через Йеллоустоунский Парк.

-- Южнее? -- переспрашиваю я. -- Ты имеешь в виду Ред-Лодж?

-- Наверное.

Возвращается воспоминание о равнинах, покрытых снегом в июне.

-- Та дорога проходит намного выше границы лесов.

-- Это плохо? -- спрашивает Сильвия.

-- Будет холодно. -- У меня перед глазами возникают мотоциклы посреди снежных равнин и мы сами, едущие на них. -- Но просто великолепно.

Мы встречаемся с Джоном, и все улажено. Вскоре, миновав подземный переезд через железную дорогу, мы уже направляемся по извивающемуся асфальту через поля в сторону гор впереди. Этой дорогой постоянно ездил Федр, и у меня в голове в любом месте ее накладываются проблески его памяти. Прямо перед нами вырастает высокий, темный хребет Абсарока.

Мы едем вдоль реки к ее истоку. В ней -- вода, которая, вероятно, меньше часа тому назад еще была снегом.

Поток и дорога пересекают зеленеющие и каменистые поля -- каждое немного выше предыдущего. При этом солнечном свете все очень насыщенно: темные тени, яркий свет. Темно-голубое небо. Солнце -- яркое и жаркое, когда выезжаем из тени, но стоит снова заехать под деревья вдоль дороги, как становится холодно.

По пути мы играем в пятнашки с маленьким синим «порше»: то мы его обгоняем, нажимая на клаксон, то он нас, и так -- несколько раз, через поля с темными осинами и яркой зеленью трав и горных кустарников. Все это запоминается.

Он ездил этой дорогой, чтобы попасть на высокогорья, потом с рюкзаком уйти в сторону от дороги на три, четыре или пять дней, потом снова вернуться за провизией и опять уйти, нуждаясь в этих горах почти физиологически. Цепь его абстракций стала настолько длинной и запутанной, что ему были необходимы здешние тишина и пространство, чтобы она оставалась прямой. Как будто целые части построений могли разлететься вдребезги от малейшего отвлечения на другую мысль или на выполнение другой обязанности. Это не походило на раздумья других людей уже тогда, до наступления безумия. Он размышлял на том уровне, когда все смещается и изменяется, когда учрежденные ценности и истины исчезают, и не остается ничего для поддержания себя, кроме собственного духа. Неудача в самом начале полностью освободила его от чувства

обязанности думать согласно каким-то установленным линиям, и его мысли уже обрели независимость до такой степени, с какой знакомы лишь немногие. Он чувствовал, что общественные институты вроде школ, церкви, правительства и политических организаций всех видов, склонялись к тому, чтобы направлять мысль на цели, отличные от истины: на увековечение собственных функций и на контроль над личностями, обслуживающими эти функции. Он стал рассматривать свою начальную неудачу как счастливый отрыв, случайный побег из расставленной для него ловушки; и все оставшееся время он очень хорошо осознавал такие ловушки установленных истин. Сначала, однако, он этого не видел и так не думал -- он начал думать так гораздо позже. Я здесь ухожу в сторону от последовательности событий. Все это пришло гораздо позже.

Сначала истины, которые начал преследовать Федр, были боковыми: уже не фронтальными истинами науки, теми, на которые указывала дисциплина, а теми, что видишь боковым зрением, из уголка глаза. В лабораторной ситуации, когда вся процедура скроена на живую нитку, когда все идет не так, или неопределенно, или так испорчено неожиданными результатами, что неспособен во всем этом разобраться, начинаешь смотреть *боковым зрением*. Так он потом обычно описывал рост знания, которое не движется вперед, подобно стреле в полете, а расширяется в стороны -- как стрела, в полете увеличивающаяся, или же как стрелок, обнаруживший, что, хотя он и попал в яблочко и получил свой приз, но голова его покоится на подушке, а через окно струится утренний свет солнца. Боковое знание -- это знание, пришедшее с совершенно неожиданной стороны, оттуда, что вообще не осознается как направление до тех пор, пока это знание не вторгается в тебя. Боковые истины указывают на фальшь аксиом и постулатов, лежащих в основе чьей-либо существующей системы поисков истины. По всей видимости, он просто плыл по течению. И в действительности он просто плыл по течению. Отдаются воле течения тогда, когда смотрят на боковые истины. Он не мог следовать ни одной из известных методик обнаружения причины этого, потому что, перво-наперво, сами методики и действия были испорчены. Вот он и плыл по течению. Только это и оставалось.

Течение привело его в армию, а армия отправила его в Корею. Остался отрывок его воспоминания: стена через туманную гавань с бака корабля, ярко сверкающая, подобная вратам небесным. Должно быть, он очень дорожил этим отрывком и часто думал о нем, поскольку, хотя его ни к чему больше невозможно привязать, он очень ярок -- так, что я сам возвращался к нему много раз. Кажется, он символизирует что-то очень важное, какой-то поворотный пункт.

Его письма из Кореи коренным образом отличаются от всего, написанного раньше -- это тот же самый поворотный пункт. Они просто взрываются эмоциями. Страницу за страницей он заполняет крохотными подробностями того, что видит: рынки, магазины со скользящими в стороны дверями, шиферные крыши, дороги, хижины, крытые соломой -- всё. Иногда исполненный дикого энтузиазма, иногда подавленный, иногда рассерженный, иногда даже полный юмора, он -- будто какое-то существо, нашедшее выход из клетки, которой раньше даже не создавало вокруг себя, и теперь в восторге блуждающее по окрестностям, зрительно поглощая все, что попадает на глаза.

Позже он подружился с корейскими работниками, которые немного говорили по-английски, но хотели выучить больше, чтобы получить квалификацию переводчиков. После работы он проводил время с ними, а взамен они брали его с собой на выходные дни в долгие походы по холмам, чтобы он мог увидеть их дома и друзей, и переводили ему образ жизни и мысли другой культуры.

Он сидит у пешеходной тропы на прекрасном, продуваемом ветрами склоне холма, обращенном к Желтому морю. На террасе под тропой рис уже вырос и стал коричневым. Его друзья смотрят на море вместе с ним и видят острова вдалеке от берега. Они обедают по-походному и разговаривают друг с другом и с ним, и тема разговора -- идеографы и их отношение к миру. Он замечает, насколько удивительно, что всё во вселенной можно описать двадцатью шестью письменными знаками, с которыми они работают. Его друзья кивают, улыбаются, едят то, что извлекли из консервных банок, и любезно говорят «нет».

Он смущен кивком «да» и ответом «нет» и поэтому повторяет свое утверждение снова. И снова -- кивок, означающий «да», и ответ «нет». На этом отрывок кончается, но, как и о стене, об этом он думает много раз.

Последний яркий отрывок воспоминаний об этой части света -- отсек военного транспортного корабля. Он возвращается домой. Отсек пуст и необжит. Он -- один, на полотняной койке, привязанной к железной раме и похожей на батуд. Таких в ряду -- пять, и, ряд за рядом, они заполняют весь пустой воинский отсек. Это самый передний отсек корабля, и полотно, натянутое на соседние рамы, поднимается и опускается, сопровождаемое желудочным ощущением, будто едешь в лифте. Он созерцает это и, слушая гулкое громохание по стальным пластинам вокруг, осознает, что, помимо этого, ничего не говорит о том, что весь отсек массивно возносится в воздух, а потом обрушивается вниз, снова и снова. Может быть, как раз это мешает сосредоточиться на книге, лежащей перед ним... Нет, просто книга трудная. Текст по восточной философии, труднее нее он ничего не читал. Он рад, что он один, и что ему надоело в этом пустом отсеке для перевозки войск -- иначе он бы ее никогда не осилил.

Книга утверждает, что имеются некий теоретический компонент человеческого существования -- в основном, он западный (и это соответствует лабораторному прошлому Федра), и некий эстетический компонент, который легче увидеть на Востоке (и это соответствует его корейскому прошлому), и что они, кажется, никогда не смыкаются. Эти термины -- «теоретический» и «эстетический» -- более или менее совпадают с тем, что Федр позднее назвал классическим и романтическим способами существования реальности и, видимо, оформил их в уме четче, чем когда бы то ни было. Разница в том, что классическая реальность *в первую очередь* теоретична, но обладает и своей эстетикой тоже. Романтическая реальность *в первую очередь* эстетична, но и у нее есть своя теория. Разрыв теоретического и эстетического -- это разрыв между компонентами одного мира. Разрыв

классического и романтического -- разрыв между двумя отдельными мирами. Книга по философии, которая называется «Встреча Востока и Запада» Ф.С.С.Нортропа, предлагает лучше познавать «неопределенный эстетический континуум», из которого возникает уже теоретический.

Федр этого не понимал, но после того, как приехал в Сиэтл и уволился из армии, целых две недели просидел в гостиничном номере, поедая огромные вашингтонские яблоки и думая; потом снова ел яблоки и думал еще немного, а потом, в результате всех этих отрывков воспоминаний и раздумий, вернулся в Университет, чтобы изучать философию. Боковой дрейф закончился. Теперь он что-то активно преследовал.

Встречный порыв ветра внезапно бьет нас хвойным запахом, потом -- еще и еще раз, и, подъезжая к Ред-Лодж, я уже дрожу от озноба.

В Ред-Лодж дорога почти вплотную подходит к подножью горы. Темная грозная масса нависает над самыми крышами по обе стороны главной улицы. Мы паркуем мотоциклы и достаем из багажа теплую одежду. Мимо лыжных магазинов проходим в ресторан, где по стенам развешены огромные фотографии пути, который нам предстоит одолеть. Выше и выше, по одной из высочайших мощеных дорог в мире. Меня это слегка тревожит -- но волноваться неразумно, и я пытаюсь избавиться от беспокойства, рассказывая об этой дороге остальным. Оттуда невозможно свалиться. Никакой опасности для мотоцикла. Просто смутное воспоминание о местах, где можно бросить вниз камень, и тот будет лететь тысячи футов, пока куда-нибудь не упадет, -- какая-то ассоциация этого камня с мотоциклом и седоком.

Допив кофе, мы тепло одеваемся, снова все упаковываем и вскоре доезжаем до первого из многих поворотов серпантина, петляющего по склону горы.

Дорожное покрытие -- намного шире и безопаснее, чем помнится. Когда едешь на мотоцикле, то вокруг много лишнего пространства. Джон и Сильвия закладывают чрезвычайно острый вираж впереди и, улыбаясь, едут навстречу у нас над головой. Вскоре мы сворачиваем тоже и опять видим их спины. Затем у них -- еще один поворот, и мы с хохотом встречаемся вновь. Так трудно, если начнешь думать об этом заранее, -- и так легко, когда просто делаешь.

Я говорил о боковом дрейфе Федра, который закончился вхождением в дисциплину философии. Он рассматривал философию как высочайший эшелон всей иерархии знания. Среди философов в это так широко верят, что стало почти банальностью, для него же это -- откровение. Он обнаружил, что наука, о которой он когда-то думал как о целом мире знания, -- всего лишь ветвь философии, которая на самом деле -- гораздо шире и гораздо более всеохватывающа. Вопросы, которыми он задавался по поводу бесконечных гипотез, не интересны науке, поскольку они не научны. Наука не может изучать научный метод, не влезая в замкнутую на самоё себя проблему, которая уничтожает ценность собственных ответов. Его вопросы были на более высоком уровне, нежели наука. Так Федр обнаружил в философии естественное продолжение вопроса, в самом начале приведшего его к науке: что все это означает? Какова цель всего этого?

На повороте мы останавливаемся, фотографируемся, чтобы подтвердить, что мы здесь были, а потом идем по короткой тропинке, выводящей на край утеса. Мотоцикл на дороге почти отвесно под нами отсюда не видно. Мы укутываемся потеплее, чтобы не было холодно, и продолжаем подъем.

Лиственные деревья уже полностью исчезли. Остались только маленькие сосенки. Многие -- перекрученные и чахлые на вид.

Скоро эти сосенки тоже полностью пропадают, и мы -- на альпийских лугах. Ни единого дерева, везде одна трава, густо усыпанная очень яркими маленькими пятнышками розового, голубого и белого. Цветы -- повсюду! Жить здесь могут только они, травы, мхи и лишайники. Мы достигли высокогорий -- тех, что выше границы лесов.

Я оглядываюсь через плечо, чтобы в последний раз увидеть ущелье. Будто смотришь на дно океана. Люди проводят всю свою жизнь в таких низинах, не сознавая, что существует эта высокая страна.

Дорога сворачивает вглубь, прочь от ущелья, в снежные поля.

Двигатель дает яростные обратные всплески от недостатка кислорода и угрожает заглохнуть. Но до этого не доходит. Вскоре мы оказываемся между старыми снежными сугробами -- как после оттепели ранней весной. Повсюду ручейки сбегает в мшистую грязь, потом, подо мхом -- в недельную травку, в маленькие дикие цветочки -- крошечные розовые, голубые, желтые и белые, которые, кажется, выскакивают, по-солнечному яркие, из темных теней. Так -- везде! Крохотные точки красочного света выстреливают мне навстречу с мрачного темно-зеленого и черного фона. Темное небо сейчас -- и холодное, кроме тех мест, куда попадает

солнце. На солнечной стороне моей руке, ноге и боку под курткой жарко, а темная сторона -- уже в глубокой тени -- очень замерзла.

Снежные поля становятся более массивными и расступаются обрывистыми берегами там, где прошли снежные плуги. Сугробы достигают четырех, потом -- шести, потом -- двенадцати футов в высоту. Мы движемся меж двух одинаковых стен, почти в снеговом туннеле. Потом туннель вновь раскрывается навстречу темному небу, и когда мы из него выныриваем, то видим, что мы уже на вершине.

А дальше -- совсем другая страна. Внизу -- черные озера, сосны и заснеженные равнины. Над ними и за ними, насколько хватает глаз -- горные хребты, покрытые снегом. Высокая страна.

Мы останавливаемся на повороте, где несколько туристов уже фотографируются, озирают окрестность и друг друга. Из седельной сумки, пристегнутой к багажной раме мотоцикла, Джон достает фотокамеру. Я из своей машины достаю набор инструментов, раскладываю его на сиденье, беру отвертку, завожу двигатель и отверткой регулирую карбюратор, пока звук холостой работы не меняется от очень плохих сбоев до просто плохих.

Удивительно, что на всем пути вверх он осекался, фыркал, дергался и всеми способами давал понять, что скоро заглохнет совсем, но так и не заглох. Я не регулировал его раньше просто из любопытства -- посмотреть, что с ним сделают одиннадцать тысяч футов высоты. Теперь я ничего не чищу и оставляю просто плохой звук, потому что скоро будем немного спускаться в сторону Йеллоустоунского Парка, и если он не будет немного грязным, то позднее слишком пересохнет, а это опасно, поскольку грозит двигателю перегревом.

На пути вниз обратное зажигание еще достаточно сильно, потому что машина тащится на второй передаче, но потом, когда мы спускаемся пониже, шум уменьшается. Возвращаются леса. Мы теперь едем среди скал, озер и деревьев, следуя прекрасным поворотам и изгибам дороги.

Я хочу поговорить о другом роде высокой страны, на этот раз -- в мире мысли, которая (для меня, по меньшей мере) кажется несколько параллельной или вызывает чувства сродни моим нынешним. Мне хочется называть ее высокой страной ума.

Если все человеческое знание, все то, что известно, считается гигантской иерархической структурой, то высокая страна ума располагается в высочайших пределах этой структуры, в наиболее общих, наиболее абстрактных соображениях.

Немногие путешествуют здесь. От скитаний по этой стране нет никакой реальной выгоды, и все же, подобно этому высокогорью реального мира, что вокруг нас сейчас, она обладает своей суровой красотой, которая, повидимому, компенсирует некоторым тяготы путешествия.

В высокой стране ума необходимо привыкнуть к разреженному воздуху неопределенности, к невообразимой огромности задаваемых вопросов и к ответам, которые на эти вопросы предлагаются. Простор заводит все дальше, дальше и дальше -- настолько очевидно дальше, чем может быть охвачено разумом, что сомневаешься, стоит ли даже приближаться: из страха просто затеряться в них и никогда больше не найти выхода.

Что есть истина, и как узнать, она ли у тебя в руках?... Как мы вообще что-либо *узнаём*? Существует ли какое-то «я», «душа», которая знает, или же эта душа -- просто клетки, координирующие чувства?... Изменяется ли в своей сущности реальность, или она закреплена и постоянна?.. Когда говорят, что что-либо что-то *означает*, то что это значит?

Много троп проложено по этим высоким хребтам и много забыто с начала времен, и хотя ответы, принесенные с них, утверждали свое постоянство и универсальность, цивилизации сами изменялись на тех тропах, которые выбирали, и у нас теперь есть множество разных ответов на одни и те же вопросы -- и все их можно считать истинными в их собственном контексте.

В спорах иногда утверждают, что подлинного прогресса не существует; что цивилизацию, убивающую множества людей в массовых войнах, отравляющую землю и океаны всевозрастающими количествами отходов, уничтожающую достоинство личностей, подвергая их насильственному механизированному существованию, едва ли можно назвать продвижением вперед по сравнению с более простым охотничьим, собирательским и сельскохозяйственным существованием доисторических времен. Но этот аргумент, хотя и романтически привлекателен, -- несостоятелен. Примитивные племена позволяли гораздо меньше индивидуальной свободы, нежели современное общество. Древние войны велись с гораздо меньшим моральным оправданием, чем современные. Технология, производящая отходы, может найти -- и находит -- способы избавляться от них, не расстраивая экологии. И картинки из школьных учебников, изображающие первобытного человека, иногда опускают некоторые минусы его первобытной жизни -- боль, болезни, голод, тяжкий труд, необходимый лишь для того, чтобы остаться в живых. Движение от этой агонии гольного существования к современной жизни может быть трезво описано только как прогресс, и единственный деятель этого прогресса -- сам разум, что вполне ясно.

Можно видеть, как и неформальный, и формальный процессы гипотезы, эксперимента, умозаключения век за веком повторялись на новом материале, строили иерархии мысли, которые уничтожали большую часть врагов первобытного человека. Романтическое предание рациональности анафеме проистекает, до некоторой степени, из самой эффективности рациональности в процессе поднятия человека из первобытных условий. Она -- столь мощный, вседоминирующий агент цивилизованного человека, что практически полностью затмила собой все остальное и теперь доминирует над самим человеком. Это и есть источник всего недовольства.

Федр скитался по этой высокой стране: вначале бесцельно, следуя каждой тропинке, каждому следу там, где кто-то побывал до него, временами по каким-то косвенным признакам замечая, что, очевидно, продвигается вперед, но не видя впереди ничего, что могло бы подсказать, куда следует идти.

Через громоздящиеся горы вопросов реальности и знания проходили великие фигуры цивилизации; некоторые из них, например, Сократ, Аристотель, Ньютон и Эйнштейн, были известны почти каждому, но большинство было гораздо неизвестнее. Имена, которых он никогда прежде не слышал. И он проникался очарованием их мысли и всего способа их мышления. Он тщательно шел по их следам до тех пор, пока след этот, казалось, не остывал совсем, -- а потом оставлял эту тропу. В то время по академическим стандартам его работа едва продвигалась, но это происходило вовсе не от того, что он не работал или не думал. Он размышлял слишком напряженно, а чем напряженнее размышляешь в этой высокой стране ума, тем медленнее идешь. Федр читал скорее научно, чем литературно, проверяя по ходу чтения каждое предложение, отмечая сомнения и вопросы, которые надо будет разрешать позднее, и мне повезло, что у меня остался целый чемодан этих его заметок. Поразительнее всего то, что почти все, сказанное им многие годы спустя, в них содержится. Одно расстройство -- видеть, как совершенно не осознает он в то время важности того, что говорит. Будто видишь, как кто-то перебирает одну за другой все части головоломки, чье решение ты знаешь и хочешь подсказать ему: «Смотри, это подходит *сюда*, а это -- вот *сюда*,» -- но не можешь. И он слепо бродит, меняя одну тропу на другую, подбирая одну часть за другой, не зная, что с ними делать, а ты скрипишь зубами, когда он уходит на ложный след, и вздыхаешь с облегчением, когда возвращается, пусть даже обескураженным. «Не беспокойся,» -- хочешь сказать ему ты. -- «Давай дальше!»

Но он -- настолько отвратительный студент, что только благодаря доброте своих преподавателей вообще сдает экзамены. Он предвзято относится к каждому философу, которого читает. Он всегда вмешивается и навязывает собственный взгляд тому материалу, который изучает. Он никогда не играет честно. Он всегда пристрастен. Он хочет, чтобы каждый философ шел определенным путем, и впадает в ярость, когда тот этого не делает. Сохранился фрагмент воспоминания: он сидит в комнате в три-четыре часа утра со знаменитой «Критикой чистого разума» Иммануила Канта, изучая ее так, как шахматист изучал бы дебюты гроссмейстеров, пытаюсь испробовать линию защиты против собственного суждения и опыта, ища противоречий и несообразностей. Федр -- эксцентричный человек, если сравнить со среднестатистическими американцами двадцатого века, окружающими его, но когда видишь его за Кантом, он кажется не таким странным. К этому немецкому философу восемнадцатого века он испытывает уважение -- не из согласия с ним, но из высокой оценки внушительного логического укрепления Кантом своих позиций. Кант всегда великолепно методичен, настойчив, правилен и дотошен в мелочах при измерении этой огромной снежной горы мысли: что в уме, а что -- вне ума. Для современных скалолазов это -- один из высочайших пиков, и теперь мне хочется увеличить это изображение Канта и немного показать, как думал он, и как Федр думал о нем, -- чтобы дать более ясную картину высокой страны ума и подготовить к пониманию мыслей Федра.

Федр разрешил всю проблему классического и романтического понимания сначала именно в этой высокой стране ума, и если не поймешь отношения этой страны к остальному существованию, значение и важность нижних уровней того, что он здесь говорил, будут недооценены и неверно поняты.

Чтобы следовать за Кантом, нужно к тому же понимать кое-что по поводу шотландского философа Дэвида Хьюма. Ранее Хьюм предложил такую идею: если следовать строжайшим правилам логической индукции и дедукции из опыта по определению истинной природы мира, то должно прийти к определенным выводам. Его доводы следовали направлениям, которые были бы результатом ответов на такой вопрос: предположим, родился ребенок, лишенный всех ощущений; у нет зрения, нет слуха, нет осязания, нет обоняния, нет вкусовых ощущений -- нет ничего. Следовательно, он никак не сможет ничего получить от внешнего мира. Предположим, что это дитя кормят внутривенно и по-всякому ухаживают за ним, и в таком вот состоянии он доживает до восемнадцати лет. И потом спрашивается: имеет ли этот восемнадцатилетний человек мысль в голове? Если да, то откуда она берется? Как он может ее получить?

Хьюм ответил бы, что у этого восемнадцатилетнего никаких мыслей нет, и, давая такой ответ, определил бы себя как *эмпирика* -- того, кто верит, что все знание развивается исключительно из ощущений. Научный метод экспериментирования -- тщательно контролируемая эмпирика. Здравый смысл сегодня -- это эмпирика, поскольку подавляющее большинство согласилось бы с Хьюмом, даже если в других культурах и в другие времена большинство имело бы другое мнение.

Первая проблема эмпирики -- если в нее верить -- касается природы «материи». Если все наше знание происходит от чувственных данных, то что же является непосредственно этой материей, которая, как предполагается, производит все чувственные данные? Если попытаешься вообразить, что такое эта материя -- исключая то, что ощущается, -- то поймешь, что думаешь вообще ни о чем.

Поскольку все знание происходит из чувственных впечатлений, и поскольку не существует чувственного впечатления самой материи, то логически следует, что не существует и знания материи. Она -- просто то, что мы воображаем. Она полностью находится у нас в уме. Мысль о том, что снаружи существует нечто, производящее свойства, воспринимаемые нами, -- просто одно из тех понятий здравого смысла, которые сходны с детскими здоровыми понятиями о том, что земля -- плоская, а параллельные линии никогда не сходятся.

Во-вторых, если начинать с посылки, что все наше знание приходит к нам через ощущения, то следует спросить: из каких чувственных данных получено наше знание причинности? Другими словами, какова научная эмпирическая основа самой причинности?

Ответ Хьюма: «Никакой». В наших ощущениях *нет* свидетельства причинности. Как и материя, причинность -- то, что мы воображаем, когда одно неоднократно следует за другим. Причинность не обладает реальным существованием в мире, который мы наблюдаем. Если принять посылку, что все знание поступает к нам через ощущения, говорит Хьюм, то следует логически заключить, что и «Природа», и «Законы Природы» -- создания нашего собственного воображения.

Эту мысль о том, что весь мир заключен внутри чьего-то ума, можно было бы отбросить как абсурдную, если бы Хьюм высказал ее мимоходом, просто рассуждения ради. Но он не оставлял в своей постройке ни малейшей щелочки.

Просто высказать свои выводы для Хьюма было необходимо, но, к несчастью, он пришел к ним таким образом, что, казалось, высказать их было невозможно без отрицания самого эмпирического разума и без возвращения к какому-то средневековому предшественнику эмпирического разума. Кант этого делать не хотел. Поэтому именно Хьюм, сказал Кант, «пробудил меня от догматической дремы» и послужил причиной написания того, что теперь считается одним из величайших философских трактатов, когда-либо написанных, -- «Критики чистого разума», зачастую являющейся предметом целого университетского курса.

Кант пытается спасти научную эмпирику от последствий ее же собственной всепожирающей логики. Сперва он начинает двигаться по тропе, проложенной для него Хьюмом. «То, что все наше знание начинается с опыта, -- в этом не может быть сомнений,» -- говорит он, но вскоре отходит от этой тропы, отрицая, что все компоненты знания происходят от ощущений в момент, когда принимаются чувственные данные. «Но, хотя все знание и *начинается* с опыта, не следует, что оно *возникает* из опыта.»

Сперва кажется, что он будто бы занимается выискиванием блох, но это не так. В результате такого разграничения Кант по самой кромке обходит пропасть солипсизма, в которую ведет тропа Хьюма, и ступает на совершенно новую и отличную от прежней тропу -- свою собственную.

Кант говорит, что существуют аспекты реальности, не подкрепленные непосредственно ощущениями. Их он называет *априорными*.

Пример априорного знания -- «время». Времени не видишь. Также его не слышишь, не обоняешь, не можешь попробовать на вкус и потрогать. Оно не присутствует в чувственных данных при их приеме. Время -- это то, что Кант называет «интуицией», которую должен производить разум при приеме им чувственных данных.

То же самое истинно и для пространства. Пока мы не *применим* концепции пространства и времени ко впечатлениям, которые получаем, мир остается неразборчивым: просто калейдоскопическая мешанина красок, узоров, шумов, запахов, боли, вкусов безо всякого значения. Мы чувствуем предметы определенным образом потому, что применяем априорные интуиции: пространство и время, -- но сами не создаем эти предметы из своего воображения, как утверждали бы чистые философские идеалисты. Формы пространства и времени применяются к данным при их получении от предмета, который их произвел. Априорные представления происходят из человеческой природы, так что они ни обуславливаются чувствуемым предметом, ни вызывают его к существованию, -- но выполняют какую-то *экранирующую* функцию по отношению к тем чувственным данным, которые мы будем принимать. Например, когда наши глаза моргают, чувственные данные говорят нам, что мир исчез. Но это фильтруется и никогда не доходит до нашего сознания, поскольку в уме мы имеем априорное представление о том, что мир обладает непрерывностью. То, о чем мы думаем как о реальности, -- непрерывный синтез элементов из закрепленной иерархии априорных представлений и постоянно меняющихся данных чувств.

А теперь остановимся и применим некоторые из тех концепций, которые Кант выдвинул, к этой странной машине, к этому созданию, которое влечет нас сквозь время и пространство. Посмотрим сейчас на наше отношение к ней, как это нам открывает Кант.

Хьюм говорил, в сущности, что все, что я знаю об этом мотоцикле, приходит ко мне посредством ощущений. Иначе не может быть. Другого способа нет. Если я говорю, что мотоцикл сделан из металла и других веществ, он спрашивает: что такое металл? Если я отвечаю, что металл тверд, блестящ, прохладен при прикосновении и деформируется, не ломаясь, под ударами более твердого материала, то Хьюм отвечает, что все это -- видимости, звуки и ощущения. Материи нет. Скажи мне, что такое металл *вне* этих ощущений. И тут, конечно, я застреваю. Но если нет материи, то что мы можем сказать о чувственных данных, которые принимаем? Если я склоню голову влево и взгляну на рукоятки руля и переднее колесо, на подставку для карты и бак для горючего, у меня получится один расклад чувственных данных. Если я склоню голову вправо, то выйдет слегка иной расклад. Эти два расклада различны. Углы плоскостей и кривых металла различны. Солнце падает на них по-разному. Если не существует логической основы для материи, то не существует логической основы и для заключения, что эти два расклада произвел один и тот же мотоцикл.

Теперь мы -- в настоящем интеллектуальном тупике. Наш разум, который, как предполагается, должен делать вещи более разборчивыми, очевидно делает их только менее разборчивыми, а когда разум таким вот образом не оставляет камня на камне от самого своего предназначения, то что-то должно быть изменено в структуре самого разума.

Нам на выручку приходит Кант. Он говорит, что один факт того, что не существует способа мгновенного чувствования «мотоцикла», отделенного от красок и форм, производимых мотоциклом, вовсе не доказывает, что мотоцикла не существует. У нас в уме есть априорный мотоцикл, обладающий непрерывностью во времени и пространстве и способный изменять свой внешний вид, когда кто-то двигает головой; следовательно, чувственные данные, получаемые кем-то, ему не противоречат.

Мотоцикл Хьюма -- тот, что не имеет вообще никакого смысла, -- может иметь место, если нашего предыдущего лежащего больного -- того, у которого вообще нет никаких ощущений, -- внезапно -- всего на одну лишь секунду -- подвергли воздействию чувственных данных мотоцикла, а потом лишили дара ощущать снова. Теперь у него в уме, думаю, будет мотоцикл Хьюма, который не обеспечивает его совершенно никакими доказательствами существования таких понятий, как причинность.

Но, как говорит Кант, мы -- не такой человек. У нас в уме есть очень реальный априорный мотоцикл, в чьем существовании нет причин сомневаться, и чья реальность может быть подтверждена в любое время.

Этот априорный мотоцикл строился у нас в уме многие годы из огромных количеств чувственных данных, и постоянно изменяется при поступлении новых чувственных данных. Некоторые из таких изменений в этом особом априорном мотоцикле, на котором я еду, очень быстры и мимолетны: его взаимоотношения с дорогой, например. За ними я постоянно слежу и корректирую их на изгибах и поворотах шоссе. Как только информация перестает представлять для меня какую-либо ценность, я ее забываю, потому что ко мне приходит еще больше того, за чем нужно следить. Другие изменения в этом априори -- медленнее: исчезновение топлива из бака; исчезновение резины с поверхности шин; ослабление болтов и гаек; изменение зазора между тормозными башмаками и барабанами. Иные аспекты мотоцикла меняются так медленно, что кажутся постоянными: слой краски, подшипники колес, тросы управления -- но и они изменяются тоже. Наконец, если думать в понятиях действительно больших количеств времени, то даже рама слегка изменяется под воздействием толчков от неровностей дороги, перепадов температуры, напряжений внутренней усталости, свойственной всем металлам. Да, машина что надо -- этот априорный мотоцикл. Если остановишься на достаточно долгое время и подумаешь над этим, то увидишь, что это -- главное. Чувственные данные это подтверждают, но чувственные данные -- не *он сам*. Мотоцикл, в который я априорно верю, находится вне меня и подобен деньгам, которые, как я верю, лежат у меня в банке. Если бы я пришел в банк и попросил показать мне мои деньги, на меня бы там немного странно посмотрели. У них нет «моих денег» ни в каком маленьком ящичке, который могут открыть и показать мне. «Мои деньги» -- не больше, чем какие-нибудь магнитные поля, ориентированные с востока на запад или с севера на юг, в каком-нибудь окисле железа, покоящемся на катушке ленты в компьютерной коробке для хранения информации. Но я этим удовлетворен, поскольку у меня есть вера в то, что если мне понадобятся вещи, которые деньги позволяют иметь, то банк при помощи своей чековой системы обеспечит меня средствами их получения. Подобным же образом, даже если мои чувственные данные никогда не приносили мне ничего, могущего называться «материей», я удовлетворен тем, что в этих чувственных данных заложена способность достижения того, что материя, как предполагается, делает, и тем, что чувственные данные будут продолжать соответствовать априорному мотоциклу моего ума. Удобства ради я говорю, что у меня есть деньги в банке, и удобства ради говорю, что материя составляет тот мотоцикл, на котором я еду. Основная часть кантовской «Критики чистого разума» касается того, как это априорное знание добывается и как применяется.

Кант назвал тот тезис, что наши априорные мысли независимы от чувственных данных и фильтруют то, что мы видим, «коперниканской революцией». Под этим он имел в виду утверждение Коперника, что земля движется вокруг солнца. В результате этой революции ничего не изменилось -- однако изменилось все. Или, если применять термины Канта, объективный мир, производящий наши чувственные данные, не изменился, но наше априорное понятие о нем вывернулось наизнанку. Эффект ошеломляющий. Именно принятие коперниканской революции отличает современного человека от его средневековых предшественников.

Коперник взял существовавшую априорную концепцию мира -- представление о том, что он плосок и закреплен в пространстве, -- и выдвинул альтернативную априорную концепцию мира, который сферичен и движется вокруг солнца; и показал, что *обе* эти априорные концепции удовлетворяют существующим чувственным данным.

Кант чувствовал, что сделал то же самое в метафизике. Если допускаешь, что априорные концепции в наших головах независимы от того, что мы видим, и в действительности фильтруют то, что мы видим, то это означает вот что: берешь старую аристотелеву концепцию человека науки как пассивного наблюдателя, «пустой дощечки», и поистине выворачиваешь ее наизнанку. Кант и миллионы его последователей утверждали, что в результате такой инверсии получается более удовлетворительное понимание того, как мы познаём.

Я углубился в некоторые детали этого примера, отчасти чтобы показать несколько ближе отдельную часть этой высокой страны, но в большей степени -- подготовиться к тому, что Фендер сделал позднее. Он тоже произвел коперниканскую инверсию и в результате ее получил расщепление отдельных миров классического и романтического понимания. А мне еще кажется, что в результате возможно получить опять-таки более удовлетворительное понимание того, что весь этот мир означает.

Метафизика Канта сначала возбуждала Фендера, но позже стала нудной, и он точно не знал, почему. Он думал об этом и решил, что, быть может, причина -- в его восточном опыте. У него тогда появилось ощущение побега из тюрьмы интеллекта, а теперь -- снова тюрьма, да еще крепче прежнего. Он читал эстетику Канта с разочарованием, а потом -- с гневом. Сами идеи, высказанные по поводу «прекрасного», были для него безобразны, причем безобразие оказывалось настолько глубоким и всепроникающим, что у него не появлялось ни малейшего намека на то, откуда начать на него наступать или как попытаться его обойти. Оно казалось вплетенным в саму ткань кантовского мира -- полностью и настолько основательно, что выхода не было. Не простое безобразие XVIII века и не «техническое» безобразие. Все философы, которых он читал, являли его. Весь Университет, в который он ходил, вонял тем же самым безобразием. Оно было везде -- в аудиториях, в учебниках. Оно было в нем самом, и он не знал, как или почему. Сам разум был безобразен, и казалось, что освободиться от этого невозможно.

В Кук-Сити Джон и Сильвия выглядят счастливее, чем я видел их в последние годы, и мы выгрызаем из наших горячих сэндвичей с говядиной огромные куски. Я счастлив от того, что слышу и наблюдаю их высокогорное буйство, но почти ничего им не говорю, а просто ем.

Через стекло ресторана видны огромные сосны за дорогой. Под ними проезжает много машин по пути в парк. Мы уже намного ниже границы лесов. Здесь теплее, но все накрыто случайным низким облаком, готовым разразиться дождем.

Полагаю, что если бы я был романистом, а не оратором Шатокуа, то попытался бы «развить характеры» Джона, Сильвии и Криса сценами, плотно упакованными действием, которые, к тому же, являли бы «внутренние смыслы» Дзэна, а может быть -- и Искусства, а может даже -- и Ухода За Мотоциклом. Всем романам роман бы вышел, но я почему-то не чувствую в себе особого желания его писать. Они -- друзья, а не персонажи, и как однажды сказала Сильвия: «Мне не нравится быть предметом!» Поэтому я просто не вдаюсь в огромное количество того, что мы знаем друг о друге. Ничего плохого, но и ничего значимого для Шатокуа. Так и должно быть с друзьями.

В то же время, я думаю, из этого Шатокуа можно понять, почему я всегда обязательно кажусь таким сдержанным и отстраненным по отношению к ним. Иногда они задают вопросы, которые, как кажется, требуют с моей стороны объяснения, о чем, к чертовой матери, я постоянно думаю, но если бы я действительно проболтался, что именно у меня на уме -- скажем, априорное допущение непрерывности мотоцикла каждую секунду, -- причем сделал бы это без ссылки на всю доктрину Шатокуа полностью, то они бы просто удивились и озаботились, что же со мной случилось. Но мне действительно *интересна* эта непрерывность -- и то, как мы говорим и думаем о ней; поэтому я склонен отстраняться от обычных застольных ситуаций. Это и производит впечатление отдаленности. Проблема.

Проблема нашего времени. Сегодня диапазон человеческого знания настолько велик, что мы все являемся специалистами, а дистанции между специализациями стали настолько огромными, что тому, кто хочет свободно бродить меж ними, приходится отказываться от близости с людьми вокруг. Все это застольное «здесь и сейчас» - тоже специализация.

Крис, кажется, понимает мою отстраненность лучше них, возможно, потому, что больше привык к ней, и его отношения со мной таковы, что его это больше касается. На его лице я иногда вижу тревогу -- или, по крайней мере, беспокойство, -- задаю себе вопрос, почему, и обнаруживаю, что я зол. Если бы я не видел выражения его лица, я, может быть, этого бы и не понял. В другой раз он бежит и прыгает вокруг, я опять недоумеваю, а потом оказывается, что у меня хорошее настроение. Теперь я вижу, что он немного нервничает, отвечая на вопрос, который Джон, очевидно, задал мне. О людях, к которым мы приезжаем завтра, -- о ДеВизах.

Я не уверен, какой был вопрос, но добавляю:

-- Он художник. Преполагает изящные искусства в тамошнем колледже. Абстрактный импрессионист.

Они спрашивают, как я с ним познакомился, и приходится ответить, что не помню -- это звучит слегка уклончиво. Я не помню о нем *ничего*, кроме отдельных фрагментов. Он и его жена были, очевидно, друзьями друзей Федра, и тот познакомился с ними через них.

Они интересуются, что инженер-писатель -- такой, как я -- может иметь общего с художником-абстракционистом. И снова приходится говорить, что не знаю. Я мысленно перебираю свои фрагменты воспоминаний в поисках ответа, но ничего не выходит.

Их личности очевидно различались. В то время, как фотографии Федра в тот период отображают отчуждение и агрессивность на его лице (один человек с его отделения полусушут назвал это выражение «подрывным»), некоторые фотографии ДеВиза в то же самое время отражают лицо вполне пассивное, почти умиротворенное, если не считать легкого вопрошающего взгляда.

У меня в памяти сохранился фильм о шпионе в Первую Мировую войну, изучавшем поведение пленного германского офицера (тот был его вылитой копией) с помощью прозрачного зеркала. Изучал много месяцев, прежде чем научился имитировать каждый его жест и оттенок речи. Потом притворился этим офицером, сбежавшим из плена, -- чтобы внедриться в командование германской армии. Я помню свое напряжение и

возбуждение, когда он должен был пройти первое испытание со старыми друзьями офицера, чтобы понять, разгадают ли его обман или нет. Теперь у меня -- сходные чувства по поводу ДеВиза, который естественным образом будет полагать, что я -- тот человек, которого он когда-то знал.

Снаружи -- легкий туман, мотоцикл покрылся легкой росой. Из седельной сумки я вытаскиваю пластиковый пузырь и цепляю к шлему. Скоро будем въезжать в Йеллоустоунский Парк.

Дорога впереди -- в тумане. Кажется, что облако передвинулось в долину, которая на самом деле вовсе и не долина, а тянущийся дальше горный проход.

Я не знаю, насколько хорошо его знал ДеВиз, и каких воспоминаний он от меня будет ожидать. Я раньше уже проходил через это с другими людьми, и обычно удавалось отлакировать мгновения неловкости. Наградой это каждый раз служили новые знания о Федре, которые в огромной степени помогали мне и дальше играть его роль. За много лет я накопил основную массу той информации, которую здесь представляю.

По тем обрывкам воспоминаний, которые у меня есть, можно судить, что Федр высоко ценил ДеВиза, поскольку не понимал его. Для Федре неудачное понимание чего-либо создавало громадный интерес, а реакция ДеВиза всегда была обворожительной. Каждый раз, казалось, он реагирует «от фонаря». Федр произносил что-то, казавшееся ему довольно смешным, а ДеВиз смотрел на него озадаченно или принимал его всерьез. В другой раз Федр говорил что-нибудь очень серьезное и затрагивавшее нечто глубинное, а ДеВиз принимался хохотать, словно услышал умнейшую шутку в своей жизни.

Например, остался отрывок воспоминания об обеденном столе, у которого отстала полированная отделка. Федр приклеил шпон на место, а чтобы тот держался, пока не застынет клей, намотал в несколько раз вокруг стола целую катушку проволоки.

ДеВиз увидел и спросил, что все это означает.

-- Это моя новая скульптура, -- отвечал Федр. -- Тебе не кажется, что она весьма продуманно выстроена?

Вместо того, чтобы рассмеяться, ДеВиз взглянул на него с изумлением, потом долго изучал стол и наконец спросил:

-- Где ты всему *этому* научился?

Какую-то секунду Федр думал, что тот продолжает его шутку, но ДеВиз был серьезен.

В другой раз Федр расстроился из-за каких-то провалившихся на экзамене студентов. Возвращаясь с ДеВизом домой и проходя под кронами деревьев, он что-то по этому поводу заметил, и ДеВиза удивило, что он принял этот провал так близко к сердцу.

-- Я тоже спрашивал себя, -- ответил Федр и озадаченно добавил: -- Наверное, это потому, что каждый учитель склонен завышать оценки тем ученикам, которые напоминают его самого больше остальных. Если в том, что ты пишешь сам, видна аккуратная манера, то ты считаешь, что и для ученика это важнее. Если пользуешься большими словами, то тебе понравятся ученики, которые тоже пишут большими словами.

-- Конечно. А что в этом такого? -- спросил ДеВиз.

-- Понимаешь, тут что-то не так, -- ответил Федр, -- потому что те студенты, которые мне больше всех нравятся, те, с которыми я по-настоящему испытываю единство, -- все они *проваливаются!*

Здесь ДеВиз окончательно расхохотался, чем обидел и разозлил Федре. Тот расценивал это как некое научное явление, которое может предложить ключи к новому пониманию, а ДеВиз просто рассмеялся.

Сначала он думал, что ДеВиз смеялся просто над своим непредумышленным оскорблением. Но что-то не срасталось, поскольку ДеВизу вовсе не нравилось унижать людей. Позднее он понял: то был какой-то сверхистинный смех. Лучшие студенты *всегда* заваливают предметы. *Каждый* хороший учитель это знает. То был смех, уничтожающий напряжения, порожденные невозможными ситуациями, и Федр сам мог бы прибегнуть к нему, поскольку в то время он все воспринимал чересчур всерьез.

Эти загадочные реакции ДеВиза и навели Федре на мысль о том, что у художника имеется доступ к огромному массиву скрытого понимания. Казалось, ДеВиз всегда о чем-то *умалчивает*. Он что-то *скрывал* от Федре, и Федр не мог вычислить, что именно.

После этого -- отчетливый фрагмент: день, когда он обнаружил, что ДеВиз, кажется, так же недоумевает по поводу *его самого*.

У ДеВиза в студии не работал выключатель, и тот спросил Федре, не знает ли он, что с ним такое. На лице его играла слегка смущенная, слегка озадаченная улыбка -- словно улыбка покровителя искусств, разговаривающего с художником. Покровитель смущен собственным открытием того, насколько мало он знает, но улыбается в предвкушении узнать больше. В отличие от Сазерлендов, которые *ненавидят* технологию, ДеВиз был так от нее далек, что не чувствовал в ней никакой особой угрозы. В действительности, ДеВиз был технологическим *энтузиастом*, *покровителем* технологий. Он их не понимал, но знал, что именно ему нравится, и всегда получал удовольствие от узнавания чего-то нового.

Он питал иллюзию, что дело -- в проводе около самой лампочки, поскольку сразу после того, как он дернул за шнурок выключателя, свет погас. Если же что-то сломалось в выключателе, считал он, то прошло бы некоторое время, прежде чем неполадка сказалась бы на лампочке. Федр не стал с этим спорить, а перешел через дорогу, купил в хозяйственном магазине выключатель и через несколько минут установил его. Конечно же, свет немедленно заработал, озадачив и расстроив ДеВиза.

-- Откуда ты знал, что сломан именно выключатель? -- спросил он.

-- Потому что он работал прерывисто, когда я его дергал.

-- А-а... а разве не могло дергаться в проводе?

-- Нет.

Самоуверенность Федре разозлила ДеВиза, и он начал спорить:

-- Откуда ты все это *знаешь*?

-- Это *очевидно*.

-- Ну, а почему тогда я этого не видел?

-- Это нужно немножко знать.

-- Тогда это *не* очевидно, не так ли?

ДеВиз всегда спорил под таким странным углом зрения, что отвечать ему становилось невозможно. Именно этот угол навел Федре на мысль, что ДеВиз от него что-то скрывает. Но только к самому концу своего пребывания в Бозмене он решил, что окончательно понял, какую именно перспективу этот угол зрения открывал.

У въезда в парк мы останавливаемся и платим человеку в широкополой шляпе лесника. Он взамен вручает нам однодневный пропуск. Впереди я вижу пожилого туриста, снимающего нас кинокамерой, и улыбаюсь. Из его шортов до городских гольфов и башмаков простираются белые ноги. У его жены, которая одобрительно за ним наблюдает, ноги идентичны. Проезжая мимо, я им машу рукой, и они машут мне в ответ. Это мгновение будет запечатлено на пленке на года.

Федр презирал этот парк, не зная в точности, почему -- может, потому, что не открыл его сам, но скорее всего -- не поэтому. Тут что-то другое. Отношение зрителей ко всему этому как к охраняемому туризму злило его. Отношение туристов как к зоопарку в Бронксе внушало еще большее отвращение. Такая разница с высокогорьями вокруг. Парк казался огромным музеем с тщательно отманикюренными экспонатами, создающими иллюзию реальности, но мило отгороженными цепями -- чтобы дети не сломали. Люди входили в парк и становились вежливыми, уютными и фальшивыми по отношению друг к другу, потому что такими их делала здешняя атмосфера. Все то время, что он жил в какой-то сотне миль от парка, он заезжал туда от силы пару раз.

Но мы выбиваемся из последовательности. Пропущен участок около десяти лет. Он не прыгнул от Иммануила Канта сразу в Бозмен, Монтана. За эти десять лет он успел долго прожить в Индии, где изучал восточную философию в Индуистском Университете в Бенаресе.

Насколько я знаю, он не научился там никаким оккультным секретам. Ничего особенного не случилось вообще, если не считать проявлений. Он слушал философов, посещал религиозных деятелей, впитывал и думал, потом впитывал и думал еще немного -- вот и все. Во всех его письмах прослеживается сильное смещение от противоречий, несообразностей, расхождений и исключений из всех правил, которые он формулировал по поводу того, что наблюдал. Он приехал в Индию ученым-эмпириком и уехал из Индии ученым-эмпириком -- не намного мудрее, чем когда приехал. Тем не менее он со многим познакомился и приобрел некий скрытый образ, позже проявившийся в сочетании со многими другими скрытыми образами.

Некоторые из этих скрытых состояний следует рассмотреть, поскольку впоследствии они будут важны. Он стал осознавать, что доктринальные различия между индуизмом, буддизмом и даосизмом и близко не столь важны, как доктринальные различия между христианством, исламом и иудаизмом. Из-за них не ведутся священные войны, поскольку облаченные в слова утверждения по поводу реальности никогда не принимаются за саму реальность.

Во всех восточных религиях огромная ценность придается санскритской доктрине «TAT TVAM ASI», «Ты сам -- это», которая утверждает, что все, что ты считаешь собой, и все, что ты считаешь постигаемым тобой, неразделимы. Полностью представить это отсутствие разделения -- и значит стать просветленным.

Логика подразумевает отделение субъекта от объекта; следовательно, логика не есть мудрость в последней инстанции. Иллюзия отделения субъекта от объекта лучше всего удаляется исключением физической деятельности, умственной деятельности и эмоциональной деятельности. Для этого существует множество дисциплин. Одна из самых важных -- санскритская *дхьяна*, неправильно произносимая по-китайски «чань» и еще раз неправильно произносимая по-японски «дзэн». Федр так и не вовлекся в медитацию, поскольку не видел в ней для себя смысла. Все время, проведенное им в Индии, «смысл» оставался логической постоянной, и он не мог найти никакого честного способа отказаться от веры в него. И это, я думаю, делало ему честь.

Но однажды в классе преподаватель философии отлаженно распространялся по поводу иллюзорной природы мира -- казалось, уже в пятидесятый раз, -- и Федр поднял руку и холодно спросил, считается ли, что атомные бомбы, упавшие на Хиросиму и Нагасаки, были иллюзорными. Преподаватель улыбнулся и ответил: «Да». Этим обмен мнениями и закончился.

Внутри традиций индийской философии тот ответ, может, и был бы верным, но для Федра, как и для любого, кто регулярно читает газеты и кого касаются такие вещи, как массовое уничтожение человеческих существ, ответ безнадежно не соответствовал. Он покинул класс, покинул Индию и бросил все.

Вернулся на свой Средний Запад, получил практическую степень по журналистике, женился, жил в Неваде и Мексике, работал от случая к случаю -- журналистом, писателем-популяризатором, составителем промышленной рекламы. Родилось двое детей, он купил ферму, лошадь для верховой езды, две машины и начал набирать средневозрастной животик. Его погоня за тем, что называлось «призраком разума», была брошена. Это чрезвычайно важно понять. Он сдался.

Поскольку он сдался, поверхность жизни стала для него удобной. Он работал достаточно прилежно, с ним было легко иметь дело, и, если не считать случайных проблесков внутренней пустоты, проскальзывавших кое в каких рассказах, которые он в то время писал, дни его проходили вполне обычно.

Что встряхнуло его и привело в эти горы -- неясно. Его жена, кажется, не знает до сих пор, но я догадываюсь, что причиной могли быть одно из тех внутренних ощущений неудачи и надежда, что это как-то сможет снова вывести его на след. Он стал гораздо зрелее, как если бы забвение внутренних целей поторопило его старость.

Мы выезжаем из парка в Гардинере, где, кажется, выпадает не слишком много дождей, потому что в сумерках на горных склонах видны только трава и шалфей. Мы решаем остановиться здесь на ночь.

Городок лежит на высоких берегах по обе стороны моста через реку, которая стремительно бежит по гладким и чистым валунам. За мостом, в мотеле, куда мы подъезжаем, уже зажгли свет, но даже при искусственном освещении из окон я вижу, что каждый домик окружен аккуратно высаженными цветами, и шагаю осторожно, чтобы не наступить на них.

В домике я тоже кое-что замечаю и показываю Крису. Все окна -- двойные, а скользящие рамы утяжелены грузилами. Двери закрываются плотно. Вся фурнитура подогнана идеально. Нигде нет ничего нарочитого -- просто хорошо сделано, и что-то мне подсказывает, что делал это все один человек.

Когда мы возвращаемся из ресторана, в садике у конторы мотеля, наслаждаясь вечерним ветерком, сидит пожилая пара. Мужчина подтверждает, что все домики построил он сам: он так доволен, что это заметили, что его жена, которая за ним наблюдает, приглашает всех нас присесть.

Мы беседуем без спешки. Это -- самый старый въезд в парк. Им пользовались еще до того, как появились автомобили. Они говорят о переменах, происшедших за годы, прибавляя еще одно измерение к тому, что мы видим вокруг, и все выстраивается в нечто прекрасное: этот городок, эта пара и годы, что прошли здесь. Сильвия кладет свою руку на руку Джона. Я чувствую звуки реки, бегущей вниз, и аромат ночного ветра. Женщина, которая знает все запахи, говорит, что так пахнет жимолость, и мы ненадолго замолкаем. Меня охватывает приятная дрема. Крис уже почти спит, когда мы решаем свернуться.

Джон и Сильвия едят на завтрак свои горячие булочки и пьют кофе, по-прежнему охваченные настроением вчерашнего вечера, мне же ничего не лезет в горло.

Сегодня мы должны приехать в школу -- в то место, где произошло громадное количество событий, -- и я уже весь внутренне напрягся.

Помню, как однажды читал об археологических раскопках на Ближнем Востоке: о чувствах археолога, когда он открывал забытые гробницы -- впервые за тысячелетия. Теперь я сам чувствую себя каким-то археологом. Заросли шалфея в каньоне, ведущем теперь к Ливингстону, -- те же самые, что можно увидеть отсюда и до Мексики.

Сегодня утром солнце -- такое же, как и вчера, только теплее и мягче, потому что мы опять опустились ниже. Ничего необычного.

Есть только такое археологическое чувство, что спокойствие окружающего что-то за собой скрывает.

Призрачное место.

На самом деле, я не хочу туда ехать. Лучше бы поскорее развернуться и поехать обратно.

Просто напряжение, наверное.

Оно накладывается на отрывок воспоминаний: много раз по утрам напряжение было таким сильным, что его тошнило от всего еще до того, как он приходил на свой первый урок. Противно было появляться перед аудиторией и говорить. Абсолютное насилие над всем его одиноким, замкнутым образом жизни. На самом деле, он переживал интенсивный страх сцены -- только на нем напряжение никогда не сказывалось как страх сцены, скорее -- как ужасающая *интенсивность* во всем, что он делал. Студенты говорили его жене, что это походило на заряд электричества в воздухе. С момента, когда он входил в класс, все глаза обращались к нему и следовали за ним, пока он шел к середине комнаты. Все разговоры стихали до еле слышного шепота -- даже если, как это часто бывало, до начала занятия оставалось несколько минут. Весь урок взгляды от него не отрывались. О нем стали много говорить, он превратился в противоречивую фигуру. Большинство студентов избегало его семинары как черной смерти. Они слышали слишком много разных историй.

Школу можно было условно назвать «обучающим колледжем». В обучающем колледже только и делаешь, что учишь, учишь и учишь -- и нет времени на исследования, нет времени на размышления, нет времени на участие во внешних делах. Сплошной твердеж, пока ум не притупляется, творческие способности не пропадают, а сам не становишься автоматом, повторяющим одни и те же глупости снова и снова бесконечным волнам невинных студентов, которые не могут понять, почему ты такой тупой, теряют уважение к тебе и разносят это свое неуважение по всей школьной общине. Причина твердежа -- в том, что это очень умный способ управлять колледжем, не напрягаясь, но сообщая ему ложную видимость подлинного образования.

И все же, несмотря на это, он называл школу именем, которое не имело особого смысла и, фактически, звучало несколько нелепо в свете ее действительной природы. Но для него это имя имело большое значение, он постоянно употреблял его и чувствовал -- до того, как уехал, -- что втемяшил его в некоторые головы достаточно крепко. Он называл школу «Церковью Разума», и недоумение, с которым люди относились к нему, могло бы исчезнуть, наверное, если бы они поняли, что он имел в виду.

Штат Монтана в то время претерпевал всплеск ультраправой политики, подобный тому, что произошел в Далласе, штат Техас, как раз перед покушением на Президента Кеннеди. Профессору Университета Монтаны в Миссуле, известному всей нации, запретили выступать в студенческом городке на основании того, что он «возбудит беспокойства». Преподавателям говорили, что все их публичные выступления теперь должны проверяться внешними отделами колледжей перед тем, как будут иметь место.

Академические стандарты были уничтожены. До этого законодательство запретило школам отказывать в праве на поступление какому бы то ни было учащемуся старше 21 года вне зависимости от того, имелся у него аттестат о среднем образовании или нет. Теперь же приняли закон, по которому все колледжи штрафовались на восемь тысяч долларов за каждого студента, провалившегося на экзаменах, -- в буквальном смысле приказ пропускать всех подряд.

Вновь избранный губернатор пытался уволить президента колледжа и по личным, и по политическим мотивам. Президент колледжа был не просто личным врагом -- он был демократом; губернатор же был не просто республиканцем. Руководитель его избирательной кампании к тому же координировал работу Общества Джона Бёрча⁽⁹⁾ в штате. Тот самый губернатор, составивший список пятидесяти подрывных элементов, о котором мы слышали несколько дней назад.

Теперь -- как часть вендетты -- фонды, выделяемые колледжу, урезали. Президент колледжа отвел необычно большую долю урезанного отделению английской словесности, где работал тезисов, была очень длинной и тщательной.

Она начинается со ссылки на статью в газете, где говорилось о здании деревенской церкви с неоновой рекламой пива, висящей прямо над центральным входом. Здание продали и устроили в нем бар. Можно догадаться, что в классе на этом месте раздались смешки. Колледж был хорошо известен своими пьянками, и образы смутно совпадали. В статье говорилось, что люди пожаловались церковным властям. Церковь была католической, и священник, которому поручили ответить на критику, говорил по этому поводу вообще весьма раздраженно. Для него этот случай открыл неопишное невежество в том, чем в действительности является церковь. Они что, думают, что всю церковь составляют кирпичи, доски и стекло? Или форма крыши? Здесь благочестием выставлял себя пример того самого материализма, против которого выступала церковь. Само здание, о котором шла речь, не было святой землей. Над ним совершили ритуал лишения святости. С ней было покончено. Реклама пива висела над баром, а не над церковью, и те, кто не может отличить одно от другого, просто проявляют то, что характеризует их самих.

Федр говорил, что такое же смешение существует и по поводу Университета, и поэтому потерю аккредитования трудно понять. Настоящий Университет -- не материальный предмет. Не группа зданий, которые можно защищать полицией. Он объяснял, что когда колледж теряет свое аккредитование, никто не приходит и его не закрывает. Нет никаких взысканий по закону, никаких штрафов, никаких тюремных заключений. Занятия не прекращаются. Все идет точно так же, как и до этого. Студенты получают то же самое образование, какое получали бы в школе, если бы она аккредитования не утратила. Состоится, говорил Федр, просто официальное признание состояния, уже существовавшего. Похоже на отлучение от церкви. Произойдет только то, что *настоящий* Университет, которому никакое законодательство не может ничего диктовать, и который нельзя определить никаким расположением кирпичей, досок или стекла, просто объявит, что это место -- больше не «святая земля». Настоящий Университет просто исчезнет, и останутся только кирпичи, книги и материальные проявления.

Должно быть, всем студентам это показалось странной концепцией, и я могу себе представить, как долго он ждет, пока она до них дойдет, а потом, вероятно, ждет вопроса: а что вы считаете настоящим Университетом?

В качестве ответа на этот вопрос его заметки утверждают следующее:

Настоящий Университет, говорил он, не имеет никакого определенного месторасположения. Он не владеет никакой собственностью, не выплачивает жалований и не принимает материальных взносов. Настоящий Университет -- состояние ума. Великое наследие рациональной мысли, донесенное до нас через века и не существующее ни в каком определенном месте. Состояние ума, которое возобновляется в веках сообществом людей, традиционно несущих титулы преподавателей, но даже эти титулы не являются принадлежностью настоящего Университета. Настоящий Университет -- нечто, не меньшее, чем непрерывное сообщество самого разума.

В дополнение к этому состоянию ума, «разуму», существует юридическая целостность, которая, к несчастью, называется тем же самым словом, но на деле является совершенно другой штукой. Это некоммерческая корпорация, ответвление государства с определенным адресом. Этот университет владеет собственностью, способен платить жалование, принимать деньги и реагировать на законодательное давление.

Но этот второй университет, юридическая корпорация, не может обучать, не производит нового знания и не оценивает идей. Это вовсе не настоящий Университет, а просто здание церкви, декорация, место, на котором создали благоприятные условия для существования подлинной церкви.

Люди, которые не могут увидеть эту разницу, находятся в постоянном смятении, говорил он, -- и думают, что контроль над церковными зданиями подразумевает контроль над церковью. Они видят преподавателей наемными служащими второго университета: те должны отказаться от разума, когда раскрывают рот, и беспрекословно исполнять приказы, подобно служащим других корпораций.

Они видят второй университет, но не могут увидеть первого.

Я помню, как читал все это впервые и отметил проявленное здесь аналитическое мастерство. Он избегал деления Университета на сферы или отделения и не хотел иметь дела с результатами такого анализа. Он также избегал традиционного расклада на студентов, факультет и администрацию. Когда делишь любым из этих способов, получается куча глупостей, которые, на самом деле, ничего не сообщают, кроме того, что можно прочесть в официальном школьном бюллетене. Федр же делил Университет на «церковь» и «место» -- а едва проведена эта граница, как то же самое довольно тупое и несущественное заведение, возникающее на страницах бюллетеня, внезапно начинает восприниматься с ясностью, ранее недостижимой. На основе этого разделения он предложил иные объяснения некоторым озадачивающим, но нормальным аспектам жизни Университета.

После этих объяснений он вернулся к аналогии с религиозной церковью. Граждане, построившие такую церковь и оплачивающие ее содержание, возможно, мыслят, что делают это для общины. Хорошая проповедь может сообщить прихожанам верное направление ума на всю следующую неделю. Воскресная школа поможет детям верно расти. Священник, читающий проповедь и управляющий воскресной школой, осознает эти задачи и обычно соглашается с ними, но помимо этого он знает, что *его* первоочередная задача -- отнюдь не служить общине. Его первоочередная задача -- всегда служить Богу. Конфликта в этом обычно нет, но временами он тихонечко возникает: когда опекуны не согласны с проповедями священника и угрожают сокращением фондов. Такое случается.

Подлинный священнослужитель в подобных ситуациях должен действовать так, будто он не слышал никаких угроз. Его цель -- служить не членам общины, а исключительно Богу.

Первоочередной задачей Церкви Разума, говорил Федр, всегда является старая цель Сократа -- истина, в ее постоянно изменяющихся формах, в том виде, в каком она проявляется процессом рациональности. Все остальное подчинено ей. Обычно эта задача не противоречит задаче места -- улучшению общности, но иногда кое-какие конфликты возникают -- как в случае с самим Сократом, например. Конфликт вспыхивает, когда опекуны и законодатели, вложившие в место большие количества времени и денег, принимают точки зрения, противоположные лекциям или публичным выступлениям преподавателей. Они могут опираться на администрацию, угрожая сократить фонды, если преподаватели не будут говорить того, что они хотят услышать. Такое тоже случается.

Подлинные служители церкви в таких ситуациях должны действовать так, будто они этих угроз никогда не слышали. Их цель -- ни в коем случае не служить общине прежде всего остального. Их первоочередная задача -- служить посредством разума целям истины.

Вот то, что он имел в виду под Церковью Разума. Не возникало вопроса, глубоко ли прочувствована им эта концепция. К нему относились как к смутьяну, но не осуждали его пропорционально количеству беспокойства, которое он доставлял. От гнева окружающих его спасало частично нежелание поддерживать каких бы то ни было врагов колледжа, а частично -- ворчливое понимание того, что все его смутьянство, в конечном счете, мотивировано мандатом, от которого все они никогда не могли отъединить себя -- мандатом на изречение рациональной истины.

Заметки к лекции объясняют почти полностью, почему он поступал именно так, но не объясняют одной вещи -- его фантастического напора. Можно верить в истину, и в процесс разума, направленный на обнаружение ее, и в сопротивление государственному законодательству, но зачем сжигать себя из-за нее день за днем?

Психологические объяснения, которые мне предлагались, неадекватны. Страх сцены не может поддерживать такие усилия из месяца в месяц. Другое объяснение тоже звучит как-то не так: мол, он пытался искупить свою прошлую неудачу. Нигде нет свидетельства тому, что он вообще когда-либо задумывался о своем изгнании из университета как о неудаче, -- он просто считал его загадкой. Объяснение, к которому пришел я, возникает из расхождения между недостатком его веры в научный разум в лабораторных условиях и его фанатической верой, выраженной в лекции о Церкви Разума. Однажды я думал об этом расхождении, и меня вдруг осенило: это ведь

вовсе не расхождение! Его недостаток веры в разум и был *причиной* того, почему он разуму был настолько фанатически предан.

Никогда не будешь чему-нибудь предан, если полностью в этом уверен. Никто фанатически не вопит, что завтра взойдет солнце. Когда люди фанатически преданы политическим или религиозным верованиям -- или же любым иным видам догм или целей, -- то это всегда потому, что догмы или цели ставятся под сомнение.

Как раз тот случай -- воинственность иезуитов, которых он иногда напоминал. Исторически их рвение проистекает не из силы католической церкви, а из ее стабильности перед лицом Реформации. Именно *недостаток* веры Федра в разум делал его столь фанатичным учителем. Вот так получается больше смысла. И уж гораздо больше смысла видно в том, что за этим последовало.

Вероятно, поэтому он чувствовал свое столь глубокое родство со столькими неуспевающими студентами на задних скамейках его аудиторий. Презрительные мины на их лицах отражали те же самые чувства, что имелись у него самого по отношению ко всему рациональному, интеллектуальному процессу. Единственная разница заключалась в том, что их полное презрение проистекало из непонимания. Он же переполнялся презрением потому, что понимал. Поскольку они не понимали, иного решения у них не было -- кроме как завалить учебу и всю оставшуюся жизнь вспоминать пережитое с горечью. Он же, напротив, чувствовал фанатическую обязанность что-то совершить. Вот почему его лекция о Церкви Разума была так тщательно подготовлена. Он говорил им, что должна существовать вера в разум, потому что больше просто ничего нет. Но веры этой не было и у него самого.

Всегда следует помнить: то были пятидесятые годы, а не семидесятые. Со стороны битников и ранних хиппи в то время раздавался ропот по поводу «системы» и квадратного интеллектуализма, поддерживавшего ее, но едва ли кто-то догадывался, насколько глубоко всю доктрину можно поставить под сомнение. И вот посреди всего этого находился такой Федра, фанатически защищавший учреждение, Церковь Разума, в котором никто -- конечно уж, никто в Бозмене, Монтана -- не имел никакой причины сомневаться. До-реформационный Лойола. Воинствующий фанатик, уверяющий всех, что завтра взойдет солнце -- в то время, как никто из-за этого и не волновался. Все просто удивлялись *ему*.

Теперь же, когда между им и нами -- большая часть бурного десятилетия века, десятилетия, на протяжении которого разум атаковали снова и снова, превзойдя самые дерзкие верования пятидесятых, я думаю, в этом Шатокуа, основанном на его открытиях, мы немного лучше сможем понять то, о чем он говорил... решение этого всего... если б оно оказалось истиной... так много утрачено, что этого не узнать никак.

Может быть, поэтому я чувствую себя археологом. И так напряжен поэтому. У меня есть только обрывки воспоминаний и кусочки, которые мне рассказывают другие, а я продолжаю спрашивать себя по мере того, как мы приближаемся, не лучше ли некоторым гробницам оставаться закрытыми.

Внезапно в голову лезет Крис, сидящий позади, и мне становится интересно, насколько много он знает и насколько хорошо помнит.

Доезжаем до перекрестка, где дорога из парка соединяется с основным шоссе, идущим с востока на запад, останавливаемся и сворачиваем на него. Минуем низкий перевал и въезжаем в сам Бозмен. Дорога теперь идет вверх, на запад, и внезапно я начинаю с нетерпением ожидать того, что впереди.

Мы выезжаем из горного прохода на небольшую зеленую равнину. Сразу к югу видны поросшие хвойными лесами горы, на вершинах которых снег лежит с прошлой зимы. Во всех остальных направлениях -- горы пониже и подальше, но такие же ясные и четкие. Этот открыточный пейзаж смутно и неопределенно, но совпадает с воспоминаниями. Широкого шоссе между штатами, по которому мы сейчас едем, тогда, должно быть, еще не существовало.

Приходит на ум и остается в голове утверждение о том, что «лучше ехать, чем приезжать». Ехали-ехали, а теперь вот приедем. У меня всегда наступает депрессия, когда я достигаю промежуточной цели вроде этой и должен переориентироваться на другую. Через день-два Джону и Сильвии надо будет возвращаться, а Крису и мне придется решать, что мы хотим делать дальше. Все надо реорганизовывать.

Главная улица городка кажется смутно знакомой, но теперь у меня такое чувство, что я здесь -- турист, и вывески магазинов, которые я вижу, -- для меня, туриста, а не для людей, здесь *живущих*. В действительности городок не такой уж и маленький. Люди движутся слишком быстро и слишком независимо друг от друга. Один из тех городков с населением от пятнадцати до тридцати тысяч, которые не совсем городишки, но и не вполне крупные города -- не совсем вообще что бы то ни было.

Мы обедаем в стеклянно-хромированном ресторане, не вызывающем совсем никаких воспоминаний. Похоже, его построили после того, как Федр здесь жил, и в нем тоже не видно ничего своего -- как и в главной улице. Я беру телефонную книгу и ишу номер Роберта ДеВиза, но не нахожу его. Набираю справочную, но телефонистка никогда о таком не слыхала и номера сообщить мне не может. Невероятно! Они что, живут только в его воображении? От ее фразы начинается паника. Ощущение длится какое-то мгновение, но я вспоминаю их ответ на мое письмо, где говорилось, что мы приезжаем, и успокаиваюсь. Воображаемые люди почтой не пользуются.

Джон предлагает мне позвонить на факультет изящных искусств или каким-нибудь друзьям. Я немного перекуриваю и пью кофе, а когда окончательно успокаиваюсь, так и делаю, и узнаю, как до них добраться. Не технология страшна. Страшно то, что она делает с отношениями между людьми -- например, между абонентами и операторами.

Из города до гор по дну долины должно быть, меньше десяти миль, и мы покрываем это расстояние по грунтовым дорогам, через густую и высокую зеленую люцерну, готовую к резке -- такую густую, что на вид сквозь эти заросли трудно даже пробираться. Поля простираются до самых подножий гор, где внезапно ввысь возносится более темная зелень сосен. Там и живут ДеВизы. Где встречаются светло-зеленое и темно-зеленое. Ветер напоен светло-зелеными ароматами свежескошенного сена и запахами скота. В одном месте мы выезжаем в полосу холодного воздуха, где запах меняется на хвойный, но потом снова попадаем в тепло. Солнце, луга и близкие горы.

Чем ближе к соснам, тем глубже гравий на дороге. Переключаемся на первую скорость, притормаживаем до 15 миль в час, и я снимаю обе ноги с подножек, чтобы выправлять мотоцикл, если он зароется в гравий и начнет падать. Мы сворачиваем и неожиданно выезжаем в клинообразное ущелье с очень высокими откосами, где среди сосен прямо рядом с дорогой стоит большой серый дом с огромной абстрактной железной скульптурой, приделанной к одной стене, а под ней, откинувшись на ступени в окружении компании людей сидит живое изображение самого ДеВиза с банкой пива в руке и машет нам. Прямо со старых фотографий.

Я так занят балансированием машины, что не могу оторвать рук от руля и машу ему в ответ ногой. Живой ДеВиз ухмыляется, видя, как мы подъезжаем.

-- Нашел-таки, -- говорит он. Успокоенная улыбка. Счастливые глаза.

-- Много времени прошло, -- отвечаю я. Я тоже счастлив, хотя странно видеть, как ожившая фотография движется и разговаривает.

Мы слезаем с мотоциклов, снимаем походное снаряжение, и я вижу, что открытая терраса, на которой он сидит со своими гостями, незакончена и неотделана. Девиз стоит там, где она всего на несколько футов возвышается над дорогой с нашей стороны, но стены ущелья настолько круты, что под дальней ее стороной земля опускается футов на пятнадцать. Сама речка -- еще в пятидесяти футах ниже и в стороне от дома, среди деревьев и высокой травы, где, полускрытая от глаз, не поднимая головы, пасется лошадь. Теперь приходится высоко задирать голову, чтобы увидеть небо. Окружает нас тот самый темно-зеленый лес, который мы видели на подъезде.

-- Это просто *прекрасно!* -- говорит Сильвия.

Ожившая фотография ДеВиза улыбается ей сверху.

-- Спасибо, -- отвечает он, -- я рад, что вам нравится.

Вся его интонация -- здесь и сейчас, совершенно спокойная. Я понимаю, что хотя передо мной и подлинный образ самого ДеВиза, сам он -- абсолютно новая личность, обновлявшая себя беспрестанно, и мне придется его узнавать полностью заново.

Мы поднимаемся на террасу. Между половицами -- щели, как в решетке. Сквозь них видно землю внизу. Тонем, будто говорящим: «Ну, я не вполне уверен, как это надо делать», -- и улыбаясь, ДеВиз всех знакомит, но имена влетают в одно ухо и вылетают из другого. Я никогда не запоминаю имен. У него в гостях -- школьный преподаватель живописи в очках в роговой оправе и его жена, которая застенчиво улыбается. Должно быть, они здесь впервые.

Мы немного болтаем: ДеВиз, в основном, объясняет им, кто я такой, а потом оттуда, где терраса сворачивает за угол дома, вдруг появляется Джинни ДеВиз с подносом, полным банок пива. Она тоже художник, и я внезапно осознаю, что и она все схватывает на лету, -- и вот уже мы обмениваемся улыбками по поводу художественной экономичности пожатия банки пива вместо ее руки, пока она говорит:

-- Сейчас соседи приходили с тазиком форели нам на обед. Так приятно.

Я раздумываю, что бы сказать приличествующего, но в конце концов просто киваю. Мы рассаживаемся; я -- на солнце, откуда трудно разглядеть детали на другой стороне террасы, в тени.

ДеВиз смотрит на меня, кажется, собирается что-то заметить по поводу того, как я выгляжу, -- что, без сомнения, намного отличается от того, каким он меня помнит, -- но что-то его от этой темы отвлекает, и он поворачивается к Джону и спрашивает, как прошло путешествие.

Джон рассказывает, что все было просто замечательно, как раз то, что им с Сильвией было нужно вот уже много лет.

Сильвия его поддерживает:

-- Просто побыть на открытом воздухе, на этом просторе.

-- В Монтане очень просторно, -- немного мечтательно произносит ДеВиз. Он, Джон и преподаватель погружаются в ознакомительный разговор о различиях между Монтаной и Миннесотой.

Лошадь мирно пасется под нами, а сразу за ней в речке искрится вода. Разговор перешел на землю ДеВиза в этом каньоне, на то, сколько он здесь прожил, и что из себя представляет преподавание живописи в колледже. Джон владеет настоящим даром несерьезного разговора -- я так никогда не умел, поэтому помалкиваю и слушаю. Через некоторое время становится так жарко, что я снимаю свитер и расстегиваю рубашку. Чтобы к тому же не щуриться, я достаю и надеваю темные очки. Так лучше, но теневой стороны совсем не видно: я едва различаю лица и чувствую себя как-то визуально отстраненным от всего, кроме солнца и залитых солнцем склонов ущелья. Прикидываю, как бы нам распаковаться, но решаю вслух не настаивать. Они знают, что мы остаемся у них, но интуитивно позволяют всему идти, как идет. Сначала расслабимся, потом распакуемся. Куда спешить? Пиво и солнце начинают превращать мою голову в зефир. Очень мило.

Не знаю, через сколько времени слышу высказывание насчет «этой кинозвезды вон там» со стороны Джона и понимаю, что он имеет в виду меня и мои очки. Смотрю поверх них в тень и различаю, что ДеВиз, Джон и преподаватель живописи мне улыбаются. Должно быть, хотят, чтобы я принял участие в разговоре: что-то по поводу проблем в пути.

-- Они хотят знать, что бывает, если что-то сломается в механике, -- говорит Джон.

Я пересказываю им историю про то, как мы с Крисом попали в грозу, а двигатель заглох, -- история хорошая, но какая-то бессмысленная, соображаю я, чтобы служить ответом на его вопрос. Последняя строчка про закончившееся горячее, как полагается, вызывает стон.

-- А я ведь даже сказал, чтобы он посмотрел, -- вставляет Крис.

И ДеВиз, и Джинни отмечают, как Крис вырос. Он смущается и слегка краснеет. Они спрашивают про его маму и брата, и мы оба отвечаем, как можем.

Жара, наконец, становится настолько невыносимой, что я передвигаю стул в тень. От такого неожиданного озноба весь зефир улетучивается, и через несколько минут уже приходится застегиваться. Джинни замечает это: -- Как только солнце скроется вон за тем хребтом, похолодает по-настоящему.

Зазор между солнцем и хребтом узок. Я прикидываю, что хотя сейчас всего лишь середина дня, осталось меньше получаса прямого света. Джон спрашивает про горы зимой, и они с ДеВизом и преподавателем обсуждают лыжные горные походы. Я мог бы сидеть так целую вечность.

Сильвия, Джинни и жена преподавателя живописи разговаривают о доме, и вскоре Джинни приглашает их внутрь.

Мои мысли перемещаются на фразу о том, что Крис растет не по дням, а по часам, и неожиданно возникает ощущение гробницы. Я только косвенно слышал о том времени, когда Крис жил здесь, им же кажется, что он только-только уехал. Мы живем в совершенно разных временных структурах.

Разговор перескакивает на то, что сейчас актуально в живописи, музыке и театре, и меня удивляет, насколько хорошо Джон поддерживает свою сторону разговора. Мне, в основном, неинтересно, что нового происходит в этих областях, и он, возможно, это знает -- поэтому со мной никогда об этом не разговаривает. С уходом за мотоциклом -- наоборот. Интересно, у меня взгляд -- такой же остекленевший, когда я говорю о поршнях и стержнях?

Но у них с ДеВизом есть одно по-настоящему общее -- Крис и я. И здесь вот, начиная с подколки про кинозвезду, развивается такая смешная липучесть. Добродушный сарказм Джона по отношению к его старому приятелю по выпивкам и мотоциклам слегка остужает ДеВиза, что приводит у него к появлению уважительного тона ко мне. Этот тон, кажется, только увеличивает сарказм Джона, подливая масла в огонь, и они оба чувствуют это и как-то отруливают от меня к какой-нибудь общей теме, а потом возвращаются обратно, но липучесть возрастает, и они снова отруливают на другую приятную тему.

-- И все равно, -- говорит Джон, -- вот этот тип сказал, когда мы подъезжали, что мы здесь только приземлимся, а мы еще и не закончили это «приземление».

Я смеюсь. Я не хотел его на это настраивать. ДеВиз тоже улыбается. Но потом Джон поворачивается ко мне и говорит:

-- Слушай, ты, должно быть, *совсем* с ума сошел -- в смысле, совершенно *спятил* -- если уехал отсюда. Мне наплевать, какой здесь колледж.

Я вижу, как ДеВиз потрясенно смотрит на него. Потом сердито. Бросает взгляд на меня, и я отмахиваюсь. Возникает какой-то тупик, но я не знаю, как из него выбраться.

-- Прекрасное место, -- слабо отвечаю я.

ДеВиз оборонительно произносит:

-- Если б ты немного пожил здесь, то увидел бы и обратную сторону.

Преподаватель согласно кивает.

Тупик порождает молчание. Такое, при котором примирение невозможно. То, что сказал Джон, не было недобрым. Он добрее любого другого. Это знает он и знаю я, но не знает ДеВиз: от человека, о котором они оба говорят, сейчас осталось немного. Просто еще один представитель среднего класса средних лет, просто существует. В основном, беспокоится за Криса, а так -- ничего особенного.

Но того, что знают ДеВиз и я, не знают Сазерленды: кто-то *был* -- человек, который здесь когда-то жил, творчески горел какими-то идеями, о которых никто до этого не слышал, но потом случилось что-то необъяснимое и неправильное, и ни ДеВиз не знает, как или почему, ни я. Причина тупика, нехорошее чувство -- оттого, что ДеВиз думает, что этот человек сейчас здесь. И я никак не могу сказать ему, что это не так.

На короткое мгновение высоко на кромке хребта солнце разбивается стволами деревьев, и на нас опускается ореол света. Он расширяется, освещая все внезапной вспышкой, вдруг захватывает и меня тоже.

-- Он видел слишком много, -- говорю я, все еще думая о тупике, но ДеВиз, по всей видимости, озадачен, а Джон не воспринимает вообще, и я осознаю это *non sequitur*⁽¹⁰⁾ слишком поздно. Вдалеке жалобно кричит одинокая птица.

И вот солнце неожиданно исчезает за горой, и все ущелье погружается в тусклую тень.

Про себя я думаю, насколько непрошено это было. Таких заявлений просто так не делаешь. Выходишь из больницы с пониманием того, что не делаешь.

Появляются Джинни с Сильвией и предлагают нам распаковаться. Мы соглашаемся, и Джинни ведет нас в комнаты. Я вижу, что на моей постели -- теплое одеяло от ночного холода. Прекрасная комната.

За три ходки к мотоциклу и обратно я переносу все. Потом иду в комнату Криса посмотреть, не нужно ли чего разложить у него, но он бодр, взросл, и помощь ему не нужна.

Я смотрю на него:

-- Как тебе здесь нравится?

-- Здорово, но совсем не похоже на то, что ты вчера вечером рассказывал.

-- Когда?

-- Перед тем, как ложиться спать. В хижине.

Я не понимаю, о чем он. Крис прибавляет:

-- Ты сказал, что здесь одиноко.

-- Чего ради мне было *такое* говорить?

-- Я откуда знаю?

Мой вопрос раздражает его, поэтому я оставляю тему. Должно быть, ему приснилось.

Когда мы спускаемся в гостиную, я чую аромат жарящейся на кухне форели. В углу ДеВиз склонился над камином, поднося спичку к газете под растопкой. Мы некоторое время наблюдаем за ним.

-- Топим камин все лето, -- объясняет он.

Я отвечаю:

-- Странно, что здесь так холодно.

Крис говорит, что тоже замерз.

Я отсылаю его за свитером и прошу захватить мой тоже.

-- Это вечерний ветер, -- говорит ДеВиз. -- Дует по ущелью с высоты -- вот там действительно холодно.

Пламя внезапно вспыхивает, затем угасает, потом вспыхивает опять -- от неровной тяги. Должно быть, ветрено; я выглядываю из огромных окон, составляющих целую стену гостиной. В сумерках на той стороне ущелья вижу редкие движения деревьев.

-- Но правильно, -- говорит ДеВиз, -- ты сам знаешь, как холодно наверху. Ты же там обычно все время проводил.

-- Возвращает воспоминания, -- говорю я.

На ум приходит один обрывок: порывы ночного ветра вокруг лагерного костра -- он меньше, чем тот, что сейчас перед нами, защищен скалой от верхнего ветра, потому что вокруг нет деревьев. Рядом с костром -- кухонная утварь и рюкзаки, чтобы было лишнее укрытие от ветра, канистра с талой водой. Воду надо собирать рано, потому что выше границы лесов снег не тает, когда солнце садится.

ДеВиз говорит:

-- Ты сильно изменился.

Он искательно смотрит на меня. Его выражение лица, кажется, спрашивает, запрещенная это тема или нет, и по моему виду он догадывается, что да. Добавляет:

-- Все мы так, наверное.

Я отвечаю:

-- Я совсем не тот человек, что прежде. -- И это, кажется, приносит ему некоторое облегчение. Осознавал бы он буквальную правду этого, облегчение было бы намного *меньшим*.

-- Много чего произошло, -- говорю я, -- и возникло кое-что, из-за чего потребовалось все это немного распутать, по крайней мере, в моей собственной голове, -- вот, отчасти, почему я здесь.

Он смотрит на меня, ожидая продолжения, но у камина появляются преподаватель живописи и его жена, и мы замолкаем.

-- Судя по шуму ветра, ночью будет буря, -- говорит преподаватель.

-- Не думаю, -- отвечает ДеВиз.

Возвращается Крис со свитерами и спрашивает, есть ли в ущелье какие-нибудь призраки.

ДеВиз смотрит на него удивленно и весело:

-- Нет, но есть волки.

Крис задумывается и спрашивает:

-- А что *они* делают?

-- Доставляют неприятности скотоводам, -- хмурится ДеВиз. -- Убивают телят и ягнят.

-- А людей преследуют?

-- Никогда не слыхал, -- отвечает ДеВиз и, видя, что это Крис разочарован, добавляет: -- Но вполне *могли бы*.

За обедом форель из ручья сопровождается массачусетским шабли. Мы сидим порознь в креслах и на диванах по всей гостиной. Одна стена комнаты целиком занята окнами, которые выходили бы на ущелье, но сейчас снаружи темно, и они отражают лишь огонь в камине. К его теплу примешивается внутреннее тепло от вина и рыбы, и мы почти ничего не говорим, если не считать одобрительного бормотания.

Сильвия вполголоса просит Джона посмотреть на большие горшки и вазы, расставленные по комнате.

-- Я обратил внимание, -- реагирует Джон. -- Здорово.

-- Работы Питера Вулкаса, -- говорит Сильвия.

-- Да ты что?

-- Он был учеником мистера ДеВиза.

-- Ох Господи! А я чуть было одну не опрокинул.

ДеВиз смеется.

Джон несколько раз принимается ворчать что-то себе под нос, потом поднимает глаза и объявляет:

-- Это всё... для нас это -- просто *всё*... Теперь можно возвращаться на Колфэкс-авеню, двадцать шесть-сорок девять еще на восемь лет.

Сильвия скорбно произносит:

-- Давай не будем об этом.

Джон на мгновение останавливает свой взгляд на мне:

-- Полагаю, тот, у кого есть друзья, способные организовать такой вечер, не может быть *совсем* плохим. -- Он сурово кивает головой. -- Придется взять назад все, что я думал о тебе.

-- *Всё*?

-- Ну, кое-что, во всяком случае.

ДеВиз и преподаватель улыбаются, и тупик немного рассасывается.

После обеда приезжают Джек и Уилла Барснессы. Снова ожившие фотографии. Джек запечатлен в гробничных фрагментах как хороший человек, пишущий и преподающий английский в колледже. За их приездом следует появление скульптора с севера Монтаны, который зарабатывает тем, что пасет овец. По тому, как ДеВиз представляет его, я догадываюсь: предполагается, что до этого я его не встречал.

ДеВиз сообщает, что пытается убедить скульптора поступить работать на факультет, а я говорю:

-- Я попытаюсь его отговорить от этого, -- и подсаживаюсь к нему, но беседа то и дело застывает, поскольку скульптор крайне серьезен и подозрителен: очевидно, потому, что я не художник. Я в его глазах похож на следователя, пытающегося пришить ему дело, и только когда выясняется, что я много занимаюсь сваркой, со мною становится все в порядке. Уход за мотоциклом открывает странные двери. Он говорит, что варит металл по причинам, сходным с моими. Когда наберешься опыта, сварка дает громадное ощущение силы и власти над металлом. Можешь сделать все. Он вытаскивает несколько фотографий своих работ: прекрасные птицы и звери с текущей металлической текстурой поверхностей, ни на что не похожие.

Позже я пересаживаюсь и беседую с Джеком и Уиллой. Джек уезжает отсюда, чтобы возглавить отделение английской филологии в Бойсе, Айдахо. К отделению здесь он, кажется, относится сдержанно, но отрицательно. Еще бы, иначе бы он и не уезжал. Я припоминаю, что он, в основном, писал прозу, преподавая английский, а не занимался наукой систематически. На отделении существовал длительный раскол между этими направлениями, который отчасти положил начало -- или, по крайней мере, ускорил рост -- того дикого набора идей Федра, о которых никто никогда не слышал, а Джек склонялся к тому, чтобы поддерживать Федра, поскольку хотя и не был уверен в том, что понимал его, но видел, что это не просто лингвистический анализ, а с этим материалом мог работать прозаик. Раскол старый. Как между искусством и историей искусства. Один делает, а другой говорит о том, как это делается, и разговоры о том, как это делается, кажется, никогда не совпадают с тем, как это делается в действительности.

ДеВиз приносит какие-то инструкции по сборке жаровни для шашлыков и просит меня оценить их с точки зрения научного писателя-профессионала. Он потратил весь день на сборку этой хреновины и хочет, чтобы эти инструкции целиком и полностью провалились сквозь землю.

Но я их читаю, и выглядят они вполне нормальными инструкциями. Прямо и не знаю, к чему придраться.

Конечно, я не хочу говорить этого вслух, поэтому старательно ищу какую-нибудь зацепку. Нельзя сказать, правильны ли инструкции, пока не проверишь их на аппарате или процессе, который они описывают; я же вижу только разбивку по страницам, мешающую непрерывному чтению, приходится постоянно скакать от текста к иллюстрациям -- это всегда плохо. Начинаю пинать этот недостаток очень сильно, и ДеВиз поощряет каждый мой пинок. Крис берет инструкции посмотреть, что я имею в виду.

Но пока я их уничтожаю таким вот образом, описывая муки неправильного понимания, которые могут вызвать плохо составленные ссылки, у меня возникает чувство, что ДеВизу так трудно их понять вовсе не по этой причине. Просто в них не хватает гладкости и непрерывности, и это его оттолкнуло. Он не способен понимать вещи, когда они появляются в безобразном, рубленом стиле, с гротескными фразами, свойственными инженерным и техническим текстам, научным работам, где одни ломти, обрывки и куски, а непрерывность только подразумевается; ДеВиз же работает только с непрерывностями вещей, где подразумеваются уже ломти, обрывки и куски. На самом деле, он хочет, чтобы я проклял недостаток художественной непрерывности -- то, на что инженеру было бы глубоко наплевать. В действительности, обвинять в этом можно классическо-романтический раскол -- как и во всем остальном, касающемся технологии.

Крис же тем временем берет инструкции и складывает их так, как мне не приходило в голову: иллюстрация теперь располагается рядом с текстом. Я осмысливаю это раз, затем -- другой и начинаю чувствовать себя героем мультфильма, который только что прошел край утеса, но еще не упал, поскольку не понял, что с ним такое приключилось. Киваю, наступает молчание, -- и затем я осознаю, что приключилось со мной, и начинается долгий приступ хохота, разносящегося до самого дна ущелья, когда я луплю Крису по макушке. Хохот утихает, и я произношу:

-- Ну, все равно... -- Но хохот начинается по новой.

-- Я вот что хотел сказать, -- наконец, встречаю я, -- у меня дома есть инструкция, которая открывает необозримые горизонты для улучшения технического письма. Она начинается так: «Сборка японского велосипеда требует огромного душевного спокойствия».

Хохот возобновляется, но у Сильвии, Джинни и скульптора на лицах появляется осознанное узнавание.

-- Это хорошая инструкция, -- говорит скульптор. Джинни согласно кивает.

-- Наверное, именно поэтому я ее и сохранил, -- отвечаю я. -- Сначала я смеялся, вспоминая те велосипеды, которые собирал, -- конечно, только из-за нечаянного сдвига в ударе на то, что производство -- японское. Но в этом утверждении -- бездна смысла.

Джон опасно смотрит на меня. Я гляжу на него с такой же опаской. Смеемся оба. Он говорит:

-- Профессор сейчас нам разъяснит.

-- Спокойствие духа, на самом деле, вовсе не эфемерно, -- разъясняю я. -- Тут всё вместе. Оно возникает при хорошем уходе; нарушается при плохом уходе. То, что мы называем обрабатываемостью машины, -- просто объективация этого спокойствия духа. Испытание в последней инстанции -- всегда твое собственное спокойствие. Если его нет, когда начинаешь работать, а продолжаешь все равно, то, скорее всего, вмонтируешь свои личные проблемы прямо в саму машину.

Они смотрят на меня, обдумывая, что я сказал.

-- Концепция непривычная, -- продолжаю я, -- но привычный разум подтверждает ее. Материальный объект наблюдения, будь то мотоцикл или жаровня, не может быть правильным или неправильным. Молекулы есть молекулы. У них нет этических кодексов, которым надо следовать, если не считать тех, что сообщают им люди. Испытание машины -- это удовлетворение, которое оно тебе приносит. Никакого другого испытания нет. Если машина передает тебе успокоенность, то это правильно. Если она тебя беспокоит, это неправильно до тех пор, пока не изменится либо машина, либо твой ум. Испытание машины -- всегда твой собственный разум. Другого испытания нет.

ДеВиз спрашивает:

-- А что, если машина неправильна, а я по ее поводу умиротворен?

Смех.

-- Ты противоречишь самому себе, -- отвечаю я. -- Если тебе *действительно* наплевать, то ты и не *узнаешь*, что она неправильна. Такая мысль просто никогда не придет тебе в голову. Само произнесение того, что она неправильна, -- уже форма причастности.

-- Более распространено то, -- прибавляю я, -- что ты ощущаешь беспокойство, даже если она правильна, и я думаю, что здесь -- как раз тот случай: если ты встревожен, то это неправильно. Это означает, что она недостаточно тщательно проверена. В любой производственной ситуации непроверенная машина -- «отрубленная» машина, ее нельзя использовать, даже если она работает идеально. Твое беспокойство о жаровне -- из той же оперы. Ты не выполнил окончательного требования -- достигнуть спокойствия духа, поскольку чувствуешь, что эти инструкции слишком сложны, и, возможно, ты не понял их так, как нужно.

-- Ну, а как бы ты их изменил? -- спрашивает ДеВиз. -- Чтобы я достиг этого спокойствия духа?

-- Тут потребуются изучать гораздо больше, чем я только что им уделил. Все уходит очень глубоко. Эти инструкции к жаровне начинаются и заканчиваются исключительно в машине. Но тот подход о котором я думаю, так узко это не препарирует. На самом деле в инструкциях подобного рода злит как раз то, что они подразумевают, мол, существует только один способ сборки жаровни -- *их* способ. И это предположение начисто стирает все творчество. На самом деле, существуют сотни способов собрать жаровню, а когда тебя заставляют следовать только одному, не показывая всей проблемы в целом, то инструкциям становится трудно следовать так, чтобы не наделать ошибок. Теряешь всякий вкус к работе. И еще одно: маловероятно, что тебе сообщили самый лучший способ.

-- Но инструкция же с *фабрики*, -- говорит Джон.

-- Я *сам* -- тоже с фабрики, -- отвечаю я, -- и я *знаю*, как составляют подобные инструкции. Выходишь на конвейер с магнитофоном, и мастер посылает тебя поговорить с каким-нибудь парнем -- из тех, кто ему сейчас меньше всего нужен, с самым большим придурком; то, что он тебе расскажет, и станет инструкцией. Другой парень, может, рассказал бы нечто совершенно противоположное и, может, даже гораздо лучше, -- но он слишком занят.

Все удивлены.

-- Мне следовало это знать, -- выдавливает ДеВиз.

-- Все дело в формате, -- говорю я. -- Ни один писатель не попрек против него. Технология подразумевает, что существует только один верный способ делать вещи, а на самом деле так никогда не бывает. И когда подразумеваешь, что существует только один верный способ делать вещи, то, конечно же, инструкции начинаются и заканчиваются исключительно в жаровне. Но если тебе нужно выбирать из неопределенного количества способов ее сборки, то отношение машины к тебе и отношение вас с машиной ко всему остальному миру следует рассматривать особо, потому что выбор из множества вариантов, *искусство* работы, в такой же степени зависит от твоего собственного ума и духа, как и от материала машины. Вот почему необходимо спокойствие духа.

-- В действительности, идея не так уж странна, -- продолжаю я. -- Посмотри как-нибудь на новичка-рабочего или на плохого рабочего и сравни выражение его лица с выражением лица мастера, работу которого считаешь отличной, -- сразу увидишь разницу. Мастер никогда не пользуется ни единой строчкой инструкций. Он

принимает решения по мере продвижения. По этой причине он будет поглощен работой и внимателен к тому, что делает, даже если он ничего специально не изобретает. Его движения и движения машины -- в какой-то гармонии. Он не следует никакому набору записанных инструкций, потому что природа подручного материала определяет его мысли и движения, одновременно изменяющие природу подручного материала. Материал и его мысли изменяются вместе последовательностью изменений до тех пор, пока его ум не успокаивается в то же самое мгновение, когда материал становится правильным.

-- На целое искусство похоже, -- замечает преподаватель.

-- Это и *есть* искусство, -- отвечаю я. -- Развод искусства и технологии совершенно неестественен. Он просто длится уже так долго, что нужно быть археологом, чтобы обнаружить, где они впервые разлучились. Сборка жаровни, на самом деле, -- давно утраченная ветвь скульптуры, настолько отъединенная от своих корней веками неверных интеллектуальных поворотов, что даже просто поставить их рядом -- и то звучит смехотворно. Они не уверены, разыгрываю я их или нет. ДеВиз спрашивает:

-- Ты имеешь в виду, что когда я собирал эту жаровню, я, на самом деле, лепил скульптуру?

-- Конечно.

Он переворачивает это в уме, улыбаясь все шире и шире.

-- Вот бы мне *тогда* это знать, -- произносит он. За этой репликой следует смех.

Крис говорит, что не понимает, что я сказал.

-- Все в порядке, Крис, -- говорит Джек Барнсес. -- Мы тоже.

Снова смех.

-- Мне обычная скульптура милее, -- говорит скульптор.

-- А мне -- мое рисование, -- говорит ДеВиз.

-- А я, наверное, просто буду барабанить себе и дальше, -- изрекает Джон.

Крис спрашивает:

-- А ты с чем собираешься остаться?

-- С моими пистолетами, парень, с моими пистолетами, -- отвечаю я. -- Таков Закон Запада.

Все над этим очень сильно смеются, и мое речеизвержение, кажется, прощено. Когда в голове Шатокуа, очень трудно не навязывать его невинным людям.

Разговор дробится на группки, и я провожу остаток вечеринки за беседой с Джеком и Уиллой о развитии отделения английской филологии.

Когда вечер завершается, и Сазерленды с Крисом уже ушли спать, ДеВиз, тем не менее, вспоминает мою лекцию. Он произносит серьезно:

-- То, что ты сказал про инструкции к жаровне, было интересно.

Джинни тоже серьезно добавляет:

-- Будто ты долго об этом думал.

-- Я думал о концепциях, лежащих в основе этого, двадцать лет, -- отвечаю я.

За креслом передо мной искры взмывают в каминную трубу, ветер вытягивает их наружу: он теперь сильнее, чем прежде.

Я снова добавляю, почти что самому себе:

-- Смотришь, куда идешь и где находишься, и это никогда не имеет смысла, но потом оглядываешься на то, где был, и там, кажется, проявляется какой-то порядок. А если спроецируешь этот порядок вперед, то бывает, что к чему-нибудь и приходишь.

Все разговоры про технологию и искусство -- часть порядка, который, наверное, возник из моей собственной жизни. Он представляет собой высший порядок чего-то такого, границы которого многие другие, думаю, попытаются пересечь.

-- Как это?

-- Ну, дело не просто в искусстве и технологии. Дело в каком-то несращении разума и чувства. С технологией не в порядке то, что она никак по-настоящему не связана с делами духа и сердца. Поэтому она вполне случайно делает слепые, безобразные вещи, и ее за это ненавидят. Люди на это раньше не обращали особого внимания, поскольку их в основном заботили пища, одежда и укрытие для каждого, а технология это предоставляла.

Но теперь, когда все это гарантируется, безобразие замечают всё больше и больше, и люди уже спрашивают, всегда ли мы должны страдать духовно и эстетически, чтобы удовлетворить материальные потребности. В последнее время это стало почти национальным кризисом -- марши против загрязнения, антитехнологические коммуны, стили жизни и все такое.

И ДеВиз, и Джинни все это поняли, поэтому пока нет необходимости пояснять, и я продолжаю:

-- Из порядка моей собственной жизни возникает вера в то, что причина кризиса -- в неспособности существующих форм мысли справиться с ситуацией. Ее не могут разрешить рациональные средства, поскольку источник проблемы -- сама рациональность. Решают ее только те, кто решает ее на личном уровне, посылая к чертям всю «квадратную» рациональность и следуя одним лишь чувствам. Как Джон и Сильвия. И миллионы других -- таких же, как они. И это мне кажется тоже неверным направлением. Поэтому я, наверное, вот что сейчас пытаюсь сказать: решение проблемы -- не в том, чтобы послать рациональность к чертям вообще, а в том, чтобы расширить природу рациональности так, чтобы она была способна породить решение.

-- Я полагаю, что не понимаю, что ты имеешь в виду, -- говорит Джинни.

-- Ну, это такая довольно самостоятельная операция. Аналогичная тому пунктику, что присутствовал у сэра Исаака Ньютона, когда тот хотел решить проблемы мгновенных коэффициентов изменения. В его время было

неразумно думать о чем-то изменяющемся в нулевое количество времени. И в то же время почти необходимо математически работать с другими нулевыми количествами, такими как точки в пространстве и времени, которые никто вовсе не считал неразумными, хотя на самом деле разницы никакой нет. Поэтому Ньютон и сказал в сущности, мол, «мы *допустим*, что существует такая вещь, как мгновенное изменение, и посмотрим, можно ли найти способы определения, что это такое в различных применениях». Результат этого допущения -- отрасль математики, известная под названием «исчисление», -- им ныне пользуется каждый инженер. Ньютон *изобрел* новую форму размышления. Он расширил размышление так, чтобы то могло справляться с бесконечно малыми изменениями, и я думаю, сейчас необходимо как раз такое же расширение размышления, чтобы оно могло иметь дело с технологическим безобразиями. Беда в том, что это расширение должно производиться в корне, а не в ветвях, а поэтому увидеть его очень трудно.

Мы живем в вывернутое время, и я считаю, что причиной такого вывернутого ощущения служит неспособность старых форм мысли справиться с новым опытом. Говорят, подлинное познание получается только из «пунктиков», идефиксов, где вместо расширения ветвей того, что уже знаешь, приходится останавливаться и некоторое время смещаться в сторону -- пока не наткнешься на то, что позволит расширить корни того, что уже знаешь. Все с этим знакомо. Думаю, то же самое происходит с целыми цивилизациями, когда такое расширение необходимо в корнях.

Оглядываясь на последние три тысячи лет, и задним умом полагаешь, что видишь аккуратные порядки и цепочки причин и следствий, которые произвели вещи такими, какие они есть. Но если пойдешь к изначальным источникам, к литературе какой-то определенной эры, то обнаружишь, что эти причины никогда не были очевидными в то время, когда, как ты считаешь, они действовали. В периоды корневого расширения все выглядело так же перемешанным, вывернутым и бесцельным, как и сейчас. Считается, что все Возрождение пошло от вывернутого ощущения, возникшего после того, как Колумб открыл Новый Свет. Это просто встряхнуло людей. Вывернутость того времени записана везде. Во взглядах Ветхого и Нового Заветов на землю как на плоскость ничего не предсказывало такого. И все же люди не могли этого отрицать. Принять это можно было только полностью отказавшись от средневекового мировоззрения и начав новое расширение мышления. Колумб стал настолько букварным стереотипом, что уже почти невозможно представить его живым человеком. Но если по-настоящему удастся сдержать настоящее знание о последствиях его путешествия и спроецировать себя в его положение, то начнешь видеть, что наше сегодняшнее освоение луны неизбежно выглядит простым чаепитием по сравнению с тем, через что пришлось пройти ему. Освоение луны не означает подлинного корневого расширения мысли. У нас нет причин сомневаться в том, что существующие формы мысли способны с этим справиться. На самом деле, оно -- просто продолжения ветвей того, что сделал Колумб. По-настоящему новое освоение, которое для нас сегодня выглядело бы как Колумб для всего мира, должно было бы располагаться в совершенно ином направлении.

-- Типа?

-- Типа сфер за пределами разума. Я думаю, что разум сегодняшнего дня подобен плоской земле средневековья. Если зайдешь слишком далеко, то считается, что свалишься -- в безумие. А люди этого очень боятся. Думаю, эта боязнь безумия сравнима со страхом упасть с края мира, который у людей когда-то был. Или с боязнью еретиков. Очень близкое сходство.

Но с каждым годом наша плоская старушка-земля привычного разума все менее и менее способна справиться с опытом, который у нас накапливается, и это создает широко распространенные ощущения вывернутости. В результате получается, что все больше и больше народу вовлекается в иррациональные сферы мышления -- оккультизм, мистицизм, наркотические изменения и тому подобное, -- поскольку эти люди чувствуют неспособность классического разума справиться с тем, что, как они знают, является реальным опытом.

-- Я не совсем понял, что ты имеешь в виду под *классическим* разумом.

-- Аналитический, диалектический разум. Разум, который в Университете иногда считается всем пониманием целиком. На самом же деле, тебе никогда *не приходилось* понимать его. Он всегда терпел полное банкротство по отношению к абстрактному искусству. Непредставительное искусство -- часть того корневого опыта, о котором я говорю. Некоторые до сих пор осуждают его, поскольку оно не имеет «смысла». На самом же деле здесь не само искусство не в порядке, а «смысл», классический разум, который не может его постичь. Люди по-прежнему ищут продолжения ветвей разума, которые охватили бы новейшие события в искусстве, но ответы -- не в *ветвях*: они у корней.

Вот яростно набрасывается порыв ветра с горы.

-- Древние греки, -- говорю я, -- которые изобрели классический разум, были гораздо умнее, нежели просто использовать его исключительно для предсказания будущего. Они слушали ветер и по нему предсказывали будущее. Сейчас это звучит безумно. Но чего ради изобретатели разума должны казаться безумцами?

ДеВиз прищуривается:

-- А как они могли предсказывать будущее по ветру?

-- Не знаю; может, так же, как художник может предсказать будущее своей картины, глядя на пустой холст. Вся наша система знания произрастает из их результатов, нам еще только предстоит понять методы, повлекшие за собой такие результаты.

Я на минуту задумываюсь, а потом говорю:

-- Когда я был здесь в последний раз, я много говорил о Церкви Разума?

-- Да, достаточно много.

-- А я говорил о некоем Федре?

-- Нет.

-- Кто это? -- спрашивает Джинни.

-- Древний грек... ритор... «основной состав» своего времени. Один из тех, кто присутствовал при изобретении разума.

-- Ты никогда о нем не рассказывал -- я не помню.

-- Должно быть, это пришло позже. Риторы Древней Греции были первыми учителями в истории Западного Мира. Платон поносил их во всех своих трудах, чтобы отшлифовать собственную ось, и с тех пор почти все, что мы знаем о них, мы знаем от Платона: они уникальны потому, что выстояли, проклятые всей историей, а им даже не дали высказаться. Церковь Разума, о которой я говорил, стоит на их могилах. Она и сегодня поддерживается их могилами. А если начнешь глубоко зарываться в ее основания, то наткнешься на призраков. Смотрю на часы. Третий час.

-- Долгая история, -- говорю я.

-- Тебе надо было все это записать, -- говорит Джинни.

Я согласно киваю:

-- Я задумал серию лекций-эссе -- что-то типа Шатокуа. Я пытался их разработать в уме, пока мы сюда ехали... Может, поэтому чувствуется, что я так подкован. Это все необъятно и трудно. Как путешествовать по горам пешком.

Беда в том, что эссе обязательно звучат так, будто Господь Бог лепит нетленку, -- а так, на самом деле, никогда не бывает. Люди должны видеть, что там всегда просто кто-то один говорит из одной точки во времени, пространстве и обстоятельствах. И по-другому никогда не было, но передать это в эссе невозможно.

-- Ты все равно должен это сделать, -- говорит Джинни. -- Не пытаюсь достичь совершенства.

-- Наверное, -- отвечаю я. ДеВиз спрашивает:

-- А это увязывается с тем, что ты делал по поводу «Качества»?

-- Это его непосредственный результат.

Я кое-что припоминаю и смотрю на ДеВиза:

-- Разве ты мне не советовал бросить?

-- Я только сказал, что никто никогда не преуспевал в том, что пытался делать ты.

-- А ты думаешь, это вообще возможно?

-- Не знаю. Кто знает? -- Он действительно этим озабочен, видно по лицу. -- Сейчас больше людей научилось слушать лучше. Особенно молодые. Они действительно слушают... не просто так -- они *вслушиваются... в тебя*. Огромная разница.

Ветер со снежных полей наверху долго звучит по всему дому. Этот звук становится громче и выше, словно ветер надеется вымести весь дом целиком, всех нас -- прочь, в никуда, чтобы в ущелье все было как раньше, но дом стоит, и ветер снова замирает, побежденный. Потом возвращается, нанося легкий отвлекающий удар с дальней стороны, а затем тяжелым порывом обрушивается на нашу стену.

-- Я все еще слушаю ветер, -- говорю я. -- Думаю, когда Сазерленды уедут, нам с Крисом надо будет забраться туда, где он начинается. Мне кажется, Крису пора получше увидеть эту страну.

-- Можете начать прямо отсюда, -- говорит ДеВиз, -- и пойти назад, вверх по ущелью. Там нет дороги на семьдесят пять миль.

-- Тогда здесь и начнем, -- отвечаю я.

Наверху я снова рад теплоту одеялу. Похолодало, и оно понадобится. Быстро раздеваюсь, ныряю поглубже -- там тепло, очень тепло -- и долго думаю о снежных полях, ветрах и Христофоре Колумбе.

Два дня Джон, Сильвия, Крис и я бездельничаем, болтаем и ездим в старый шахтерский городок и обратно -- и вот уже Джону с Сильвией пора поворачивать домой. Теперь мы едем в Бозмен из каньона вместе в последний раз.

Сильвия впереди оборачивается уже в третий раз, очевидно, убедиться, что с нами все в порядке. Последние два дня она была очень тихой. Вчера мне показалось, что она глядит на нас с опаской, почти со страхом. Слишком беспокоится за нас с Крисом.

В баре Бозмена пьем по последнему пиву и обсуждаем с Джоном маршруты возвращения. Потом произносим ни к чему не обязывающие слова о том, как все хорошо было, как мы скоро увидимся, и внезапно становится очень грустно разговаривать вот так -- будто обычные знакомые.

На улице Сильвия поворачивается к нам с Крисом и говорит:

-- У вас все будет хорошо. Беспокоиться не о чем.

-- Конечно, -- отвечаю я.

Снова тот же испуганный взгляд.

Джон заводит мотоцикл и ждет ее.

-- Я тебе верю, -- говорю я.

Она отворачивается, садится позади Джона и вместе с ним наблюдает за встречным движением, чтобы выбрать момент и выехать на трассу.

-- Увидимся, -- говорю я.

Она снова бросает на нас взгляд -- на этот раз безо всякого выражения. Джон выбирает момент и выезжает на полосу движения. Потом Сильвия машет нам, как в кино. Мы с Крисом машем ей в ответ. Их мотоцикл растворяется в густом потоке машин, выезжающих из штата. Я долго за ним наблюдаю.

Смотрю на Криса, а Крис смотрит на меня. Ничего не говорит.

Утро мы проводим сначала в парке на скамейке с надписью «ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН», потом покупаем еду и меняем шину и звено регулятора цепи на заправочной станции. Звено надо подогнать, поэтому мы ждем и прогуливаемся в стороне от центральной улицы. Подходим к церкви и садимся на лужайке перед нею. Крис укладывается на траву и накрывает лицо курткой.

-- Ты устал? -- спрашиваю я.

-- Нет.

Между нами и краем гор к северу воздух подрагивает от жары. Жучок с прозрачными крылышками цепляется на травинку рядом с ногой Криса. Я наблюдаю, как он изгибает крылышки, и чувствую, что лень одолевает меня с каждой минутой. Я тоже укладываюсь поспать, но не засыпаю. Толкает какое-то беспокойное чувство.

Поднимаюсь.

-- Давай немного пройдемся, -- предлагаю я.

-- Куда?

-- К школе.

-- Пошли.

Мы идем под тенистыми деревьями по очень аккуратным тротуарчикам мимо аккуратных домиков. На этих улицах для меня -- много маленьких сюрпризов узнавания. Припоминать круто. Он ходил тут много раз. Лекции. Он готовил свои лекции перипатетически, бродя по улицам, как по своей академии.

Предмет, который его пригласили здесь преподавать, назывался риторика, письмо, второе из трех «р»⁽¹¹⁾. Он должен был вести углубленный курс технического письма и немного из начального курса английского языка.

-- Ты помнишь эту улицу? -- спрашиваю я Криса.

Он оглядывается по сторонам и говорит:

-- Мы здесь ехали на машине искать тебя. -- Он показывает через дорогу. -- Я помню смешную крышу на том доме... Тот, кто первым тебя увидит, получит монету. А потом мы остановились и посадили тебя на заднее сиденье, а ты с нами даже не разговаривал.

-- Я тогда очень сильно думал.

-- Мама тоже так сказала.

Он действительно думал сильно. Сокрушающее бремя преподаательства плохо само по себе, но для него гораздо хуже было то, что он своим точным аналитическим путем приходил к пониманию, что предмет, которому он учит -- вне всякого сомнения, самая неточная, неаналитическая, аморфная сфера во всей Церкви Разума. Поэтому-то он и думал так сильно. Для методичного, лабораторно натренированного ума риторика совершенно безнадежна. Похожа на громадное Саргассово море застоявшейся логики.

В большинстве курсов риторики для начинающих предполагается всего лишь, что прочтешь небольшое эссе или рассказ, обсудишь, как писатель добился определенных маленьких эффектов определенными маленькими штучками, а потом заставишь студентов написать по подражательному маленькому эссе или рассказу, чтобы посмотреть, смогут ли они сделать те же самые маленькие штучки. Он снова и снова пытался так делать, но никогда ничего не вытанцовывалось. В результате такой тщательно просчитанной мимикрии студенты редко добивались чего-либо вообще, хоть отдаленно похожего на модели, которые он им давал. Гораздо чаще их стиль только ухудшался. Казалось, будто каждое правило, которое он честно пытался с ними открыть и выучить, было настолько полно исключений, противоречий, оговорок и путаницы, что хотелось с самого начала никогда на это правило не наткнуться.

Студент всегда спрашивал, как это правило будет применяться в определенных особых обстоятельствах. У Федра в таких случаях имелся выбор: попытаться прогнать дурочку посредством наспех сляпанного объяснения, как оно работает, или пойти на самопожертвование и сказать, что он думает на самом деле. А на самом деле он думал, что правило *приляпано* к написанному после того, как писание завершено. Правило существует *post hoc*, после факта -- вместо того, чтобы существовать до него. И он убедился в том, что все писатели, которым студенты, как было задумано, будут подражать, писали безо всяких правил, заноса на бумагу все, что для них правильно звучало, потом возвращаясь посмотреть, по-прежнему ли оно правильно звучит, и изменяя что-то, если этого не происходило. Были и некоторые, кто, видимо, писал с заранее рассчитанным намерением -- поскольку так выглядел их продукт. Но такой взгляд его не устраивал. В нем был кое-какой сироп, как разлилась однажды Гертруда Стайн, но он не выливался. Как же будешь обучать тому, что не обдуманно

заранее? Совершенно невозможное требование, кажется. Он просто брал текст, комментировал его, не обдумывая ничего заранее, и надеялся, что студенты из этого что-то выудят. Это его не удовлетворяло.

Вот оно, впереди. Бьет напряжение, -- ощущение в желудке то же самое, -- пока мы подходим.

-- Ты помнишь это здание?

-- Ты тут раньше преподавал... зачем мы туда идем?

-- Не знаю. Просто хотел взглянуть.

Народу вокруг немного. Конечно, чего ради? Летняя сессия. Огромный и странный фронто́н над старым темно-коричневым кирпичом. Действительно, прекрасное здание. Оно единственное кажется здесь уместным. Старая каменная лестница к дверям. Ступени с ложбинкой, протертой миллионами шагов.

-- Зачем мы идем внутрь?

-- Шшш. Помолчи пока просто.

Я открываю огромную, тяжелую наружную дверь и захожу. Внутри -- еще лестницы, изношенные и деревянные. Скрипят под ногой и пахнут сотнями лет подметания и вошения. На полпути вверх я останавливаюсь и слушаю. Вообще никаких звуков.

Крис шепчет:

-- Зачем мы *здесь*?

Я только качаю головой. Слышно, как снаружи проезжает машина.

Крис шепчет:

-- Мне здесь не нравится. Здесь *жутко*.

-- Тогда выйди на улицу, -- говорю я.

-- Ты тоже.

-- Потом.

-- Нет, сейчас.

Он смотрит на меня и видит, что я остаюсь. У него -- такой испуганный взгляд, что я уже почти передумываю, как вдруг выражение его лица ломается, он разворачивается, сбегает по лестнице и выскакивает на улицу прежде, чем я успеваю броситься за ним.

Внизу закрывается большая тяжелая дверь, и я остаюсь совсем один. Жду какого-то звука... Чьего?.. *Его*?..

Слушаю долго.

Половицы мрачно скрипят, когда я иду по коридору; скрип сопровождается жуткой мыслью, что это идет *он*. В этом месте он -- реальность, а я -- призрак. Я вижу, как его рука ложится на дверную ручку одного из классов, задерживается, потом медленно поворачивает ее и толкает дверь.

Комната внутри ждет точно так же, как в памяти, как если бы он сейчас был здесь. Он и *есть* сейчас здесь.

Осознает все, что я вижу. Все вспыхивает и вибрирует воспоминанием.

Длинные темно-зеленые доски по обеим сторонам облупились и нуждаются в починке -- как и раньше. Мел -- мела никогда нет, если не считать маленьких тупых огрызков в ложбинке -- пока есть. За доской -- окна, и сквозь них видны горы, на которые он смотрел в раздумье в те дни, когда студенты писали. Он сидел у батареи отопления с кусочком мела в одной руке и смотрел в окно на горы, изредка прерываемый вопросом студента: «А нам надо...?» И он оборачивался и отвечал на что бы то ни было, и в этом было единение, которого он прежде никогда не знал. То было место, где его *принимали* -- как самого себя. Не как того, кем он мог быть или должен был быть, а как самого себя. Место, полностью принимавшее его -- слушавшее его. Он все отдавал ему. Не одна комната -- тысяча, каждый день менявшихся вместе с бурями, снегами и узорами облаков в горах, с каждым классом и даже с каждым студентом. Каждая пара всегда непохожа на другую, и для него всегда было тайной, что принесут следующие...

Мое ощущение времени утрачено, когда я слышу скрип шагов в холле. Он все громче, потом замирает у дверей класса. Ручка поворачивается. Дверь открывается. Внутрь заглядывает женщина.

У нее агрессивное лицо, словно кого-то собиралась здесь поймать. На вид около тридцати, не очень симпатичная.

-- Мне показалось, я кого-то видела, -- говорит она. -- Я думала... -- У нее на лице недоумение: -- О Господи... -- говорит она. -- Это *вы*?

Я ее совсем не узнаю. Совсем.

Она называет меня по имени, и я киваю: да, это я.

-- Вы вернулись.

Я качаю головой:

-- Заглянул на минутку.

Она продолжает на меня таращиться, пока это не становится неудобным. Теперь она тоже это понимает и спрашивает:

-- Можно присесть?

Робость, с которой она просит, говорит о том, что она могла быть его студенткой.

Она садится на стул в первом ряду. Рука, на которой нет обручального кольца, дрожит. Я *действительно* призрак.

Теперь ей самой становится неловко.

-- Вы надолго?... Нет, я уже об этом спрашивала...

Я заполняю паузу:

-- Я остановился на несколько дней у Боба ДеВиза, а потом еду на Запад. У меня было время в городе, вот я и решил посмотреть, как выглядит колледж.

-- О, я рада, -- говорит она. -- Он изменился... мы все изменились... так сильно -- с тех пор, как вы уехали...

Еще одна неловкая пауза.

-- Мы слышали, вы были в больнице...

-- Да, -- говорю я.

Снова молчание. Она не продолжает, очевидно, зная причину. Еще немного колеблется, ища, что бы сказать. Это трудно выносить.

-- Где вы преподаете? -- наконец, спрашивает она.

-- Я больше не преподаю, -- отвечаю я. -- Бросил.

Она смотрит недоверчиво:

-- Вы *бросили*? -- Хмурится и опять смотрит на меня, словно желая удостовериться, что не ослышалась. -- Этого не может быть.

-- Может.

Не веря, она качает головой:

-- Только не *вы*!

-- Да.

-- Почему?

-- Хватит уже с меня. Я теперь занимаюсь другими вещами.

Мне все еще интересно, кто она такая, а она выглядит столь же озадаченной:

-- Но это же просто... -- Фраза обрывается. Она пытается начать заново: -- Вы же просто совершенно... -- Но и эта фраза неудачна.

Следующее слово -- «сумасшедший». Но оба раза она осеклась. Что-то представляет себе, закусывает губу и выглядит совсем подавленной. Я бы сказал что-нибудь, если б смог, но начинать неоткуда.

Я уже почти собираюсь признаться, что не знаю ее, но она встает и произносит:

-- Мне надо идти.

Наверное, она видит, что я ее не помню.

Она подходит к двери, торопливо прощается, и, когда дверь закрывается, ее торопливые, почти бегущие шаги слышны в холле.

Наружная дверь хлопает, и в классе становится тихо. Как и прежде, если не считать какого-то психического вихря, который она за собой оставила. Комната полностью преобразилась. Остался только отголосок ее присутствия, а то, что я пришел сюда увидеть, исчезло.

Хорошо, -- думаю я, вставая снова, -- я рад, что зашел сюда, но вряд ли мне захочется увидеть этот класс еще когда-нибудь. Лучше уж буду чинить мотоциклы -- один из них как раз сейчас меня ждет.

Выходя, я считаю своим долгом открыть еще одну дверь. Там на стене я вижу то, от чего по шее начинают бегать мурашки.

Это картина. Я ее не помнил, но теперь знаю, что он ее *купил* и повесил сюда. И внезапно понимаю, что, на самом деле, это не картина, а репродукция, которую он заказал из Нью-Йорка, и по поводу которой ДеВиз нахмурился, поскольку репродукции лишь *воспроизводят* искусство, сами же искусством не являются -- этой разницы он в то время не понимал. Но репродукция «Церкви Миноритов» Фейнингера нравилась ему чем-то, не имеющим отношения к искусству: сюжет -- какой-то готический собор, воссозданный с помощью полуабстрактных линий, плоскостей, цветов и оттенков -- казалось, отражал его мысленный образ Церкви Разума, потому-то он ее и повесил здесь. Вот все и возвращается. Здесь был его кабинет. *Находка*. Вот комната, которую я ищу!

Я захожу, и лавина памяти, высвобожденная толчком репродукции, обрушивается на меня. На нее падает свет жалкого узенького окна в примыкающей стене, откуда он выглядывал на долину, на хребет Мэдисон на противоположной стороне, наблюдал, как наступают грозы, и сейчас глядя на долину через вот это окно, вот... все началось, все это безумие, вот оно -- *здесь!* Вот это самое место!

А та дверь ведет в кабинет Сары. Сара! Вот оно обрушивается! Она пробежала между теми двумя дверями со своей лейкой и на бегу сказала: «Я надеюсь, вы учите своих студентов Качеству.» И это все певучим, мелодичным голосом дамы, которой осталось год до пенсии и которая собирается сейчас полить свои растения. В этот момент все и началось. То было зерно кристалла.

Зерно кристалла. Возвращается мощный фрагмент воспоминания. Лаборатория. Органическая химия. Он работал с чрезвычайно перенасыщенным раствором, когда случилось что-то похожее.

Перенасыщенный раствор -- это когда точка насыщения (то есть, когда вещество больше не растворяется) уже превзойдена. Такое может случиться, если точка насыщения стала выше с повышением температуры раствора. Когда растворяешь вещество при высокой температуре, а потом остужаешь раствор, вещество иногда не выкристаллизовывается, потому что молекулы не знают, как. Им требуется что-то для начала -- зерно кристалла или пылинки, или даже резкое царапанье или постукивание по стеклу сосуда.

Он пошел к крану, чтобы остудить раствор, но так и не дошел. Перед самыми его глазами -- пока он шел -- в растворе появилась звездочка кристаллического вещества, а потом внезапно и игольчато выросла, заполнив

собой весь сосуд. Он *увидел*, как она растет. Там, где прежде была только прозрачная жидкость, теперь оказалась масса настолько твердая, что он мог перевернуть сосуд, и из него ничего бы не вылилось.

Произнесли одну фразу: «Я надеюсь, вы учите своих студентов Качеству,» -- и в течение каких-нибудь нескольких месяцев, вырастая с такой скоростью, что этот рост можно было почти *увидеть*, появилась огромная, запутанная, высокоструктурированная масса мысли, образовавшаяся точно по волшебству.

Я не знаю, что он ответил, когда она это сказала. Вероятно, ничего. Она снова туда-сюда за его креслом много раз на дню по пути в свой кабинет, иногда останавливалась, произнося слово-два извинений за беспокойство, иногда -- с какой-нибудь новостью, и он привык к этому, как к части кабинетной жизни. Я помню, что она зашла во второй раз и спросила: «А вы действительно преподаете Качество в этой четверти?» -- а он кивнул и, на секунду выглянув из кресла, ответил: «Безусловно!» -- и она потрусила дальше. Он работал над тезисами лекции в то время и пребывал в полном унынии по их поводу.

В уныние приводило то, что текст был одним из самых рациональных имевшихся текстов по теме «Риторика» -- и все же в нем что-то было не так. Более того, он имел доступ к авторам, работавшим на отделении. Он спрашивал, слушал, говорил, соглашался с их ответами разумным путем, но все-таки они как-то его не удовлетворяли.

Текст начинался с посылки, что если риторике вообще следует обучать на уровне Университета, то ей следует обучать как ответвлению разума, а не как мистическому искусству. Следовательно, подчеркивалось овладение рациональными основами коммуникации в целях понимания риторики. Вводилась элементарная логика, привносилась теория элементарных стимулов-реакций, а из этого выстраивалась прогрессия к пониманию того, как создать эссе.

Для первого года преподавания Федра эта схема удовлетворяла. Он чувствовал, что в ней что-то было не так, но, в то же время, неправильность эта лежала не в сфере применения разума к риторике. Неправильность заключалась в старом призраке его грез -- в самой рациональности. Он признавал в ней ту же самую неправильность, что тревожила его много лет, решений которой у него не было. Он только чувствовал, что ни один писатель никогда не учился писать, используя этот прикватратенный, по-порядку-номеров-рассчитайский, объективный, методичный подход. В то же время, рациональность предлагала только это, и тут ничего нельзя было поделаться, не впадая в иррациональность. Если и существовало то, что он вне всякого сомнения имел право делать в Церкви Разума, так это -- быть рациональным; следовательно, вопрос этот пришлось пока оставить.

Снова пробегая рысью мимо несколько дней спустя, Сара притормозила и высказалась:

-- Я так *счастлива*, что вы даете *Качество* в этой четверти. Нынче мало кто *делает это*.

-- Ну, вот я и делаю, -- ответил он. -- И совершенно определенно это подчеркиваю.

-- Хорошо! -- сказала она и потрусила дальше.

Он вернулся к своим заметкам, но совсем немного погодя ход его мысли прервало воспоминание о ее странном замечании. О чем, к чертовой матери, она вообще говорила? *Качество*? *Конечно же*, он преподает *Качество*. А кто нет? Он продолжал составлять свои тезисы.

Еще в уныние его повергала предписывающая риторика, с которой, как предполагалось, уже покончили, но та по-прежнему отиралась вокруг. Барахло в духе: «шлепать по пальцам, если тебя поймут с болтающимися в воздухе определениями». *Правильное* правописание, *правильная* пунктуация, *правильная* грамматика. Сотни фиговых правил для фиговых людишек. Все равно никто не в силах помнить всю эту херню, пытаюсь что-нибудь написать. Сплошные застольные манеры, разработанные не из доброты, приличия или гуманности, а с самого начала -- из эгоистического стремления выглядеть не хуже джентльменов и леди. Джентльмены и леди хорошо ведут себя за столом, говоря и пишут грамматично. Это определяло принадлежность к высшим классам. В Монтане, тем не менее, это не действовало. Определялась только принадлежность к чванливым ослам с Востока Соединенных Штатов. На отделении существовал минимум требований предписывающей риторики, но, подобно другим преподавателям, он тщательнейшим образом избегал защищать предписывающую риторику перед студентами, объясняя ее иначе, нежели «требованием колледжа».

Вскоре поток мысли прервался снова. *Качество*? В этом вопросе что-то раздражало, даже злило. Он подумал об этом, еще немного подумал, выглянул из окна, а потом немного подумал снова. *Качество*?

Четыре часа спустя он все так же сидел, задрал ноги на подоконник, и смотрел в уже потемневшее небо.

Зазвонил телефон: жена справлялась, не случилось ли чего. Он ответил, что скоро придет, но забыл и про это, и про все остальное. И только в три часа ночи устало признался, что у него нет ключа к тому, что же такое *Качество*, взял портфель и отправился домой.

Большинство людей забыло бы тут о *Качестве* или оставило бы этот вопрос как есть, поскольку они ни к чему не приходили, и у них были другие дела.

Но его настолько подавила собственная неспособность обучать тому, во что сам верил, что в действительности он плевать хотел на какие бы то ни было требования, и когда он на следующее утро проснулся, *Качество* уже уставилось ему в лицо. Три часа сна, а он так устал, что знал: лекцию читать в этот день он не в состоянии; к тому же, тезисы так и остались неоконченными, поэтому он написал на доске: «Пишите эссе на 350 слов с ответом на вопрос: Что такое *качество* в мысли и утверждении?» После этого уселся у батареи и, пока они писали, стал думать о *Качестве* сам.

К концу часа, кажется, ни один не закончил, поэтому он разрешил взять работы на дом. В этом классе занятий у него не было два дня, и у него оставалось еще немного времени подумать. Он встречал некоторых студентов на переменах, кивал им, а в ответ получал злые и испуганные взгляды. Он догадался, что у них была та же беда, что и у него.

Качество... знаешь, что это такое, и в то же время не знаешь. Но ведь это противоречит самому себе. Однако некоторые вещи действительно лучше других -- то есть, в них есть больше качества. Только когда пытаешься сказать, что же такое качество -- если не считать перечисления тех вещей, которые им обладают, -- все это -- *фук!* -- лопается. Не о чем говорить. Но если не можешь сказать, что такое Качество, то откуда ты знаешь, что оно вообще существует? Если никто не знает, что это такое, то во всех практических целях его не существует вообще. Но во всех практических целях оно на самом деле *существует*. На чем еще основана эта градация? Почему еще люди платят целые состояния за одни вещи, а другие выбрасывают на помойку? Очевидно, что некоторые вещи -- лучше, чем другие... но что такое эта «лучшесть»?.. Вот так -- по кругу, раз за разом -- прокручивая мысленные колеса и нигде не находя никакого сцепления. Что такое, к дьяволу, это Качество? *Что это такое?*..

ЧАСТЬ 3

16

Мы с Крисом хорошо выспались, а сегодня утром я тщательно уложил рюкзаки, и вот мы уже около часа поднимаемся по склону горы. Лес здесь, у дна ущелья, в основном, -- сосновый, есть лишь немного осины и широколиственного кустарника. Крутые стены ущелья поднимаются высоко над головой по обеим сторонам. Временами тропа выводит на клочок солнечного света и травы по берегам горного ручейка, но вскоре вновь заходит в глубокую тень сосен. Земля на тропе покрыта мягкой и пружинящей подстилкой из хвойных иголок. Здесь очень спокойно.

Горы, подобные этим, и путешественников по горам, и события, которые с ними происходят, можно найти не только в литературе Дзэна, но и в сказках всех основных религий. Аллегория физической горы вместо духовной, стоящей между каждой душой и ее целью, легко и естественно создать. Подобно людям в долине за нами, большинство стоит в виду у духовных гор всю свою жизнь, и никогда не восходит на них, довольствуясь рассказами тех, кто там побывал, и таким вот образом избегая трудностей. Некоторые уходят в горы в сопровождении опытных экскурсоводов, знающих лучшие и наименее опасные маршруты, по которым и достигают своего назначения. Другие, неопытные и недоверчивые, пытаются проложить свои собственные. Немногим это удастся, но иногда некоторые одной лишь волей, удачей и милостью божьей достигают цели. Попав туда, они больше, чем остальные, начинают осознавать, что не существует ни единственного маршрута, ни постоянного их числа. Их столько, сколько есть отдельных душ.

Теперь я хочу говорить об исследовании Федром термина *Качество*, об исследовании, которое он считал маршрутом через горы духа. Насколько я могу разгадать его, в нем есть две четко различимых фазы. Во-первых, он не делал никаких попыток дать строгое, систематическое определение того, о чем говорил. Счастливая, творческая и плодотворная фаза. Она продолжалась большую часть того времени, которое он преподавал в школе там, в долине, у нас за спиной.

Вторая фаза явилась результатом нормальной интеллектуальной критики этого отсутствия определения того, о чем он говорил. В этой фазе он сделал систематические, строгие утверждения касательно того, чем является Качество, и разработал огромную иерархическую структуру мысли для их поддержки. Ему буквально пришлось сдвинуть небо и землю для того, чтобы прийти к этому систематическому пониманию, и когда он совершил это, то почувствовал, что достиг лучшего объяснения существования и нашего осознания его, нежели любые существовавшие прежде.

Если это подлинно новый маршрут через гору, то он, конечно же, был необходим. Вот уже более трех веков старые маршруты, обычные для этого полушария, размывались и почти полностью стирались естественной

эрозией и изменением формы горы, производимым научной истиной. Первые скалолазы проложили свои тропы по твердой земле, доступные и привлекательные для каждого, но сегодня западные маршруты почти полностью закрылись из-за догматической негибкости перед лицом перемен. Сомнение в буквальном значении слов Иисуса или Моисея навлекает враждебность со стороны большинства людей, но фактом остается то, что, появившись Иисус или Моисей сегодня неопознанными -- с теми же словами, что они произносили много лет назад, -- их душевную устойчивость поставили бы под сомнение. Это произошло бы не потому, что их слова -- неправда, и не потому, что современное общество заблуждается, а потому просто, что маршрут, избранный ими для того, чтобы проявить его другим людям, утратил свою значимость и вразумительность. «Небеса наверху» теряют смысл, когда сознание космического века спрашивает: «А где это -- "наверху"?» Но тот факт, что из-за окоченения языка старые маршруты склонны терять свое повседневное значение и почти полностью закрываться, не означает, что горы на месте больше нет. Она там, и она будет там, пока существует сознание.

Вторая метафизическая фаза Федра стала полным провалом. До того, как к его голове подключили электроды, он потерял все осязаемое -- деньги, собственность, детей; даже его права гражданина отняли у него приказом суда. У него осталась только его единственная сумасшедшая одинокая мечта о Качестве, карта маршрута через гору, ради которой он пожертвовал всем. Потом, после того, как электроды подключили, он и ее утратил.

Я никогда не буду знать всего, что происходило в то время у него в голове -- и никто не будет этого знать.

Сейчас остались просто фрагменты: мусор, разрозненные заметки, которые можно сложить вместе, но огромные районы остаются необъясненными.

Впервые обнаружив весь этот мусор, я почувствовал себя каким-то крестьянином в пригородах, скажем, Афин, который случайно и без особого удивления выпаживает своим плугом камни, на которые нанесены странные узоры. Я знал, что они -- часть какого-то большего общего узора, существовавшего в прошлом, но он далеко выходил за пределы моего понимания. Сперва я намеренно избегал их, не обращал на них внимания, потому что знал, что эти камни были причиной какой-то беды, и мне ее следовало избегать. Но даже тогда я видел, что они -- часть огромной структуры мысли, и мне она каким-то тайным образом казалась любопытной.

Позднее, когда во мне развилось больше уверенности в собственной неуязвимости от этого несчастья, я заинтересовался этим мусором в более позитивном смысле и начал хаотически кое-что набрасывать -- то есть, безотносительно формы, в том порядке, в котором эти обрывки ко мне приходили. Многие из этих аморфных утверждений подбрасывались друзьями. Теперь же их -- тысячи, и хотя только малая часть подходит для этого Шатокуа, он, что совершенно ясно, основан на них.

Вероятно, это очень далеко от того, что он думал. Пытаясь воссоздать весь узор дедукцией из отрывков, мне суждено совершать ошибки и подавлять противоречия, за что я должен попросить снисхождения. Во многих случаях эти фрагменты двусмысленны; из них можно сделать несколько разных заключений. Если что-то не так, то гораздо более вероятно, что ошибка -- не в том, что он думал, а в моей реконструкции, и позднее можно будет найти более удачную версию.

Раздается шорох, и в деревьях скрывается куропатка.

-- Ты видел? -- спрашивает Крис.

-- Да, -- отвечаю я.

-- Что это было?

-- Куропатка.

-- Откуда ты знаешь?

-- Они в полете вот так покачиваются вперед-назад. -- Я в этом не уверен, но звучит нормально. -- К тому же, они держатся близко к земле.

-- А-а, -- тянет Крис, и мы продолжаем наш турпоход. Лучи пробиваются сквозь сосны так, точно мы в соборе.

Так вот, сегодня я хочу начать первую фазу его путешествия в Качество, неметафизическую фазу, -- и это будет приятно. Хорошо начинать путешествие приятно, даже когда знаешь, что закончится оно вовсе не так хорошо. Используя его школьные заметки в качестве справочного материала, я хочу реконструировать то, как Качество стало для него рабочей концепцией в преподавании риторики. Его вторая фаза -- метафизическая -- была скупой и спекулятивной, но эта первая фаза, на которой он просто учил риторику, во всех отношениях оказалась прочной и прагматичной, и, возможно, о ней следует судить по ее собственным заслугам, вне зависимости от второй фазы.

Он активно вводил новшества. Его беспокоили студенты, которым было нечего сказать. Сначала он думал, что это просто лень, но позже стало очевидным, что это не так. Они просто не могли придумать, что сказать.

Одна из таких, девушка в очках с толстыми линзами, хотела написать эссе в пятьсот слов о Соединенных Штатах. Он уже привык к ощущению, когда внутри все опускается от подобных утверждений, и предложил ей, ни в чем ее не принижая, сузить тему до одного Бозмена.

Когда пришла пора сдавать работу, она ее не сделала и довольно сильно расстроилась. Она честно пыталась, но не могла придумать, что сказать.

Он уже справлялся о ней у ее предыдущих преподавателей, и те подтвердили его впечатления. Очень серьезная, дисциплинированная и прилежная, но крайне тупая. Ни искры творчества. Ее глаза за толстыми стеклами очков были глазами ишака. Она не отмазывалась, она действительно не могла ничего придумать и расстраивалась из-за собственной неспособности сделать то, что велели.

Его это просто ошарашило. Теперь уже *он сам* не мог придумать, что сказать. Наступило молчание, а за ним последовал неожиданный ответ:

-- Сократи его до *главной улицы* Бозмена. -- Какое-то наитие просто.

Та послушно кивнула и вышла. Но перед следующим занятием она вернулась -- на этот раз в слезах: беспокойство, повидимому, копилось долго. Она по-прежнему не могла ничего придумать -- и не могла понять, почему, если она ничего не может придумать про *весь* Бозмен, что-то получится с одной его улицей.

Он пришел в ярость:

-- Ты не *смотришь*! -- сказал он. Всплыло воспоминание о том, как его самого выгоняли из Университета за то, что у него было *слишком много* чего сказать. На каждый факт существует *бесконечное* число гипотез. Чем больше *смотришь*, тем больше *видишь*. Она даже не смотрела по-настоящему и как-то не могла этого понять.

Он сердито сказал ей:

-- Сократи до *фасада одного дома* на главной улице Бозмена. До Опера-Хауза. Начни с верхнего кирпича слева. Ее глаза за толстыми линзами расширились.

Она пришла к нему на следующее занятие с озадаченным видом и протянула тетрадь с эссе на пять тысяч слов о фасаде Опера-Хауза на главной улице Бозмена, штат Монтана.

-- Я села в закускойной через дорогу, -- говорила она, -- и начала писать о первом кирпиче, о втором кирпиче, а с третьего все пошло само, и я уже не могла остановиться. Там подумали, что я спятила, прикалывались надо мной, но я все сделала. Ничего не понимаю.

Он тоже не понимал, но в своих долгих прогулках по улицам городка думал об этом и пришел к выводу, что ее, очевидно, останавливала та же самая блокада, которая парализовала и его в первый день преподавания. В своем писании она пыталась повторять то, что уже слышала, -- точно так же, как в первый день занятий он пытался повторять то, что уже решил сказать заранее. Она не могла придумать, что сказать о Бозмене, поскольку не могла вспомнить ничего, что стоило бы повторять. Она странным образом не осознавала того, что сама могла посмотреть и увидеть что-то свежим взглядом -- и написать безотносительно к тому, что сказано прежде. Сужение темы до одного кирпича уничтожило блокаду, поскольку оказалось столь очевидно, что *придется* немного посмотреть самой -- оригинально и непосредственно.

Он продолжал экспериментировать дальше. В одном классе заставил всех целый час писать о тыльной стороне большого пальца. В начале занятия студенты на него странно посматривали, но работу выполнили все, и не поступило ни единой жалобы на то, что «нечего писать».

В другом классе он сменил тему: вместо пальца взял монету и получил от каждого часовое сочинение. Потом происходило то же самое. Некоторые спрашивали: «А писать об обеих сторонах?» Как только они врубались в идею непосредственного самостоятельного видения, то сразу начинали понимать, что пределов тому, что можно сказать, нет. У этого задания стояла еще одна цель -- установить доверие, поскольку то, что они писали -- даже самое, казалось бы, тривиальное -- тем не менее, было их собственным творчеством, а не подражанием кому-то. Те классы, где он давал это упражнение с монетой, всегда были менее норовистыми и более заинтересованными. В результате своих экспериментов он пришел к заключению, что имитация -- вот подлинное зло, которое следует сломить прежде, чем начинать настоящее обучение риторике. Казалось, имитация эта навязывалась извне. У маленьких детей ее нет. Она появляется позже -- возможно, как результат самой школы.

Он считал это заключение правильным и, чем больше об этом думал, тем более правильным оно казалось.

Школы учат подражать. Если не подражаешь тому, что хочет учитель, тебе ставят плохую оценку. Здесь, в колледже, все это, конечно, изощреннее: предполагается, что подражаешь учителю так, чтобы убедить его, что ты не подражаешь, а выбираешь самую суть его наставлений и продолжаешь самостоятельно. Тогда ставят пятерки. С другой стороны, оригинальность может принести все, что угодно -- от пятерок до колов. Вся система перевода из одной категории в другую предупреждает против этого.

Он поговорил об этом с профессором психологии, жившим по соседству, очень изобретательным преподавателем. Тот сказал:

-- Правильно. Уничтожьте целиком систему деления по категориям⁽¹²⁾ и оценивания, и тогда получите настоящее образование.

Федр размышлял об этом, и, когда несколько недель спустя одна очень способная студентка не смогла придумать темы для своей семестровой работы, категории и оценки по-прежнему были у него на уме, поэтому он и задал ей это в качестве темы. Сначала тема ей не понравилась, но она все же согласилась ее взять. Неделью она разговаривала об этом со всеми, а через две недели подготовила превосходную работу. Класс, в котором она читала свой доклад, тем не менее, не имел двух недель на размышление, поэтому к самой идее уничтожения категорий и оценок отнесся довольно враждебно. Это ничуть ее не затормозило. В ее голосе появились нотки забытого религиозного рвения. Она умоляла студентов *выслушать* ее, понять, что на самом деле это -- *правильно*.

-- Я говорю это не для *него*, -- она взглянула на Федра, -- а для *вас*.

Ее умоляющий тон, ее религиозный пыл произвели на него большое впечатление -- вместе с тем фактом, что по результатам вступительных экзаменов она попала в верхний один процент класса. В следующей четверти при изучении темы «Убеждающее письмо» он выбрал эту работу в качестве «образца» -- небольшого сочинения на тему, которая день за днем разрабатывается перед классом с его же помощью.

Он пользовался образцом, чтобы избежать болтовни о принципах композиции, по поводу которых у него были глубокие сомнения. Он чувствовал, что сможет давать более честную картину такого письма, показывая ученикам собственные предложения, со всеми их опасениями, тупиками и подчистками, нежели тратя время в классе на придирки к законченным студенческим работам или заставляя студентов вызывать законченные работы мастеров на состязание по подражательству. На этот раз он развивал аргумент о том, что вся система категорий и оценки знаний должна быть уничтожена, а для того, чтобы по-настоящему вовлечь студентов в то, о чем они слышат, он в течение этой четверти упразднил все оценки.

Прямо над нами, над вершинами хребта, уже можно увидеть снег. Хотя если идти пешком, до него -- много дней пути. На скалы под ним так просто не вскарабкаешься, особенно с таким тяжелым грузом, как у нас, а Крис еще не дорос до всяких штук с крючьями и веревками. Мы должны перейти через поросший лесом хребет, к которому сейчас приближаемся, войти в другое ущелье, дойти до его конца и вернуться к хребту по направленному вверх углу. Три дня трудного пути к снегу. Четыре дня -- легкого. Если мы не появимся через девять дней, ДеВиз начнет нас искать.

Мы останавливаемся отдохнуть и прислоняемся к дереву, чтобы не опрокинуться назад под тяжестью рюкзаков. Немного погодя я дотягиваюсь, достаю из-за плеча мачете, лежащий в рюкзаке сверху, и протягиваю его Крису.

-- Видишь вон две осины? Прямые такие? На краю? -- показываю я. -- Срежь их примерно в футах от земли.

-- Зачем?

-- Потом понадобятся: будут палки для ходьбы и шесты для палатки.

Крис берет мачете, начинает подниматься с земли, но затем усаживается снова.

-- Лучше ты их срежь, -- говорит он.

Поэтому я беру мачете, иду и вырезаю палки. Обе аккуратно срезаются одним ударом, остается только последняя полоска коры, которую я рву изгибом тыльной стороны мачете. Наверху, в скалах, палки нужны поддерживать равновесие, а сосны, которые там растут, для палок не годятся; последние осины можно найти только здесь. Меня немного беспокоит, что Крис отлынивает от работы. Нехороший признак в горах.

Короткий отдых, и идем дальше. Потребуется время, чтобы привыкнуть к этому грузу. На всякую нагрузку существует отрицательная реакция. Хотя, пока будем идти, она для нас станет более естественной...

Аргументы Федра в пользу отмены категорий и оценок привели к растерянной или отрицательной реакции со стороны почти большинства студентов, поскольку с первого взгляда казалось, что это уничтожит всю Университетскую систему. Одна студентка выложила это с полной искренностью:

-- Конечно же, вы не сможете уничтожить категории и оценки. В конце концов, мы здесь -- именно для этого.

Она говорила абсолютную истину. Мысль о том, что большинство студентов посещают Университет ради образования, вне зависимости от оценок и категорий -- маленькое лицемерие, которое никому лучше не разоблачать. Временами некоторые действительно поступают ради образования, но зубрежка и механическая природа самого учебного заведения вскоре обращают их к менее идеалистическому отношению.

Образец был аргументом в пользу того, что упразднение категорий и оценок уничтожит это лицемерие. Вместо того, чтобы описывать общие места, он описывал отдельную судьбу воображаемого студента, более или менее типичную для всех, кого можно найти в классах, -- студента, полностью приспособленного для работы на оценку, а не на знание, которое, как предполагалось, оценка только представляет.

Такой студент, предполагал образец, пойдет в свой первый класс, получит первое задание и, возможно, выполнит его по привычке. Так же он может пойти и во второй, и в третий. Но в конце концов новизна учебы сотрется, и из-за того, что академическая жизнь -- не единственная для этого студента, давление других обязательств или желаний создаст обстоятельства, в которых ему не удастся выполнить очередное задание.

Поскольку же не будет оценок и перевода из одной категории в другую, он за это наказания не понесет.

Последующие лекции, предполагающие выполнение задания, могут, тем не менее, оказаться немного труднее для понимания, и это осложнение, в свою очередь, может ослабить его интерес до такой степени, что следующее задание окажется довольно трудным и также будет брошено. И снова -- никакого наказания.

Со временем его все более слабое понимание предмета лекций приведет ко все большим трудностям в классе. В конце концов, он увидит, что он не очень-то многому и учится; и перед лицом непрерывного давления внешних обстоятельств прекратит учиться, будет испытывать из-за этого чувство вины и вообще перестанет посещать занятия. И снова не понесет никакого наказания.

Но что же в действительности произошло? Студент безо всякой злой воли с чьей бы то ни было стороны просто сам взял и провалился. Хорошо! Так и должно было случиться. С самого начала он попал сюда не ради

образования; в действительности ему здесь нечего делать. Большое количество денег и усилий сохранено, на нем нет клейма неудачи и прогула, преследующего всю оставшуюся жизнь. Не сожжено никаких мостов. Самая большая проблема студента -- рабская ментальность, встроенная годами кнуто-пряничной системы оценок, ментальность мула, говорящая: «Если ты меня не отстегашь, не буду работать.» Его не отстегали. Он не работал. И телега цивилизации, которую, как предполагалось, он обучен тянуть, просто скрипела себе дальше -- немного медленнее без него.

Однако, это -- трагедия только если допустить, что телегу цивилизации, «систему», тянут мулы. Такова обыденная, профессиональная, «привязанная к месту» точка зрения; отношение же Церкви не таково. Отношение Церкви заключается в том, что цивилизация, или «система», или «общество», или как угодно ее назови, лучше всего обслуживается не мулами, а свободными людьми. Цель упразднения категорий и оценок -- не наказать мулов, не избавиться от них, а создать среду, в которой мул может превратиться в свободного человека.

Гипотетический студент, все еще мул, немного подержится на плаву. Получит какое-нибудь другое образование, столь же ценное, как и то, которое бросил, -- в том, что называется «трудной школой жизни». Вместо того, чтобы тратить деньги и время в качестве мула с высоким статусом, придется получить работу мула с низким статусом -- может быть, механика. На самом деле, его *подлинный* статус повысится. Он будет делать вклад в перемены. Может, будет заниматься этим всю оставшуюся жизнь. Может, он нашел свой уровень. Но не стоит на это рассчитывать.

Со временем -- через шесть месяцев; может, даже через пять лет -- очень легко начнут происходить перемены. Тупая повседневная работа в мастерской станет удовлетворять его все меньше и меньше. Его творческая разумность, заглушенная слишком большим количеством теории и слишком развитой системой оценок в колледже, теперь пробудится от скуки мастерской. Тысячи часов утомительнейших механических проблем заставят его больше интересоваться конструкцией машины. Ему понравится конструировать машины самому. Он начнет думать, что мог бы заниматься чем-нибудь получше. Он попытается модифицировать несколько машин, добьется успеха, начнет искать еще большего успеха, но не сможет преодолеть блокаду, поскольку не будет теоретической информации. Он обнаружит, что если прежде чувствовал себя дураком из-за отсутствия интереса к теоретической информации, то теперь нашел сферу теоретической информации, к которой испытывает огромное уважение, а именно -- инженерную механику.

И поэтому он вернется в нашу школу без категорий и оценок -- но с одним отличием. Он больше не будет замотивирован на оценки. Он будет замотивирован на знание. Чтобы учиться, ему не понадобятся внешние толкачи. Он будет приводиться в движение изнутри. Он станет свободным человеком. Для того, чтобы сформироваться, не потребуется много дисциплины. Фактически, если приданные ему преподаватели в своей работе расслабятся, то, скорее всего, он будет формировать их, задавая грубые вопросы. Он придет туда для того, чтобы чему-то научиться, будет платить, чтобы чему-то научиться, и лучше будет пойти ему навстречу.

Мотивация такого сорта, как только она пустит прочные корни, -- яростная сила, и в учебном заведении без категорий и оценок, где окажется наш студент, он не остановится на вызубренной механической информации. В сферу его интереса войдут физика и математика, поскольку он увидит, что они ему нужны. В сферу внимания войдут металлургия и электромеханика. И в процессе интеллектуального созревания, которое будет подхлестываться этими абстрактными науками, он, скорее всего, вторгнется и в другие области теории, непосредственно не связанные с машинами, но ставшие необходимыми как часть какой-то новой, более крупной цели. Эта, бльшая, цель не будет имитацией образования в сегодняшних Университетах, замазанного и отлакированного категориями и оценками, производящими поверхностное впечатление того, что что-то происходит, когда, фактически, не происходит почти ничего. Она будет подлинной.

Таков был образец Федра, его непопулярный аргумент, и он работал над ним всю четверть, выстраивая и усовершенствуя его, споря из-за него, защищая его. Всю четверть работы возвращались к студентам с комментариями, но без оценок, хотя в журнале оценки и ставились.

Как я уже сказал, сначала все пребывали в каком-то замешательстве. Большинство, вероятно, вычислило, что они связались с каким-то идеалистом, считавшим, что отмена оценок их осчастливит и заставит работать прилежнее -- хотя очевидно, что без оценок все будет просто бездельничать. Многие студенты с пятерками в предыдущих четвертях сначала наполнялись презрением и злостью, но из-за приобретенной самодисциплины продвигались вперед и все равно делали работу. Хорошисты и твердые троечники пропускали некоторые предыдущие задания или сдавали небрежные работы. Многие глухие троечники и двоечники даже не показывались на занятиях. В это время другой преподаватель спросил его, что он собирается делать с этим отсутствием обратной связи.

-- Пересидеть их, -- ответил он.

То, что в нем не было жесткости, сначала озадачивало студентов, а потом разбудило в них подозрительность. Некоторые начали задавать саркастические вопросы. На них давалась мягкие ответы, а лекции и семинары давались как обычно, только без оценок.

Потом стало происходить то, на что он надеялся. На третью или четвертую неделю кое-кто из отличников начал нервничать и сдавать превосходные работы, отираться вокруг после занятий и задавать вопросы, призванные выудить у него хоть какое-нибудь указание на то, как у них идут дела. Хорошисты и твердые троечники начали это замечать, немного работать и повышать качество работ до своего более обычного уровня. Глухие троечники, двоечники и будущие неуспевающие начали появляться на занятиях, только чтобы посмотреть, что происходит. Во второй половине четверти начало иметь место еще более ожидавшееся явление. Отличники сбросили свою нервозность и стали активными участниками всего, что происходило, -- с доброжелательностью, необычной в

классе, разделенном на категории. В этот момент хорошисты и троечники ударились в панику и начали сдавать работы, выглядевшие так, словно они потратили на них часы мучительного труда. Двоечники и неуспевающие выполняли задания удовлетворительно.

В последние недели четверти -- когда все обычно уже знают свои четвертные оценки и сидят на уроках в полусне, -- у Федра другие учителя не могли не отметить всеобщего участия класса в работе. Хорошисты и троечники объединились с отличниками в свободных товарищеских обсуждениях, делавшими класс похожим на успешную вечеринку. Только двоечники и отстающие замороженно сидели в абсолютной внутренней панике. Это спокойствие и дружелюбие позже ему объяснила пара студентов:

-- Многие собирались после занятий вычислить, как перехитрить эту систему. И все решили, что лучше всего -- допустить, что все равно проваляшься, придется двигаться дальше, и все равно будешь делать, что сможешь. А потом начинаешь успокаиваться. Иначе просто крыша поедет!

Студенты прибавили, что стоит только привыкнуть, и все не так уж плохо: больше интересуешься предметом, -- но повторили, что привыкнуть было нелегко.

В конце четверти студентов попросили написать эссе с оценкой нововведений. Никто еще не знал, какой будет его или ее категория. Пятьдесят четыре процента были против. Тридцать семь -- за. Девять процентов -- нейтральны.

На основании принципа «один человек -- один голос» система оказалась очень непопулярна. Большинство студентов определенно хотели назад свои оценки и категории. Но когда Федр разложил мнения по категориям, уже бывшим в журнале (а они никак не отличались от тех, что были предсказаны предыдущими классами и отметками на вступительных экзаменах), то получилась совсем другая картина. Отличники высказались в пользу реформы в соотношении 2 к 1. Хорошисты и троечники разделились поровну. А двоечники и неуспевающие *единодушно* выступили против!

Этот удивительный результат поддерживал подозрение, которое у него существовало уже давно: более способные, более серьезные студенты *меньше всего* хотят получать категории и оценки, вероятно, потому, что более заинтересованы в самом предмете курса, в то время как тупые или ленивые студенты *больше всего* желают категорий, скорее всего поскольку те подсказывают им, идут ли они дальше.

Как сказал ДеВиз, семьдесят пять миль отсюда на юг можно идти сквозь одни леса и снега, не встречая дорог, хотя к западу и востоку дороги есть. Я организовал все так, что если к концу второго дня пойдет плохо, мы окажемся вблизи дороги, по которой можно будет быстро добраться обратно. Крис об этом не знает, но если сказать, то это больно заденет его бойскаутское лагерное ощущение приключения; хотя после достаточного количества путешествий по диким местам бойскаутская жажда приключений сходит на нет, и появляются более существенные выгоды от сокращения риска до минимального. Эта местность может быть опасна. Сделаешь один неверный шаг из миллиона, подвернешь лодыжку и поймешь, насколько далеко, на самом деле, ты от цивилизации.

Так далеко вверх по этому ущелью, очевидно, редко забираются. Еще через час ходьбы мы видим, что тропа почти исчезла.

Федр считал, что отказ от категорий -- это хорошо, если судить по его заметкам, но не придавал ему научной ценности. В настоящем эксперименте все условия, которые можешь придумать, сохраняешь постоянными, кроме какого-нибудь одного, а потом смотришь, каковы последствия изменения этого одного условия. В классе так сделать невозможно. Знание студентов, отношение студентов, отношение учителя -- все изменяется от всяких причин, неконтролируемых и, по большей части, неизвестных вообще. К тому же, наблюдатель в данном случае -- сам одна из причин, и никогда не сможет оценить собственное действие, не изменяя его. Поэтому он и не пытался прийти ни к каким жестким выводам из всего этого, а просто шел вперед и делал то, что ему нравилось. Движение к его исследованию Качества началось из-за одного зловещего аспекта системы оценок, который ее отмена проявила. Оценки, на самом деле, скрывают неумение обучать. Плохой преподаватель может за всю четверть не оставить ничего запоминающегося в головах своего класса, подвести итог по результатам ничего не значащей контрольной работы и оставить впечатление того, что некоторые чему-то научились, а некоторые -- нет. Но если оценки отменить, то класс волей-неволей начинает каждый день задаваться вопросом: а что они учат *на самом деле*? Вопросы типа: чему нас учат? какова цель? насколько лекции и задания отвечают этой цели? -- становятся угрожающими. Упразднение оценок обнаруживает огромную и пугающую пустоту. И все равно -- что же Федр пытался сделать? Этот вопрос становился все более насущным по мере продвижения. Ответ, казавшийся правильным, когда он начинал, все больше терял смысл. Он хотел, чтобы его студенты стали творцами, самостоятельно решая, что такое хорошее письмо, вместо того, чтобы все время спрашивать его. Истинной целью отмены оценок было заставить их заглянуть в себя -- в единственное место, где они вообще могли бы найти истинный ответ.

Теперь же все это больше не имело смысла. Если они уже знают, что хорошо и что плохо, то с самого начала у них нет причин браться за этот курс. Тот факт, что они сидят у него в качестве студентов, сам по себе предполагает, что они *не* знают, что хорошо и что плохо. Это его работа как преподавателя -- рассказать им, что хорошо и что плохо. Всякая мысль об индивидуальном творчестве и выражении в стенах класса, в действительности, глубоко противна всей идее Университета.

Для многих студентов упразднение оценок создало кафкианскую ситуацию, в которой они понимали, что их непременно накажут, если они чего-то не смогут сделать, но никто не хочет говорить, что именно от них требуется. Они смотрели внутрь себя и ничего не видели; смотрели на Федра и ничего не видели; и просто беспомощно сидели, не зная, что делать. Пустота была смертоносной. У одной девушки случился нервный срыв. Нельзя упразднить оценки и просто сидеть, создавая бесцельную пустоту. Придется задавать классу какую-то цель, ради которой нужно работать, и которая заполнит эту пустоту. А он этого не сделал.

Не мог. Он не мог придумать ни одного возможного способа сказать им, к чему они должны стремиться в своей работе, без того, чтобы попасть обратно в ловушку авторитарного, дидактического преподавания. Но как нарисовать мелом на доске таинственную внутреннюю цель каждой творческой личности?

В следующей четверти он оставил все мысли об этом и вернулся к нормальной системе оценок и категорий, обескураженный, в смятении чувствуя, что прав, но у него почему-то ничего не вышло. Когда в классе возникало нечто спонтанное, индивидуальное и действительно оригинальное, это происходило вопреки инструкции, а не согласно ей. Казалось, в этом имелся какой-то смысл. Он был готов уйти в отставку. Преподавать тупую конформность студентам, полным ненависти, -- не этим ему хотелось заниматься.

Он услышал, что в Ридском колледже в Орегоне отменили категории вплоть до самого выпуска, и на летних каникулах съездил туда, но ему сказали, что мнения по поводу ценности этой реформы на факультете резко разделились, и никто поэтому чрезмерно счастлив не был. За оставшуюся часть лета его настроение упало до глубокой депрессии и лени. Они с женой часто уходили в походы по этим горам. Та постоянно спрашивала, почему он все время молчит, а он не мог ответить, почему. Его просто остановили. Он ждал. Ждал того недостающего зерна кристалла мысли, которое внезапно сделает все твердым.

17

Крису, похоже, худо. Некоторое время он держался далеко впереди, а теперь сидит под деревом и отдыхает. На меня не смотрит, и поэтому я знаю, что ему худо.

Я сажусь рядом; его лицо отстраненно. На щеках румянец, и я вижу, что он выдохся. Мы сидим и слушаем ветер в соснах.

Я знаю, что в конце концов он поднимется и пойдет дальше, но *он* этого не знает и боится той возможности, которую ему подсказывает страх: он может не суметь вскарабкаться на гору вообще.

Я вспоминаю кое-что из написанного Федром об этих горах и рассказываю Крису.

-- Много лет назад, -- рассказываю я, -- мы с твоей мамой дошли до границы лесов недалеко отсюда; разбили лагерь у озера, а с одной стороны там было болото.

Он не поднимает глаз, но слушает.

-- Где-то перед рассветом мы услышали, как падают камни, и подумали, что это, должно быть, какое-то животное, -- только животные обычно так не гремят. Потом я услышал всплеск в болоте, и мы проснулись окончательно. Я медленно вылез из спального мешка, достал из куртки револьвер и присел за деревом.

Теперь Крис отвлекся от своих проблем.

-- Еще один всплеск, -- продолжаю я. -- Я подумал, что это могут быть лошади с какими-нибудь упакованными до ушей горожанами -- но не в такой же час. Еще раз -- *плюх!* А потом как *бухнет!* Никакая это не лошадь! Еще -- *БУХ!* и потом снова -- *БУ-БУХ!*.. И вот я вижу, как в этом предрассветном сумраке ко мне через болотную грязь бредет огромный лось, которого я когда-нибудь видел. Рога широкие -- в рост человека. Самое опасное животное в горах после гризли. А некоторые говорят -- и вообще самое опасное.

Глаза Криса снова загораются.

-- *БУХ!* Я взвел курок, думая, что тридцать восьмой особый -- это не очень много для лося. *БУ-БУХ!* Он меня не ВИДЕЛ! *БУБУХ!* Я не мог уйти у него с дороги. Твоя мама лежала в спальном мешке прямо у него на тропе. *БУ-БУХ!* Какой ГИГАНТСКИЙ! *БУБУХ!* Он уже -- в *десяти ярдах!* *БУБУХ!* Я встаю и прицеливаюсь. *БУ-БУХ!*.. *БУБУХ!*.. *БУБУХ!*.. Он останавливается В ТРЕХ ЯРДАХ от меня... Мушка -- прямо у него между глаз... Мы неподвижны.

Я тянусь к рюкзаку и достаю оттуда сыр.

-- А что было потом? -- спрашивает Крис.

-- Подожди, сыру отрежу.

Я вытаскиваю охотничий нож и беру сыр так, чтобы пальцы держали обертку и не залезали на сам кусок.

Отрезаю пласт в четверть дюйма и протягиваю ему.

Он берет.

-- А потом что?

Я смотрю, пока он не откусит.

-- Тот лось смотрел на меня, должно быть, секунд пять. Потом посмотрел вниз, на твою маму. Потом -- снова на меня и на револьвер, практически лежавший на его большой круглой морде. А потом улыбнулся и медленно ушел прочь.

-- А-а, -- тянет Крис. Он разочарован.

-- Обычно, когда им вот так противоречат, они нападают, -- говорю я, -- но он просто подумал: мол, такое хорошее утро, мы там оказались раньше него, поэтому к чему устраивать неприятности? Вот почему он улыбался.

-- А разве они умеют *улыбаться*?

-- Нет, но было похоже.

Я убираю сыр и прибавляю:

-- Позже в тот день мы прыгали с валуна на валун по склону горы. Я уже собирался приземлиться на один такой, огромный и коричневый, как вдруг этот огромный и коричневый валун подпрыгнул в воздух и убежал в лес. Тот же самый лось... Думаю, в тот день мы его сильно достали.

Я помогаю Крису подняться на ноги.

-- Ты шел немного быстрее, чем нужно, -- говорю я. -- Теперь склон становится круче, и надо идти медленнее.

Если идешь слишком быстро, то сбиваешь дыхание, а когда сбиваешь дыхание, кружится голова, а это ослабляет дух, и ты думаешь: зубцах. *Этот* камень ненадежен. С *этого* места снег видно хуже, хотя оно и ближе. Такие вещи все равно следует замечать. Жить ради какой-то будущей цели -- мелко. Жизнь поддерживают склоны горы, а не ее вершина. Именно на склонах все растет.

Но, разумеется, без вершины никаких склонов не будет. Вершина *определяет* стороны. Вот мы и идем... идти еще долго... некуда спешить... шьгеца шагом... а для развлечения -- небольшой Шатокуа... Размышления про себя

-- гораздо интереснее телевизора; так жалко, что на них не переключается больше людей. Вероятно, они считают, что то, что они слышат, -- не важно, но не важно оно никогда не бывает.

Есть большой отрывок о первом занятии Федра -- после того, как он дал то задание: «Что такое качество в мысли и утверждении?» Атмосфера была взрывоопасной. Почти все злились: их раздражал этим вопросом -- как и его самого.

-- Откуда *мы* можем знать, что такое качество? -- говорили они. -- *Вы* должны нам рассказать!

Тогда он сказал им, что тоже не может этого вычислить и действительно хочет узнать. Он и задал эту тему в надежде, что у кого-нибудь найдется хороший ответ.

Это все и решило. Рев негодования потряс комнату. Прежде, чем шум улегся, какой-то учитель просунул голову в дверь посмотреть, в чем дело.

-- Все в порядке, -- сказал Федр. -- Мы просто случайно споткнулись о настоящий вопрос, и от шока пока трудно оправиться.

Некоторые студенты с любопытством прислушались к тому, что он сказал, и шум постепенно стих.

Тогда он воспользовался моментом для краткого возвращения к своей теме «Разложение и Загнивание в Церкви Разума». Вот мера этого разложения, сказал он: студенты негодуют, если кто-то пытается их *использовать* для поисков истины. Предполагалось, что вы будете *симулировать* этот поиск истины, *имитировать* его.

Действительно *искать* ее -- значило бы навлечь на себя проклятье.

Правда в том, говорил он, что сам он искренне хочет знать, что они думают -- не для того, чтобы поставить им оценку, а потому, что он действительно хочет это знать.

Они удивленно смотрели на него.

-- Я просидел всю ночь, -- сказал один.

-- Я уже готова была заплакать от злости, -- призналась девушка, сидевшая у окна.

-- Вам надо было предупредить нас, -- сказал кто-то третий.

-- Как я мог вас предупредить, -- спросил он, -- когда не имел ни малейшего представления, какой будет ваша реакция?

Некоторые из удивленных начали кое-что понимать. Он их не разыгрывал. Он действительно хотел знать.

Очень странная личность.

Потом кто-то произнес:

-- А что *вы* думаете?

-- Я не знаю, -- ответил он.

-- Но что вы *думаете*?

Наступила долгая пауза.

-- Я думаю, такая вещь, как Качество, существует, но только попытаешься ее определить, что-то сразу слетает с катушек. И ты не можешь этого сделать.

Одобрительное бормотание.

Он продолжал:

-- Почему так происходит, я не знаю. Я рассчитывал, может быть, найти какие-то идеи в ваших работах. Я просто не знаю.

На этот раз класс молчал.

На последующих занятиях в тот день немного так же шумели, но по несколько студентов в каждом классе дали благожелательные ответы: очевидно, что в обеденный перерыв первое занятие широко обсуждалось.

Несколько дней спустя он разработал собственное определение и написал его на доске, чтобы можно было скопировать для потомства. Определение было таким: «Качество -- характеристика мысли и утверждения, признаваемая не-мыслительным процессом. Поскольку определения являются продуктом жестко ограниченного, формального мышления, качество не может быть определено».

Тот факт, что это «определение», на самом деле, было отказом определять, не вызвал никаких комментариев. Студенты не обладали формальным образованием, которое подсказало бы им, что это утверждение в формальном смысле -- иррационально. Если не можешь что-либо определить, то не можешь и формально, рационально знать, что оно существует. Рассказать кому-нибудь другому о том, что это такое, тоже не можешь. Фактически, не существует никакой формальной разницы между неспособностью дать определение и глупостью. Когда я говорю: «Качество не может быть определено», то на самом деле я формально утверждаю: «Я глуп относительно Качества».

К счастью, студенты этого не знали. Если бы они выступили с такого рода возражениями, он бы в то время просто не смог им отвечать.

Тогда же под определением на доске он написал: «Но даже если Качество нельзя определить, *вы знаете, что это такое!*» -- и буря поднялась снова.

-- Нет, не знаем!

-- Нет, знаете!

-- *Нет, не знаем!*

-- Нет, *знаете*, -- сказал он: у него под рукой имелся материал, чтоб им это показать.

В качестве примера он выбрал два студенческих сочинения. Первое было хаотичным и бессвязным, с интересными идеями, которые ни к чему не приводили. Второе было великолепной работой студента, которого самого озадачило, почему получилось так хорошо. Федр прочитал оба, а затем попросил поднять руки тех, кто считал первое лучшим. Поднялось две руки. Он спросил, кому больше понравилось второе. Поднялось двадцать восемь рук.

-- В любом случае, -- сказал он, -- то, что заставило подавляющее большинство поднять руки за второе сочинение, -- его я и называю Качеством. Поэтому *вы знаете*, что это такое.

Наступило долгое глубокомысленное молчание, и он его не нарушал.

В интеллектуальном смысле это было возмутительно, и он это знал. Он больше не учил -- он индоктринировал. Он воздвиг воображаемую сущность; определил ее как не способную быть определенной; несмотря на протесты студентов, сказал им, что они знают, что это такое; и продемонстрировал это способом, настолько же логически запутанным, как и сам этот термин. Ему сошло с рук потому, что логическое опровержение требовало большего таланта, чем таланты всех его студентов вместе взятых. После этого он постоянно поощрял такие опровержения, но их не последовало ни разу. Он импровизировал дальше.

Чтобы укрепить мысль о том, что они уже знают, что такое Качество, он разработал порядок, по которому в классе зачитывались четыре студенческие работы, а он заставлял всех выстраивать их сообразно Качеству на листке бумаги. То же самое проделывал сам. Собирал листки, подбивал итог на доске и выводил среднее значение мнения всего класса. После этого объявлял собственные оценки, и почти всегда они оказывались близки к средним классным, если не совпадали полностью. Если где-то и возникали расхождения, то потому, что работы по своему качеству были близки.

Сначала его классы увлеклись таким упражнением, но с течением времени им стало скучно. Что он имел в виду под Качеством, было ясно. Они тоже вполне очевидно знали, что это такое, поэтому потеряли к слушанию работ всякий интерес. Теперь их вопрос звучал так: «Хорошо, мы знаем, что такое Качество. Как нам его получить?» Вот, наконец, и в их работы вошли стандартные тексты по риторике. Принципы, толковавшиеся там, больше не казались правилами, против которых нужно бунтовать, были не конечными истинами в себе, а просто навыками, трюками для производства того, что действительно принималось в расчет и не зависело от этих технических навыков, -- Качества. То, что началось как ересь от традиционной риторики, обратилось в прекрасное введение в нее.

Он вычленял аспекты Качества -- такие, как единство, наглядность, авторитетность, экономия, чувствительность, ясность, ударение, течение речи, создание напряжения, отточенность, тонкость, пропорция, глубина и так далее; оставлял каждый из этих аспектов столь же плохо определенным, как и само Качество, но демонстрировал им это тем же способом -- чтением в классе. Он показывал, как аспект Качества под названием «единство», сбитость повествования, можно улучшить навыком под названием «составление плана». Авторитетность аргумента можно усилить методом под названием «примечания», дающие авторитетную отсылку. Планы и примечания -- стандартные вещи, которым учат во всех начальных классах по композиции, но теперь, как у инструментов для улучшения Качества, у них появлялась цель. И если студент просто сдавал кипу невнятных ссылок или

небрежный план, показывая тем самым, что просто отбарабанил зубрежное задание, ему можно было сказать, что несмотря на то, что его работа вроде бы отвечает букве задания, очевидно, что она не отвечает цели Качества и, следовательно, не имеет никакой ценности.

Теперь, в ответ на вечный студенческий вопрос: как мне это *сделать*? -- который раздражал его вплоть до ухода в отставку, он мог ответить: «Нет никакой разницы, *как* ты это сделаешь! Делай так, чтобы было хорошо.»

Упрямый студент мог бы спросить в классе: «Но откуда мы знаем, что хорошо?» -- но еще до того, как отзвучит фраза, он понимал, что ему уже ответили. Кто-нибудь другой обычно говорил ему: «Ты это просто *видишь*.» А если тот говорил: «Нет, не вижу,» -- то ему отвечали: «Нет, видишь. Он это доказал.» Студент был окончательно и совершенно пойман в необходимость самостоятельно выносить суждения о Качестве. Именно это -- и только это -- учило его писать.

Вплоть до настоящего времени Федра академическая система принуждала говорить не то, что он хотел, даже если он знал, что это заставляло студентов держаться в рамках искусственных форм, уничтожавших их собственное творчество. Студенты, действовавшие согласно его правил, потом осуждались за свою неспособность творить или производить работу, отражавшую их собственные, личные мерки того, что хорошо. Теперь же с этим было покончено. Вывернув наизнанку основное правило, по которому все, чему надо научиться, сначала должно быть определено, он нашел выход. Он не указывал ни на какой принцип, ни на какое правило хорошего письма, ни на какую теорию -- но он, тем не менее, указывал на что-то весьма реальное, чью реальность они не могли отрицать. Пустота, созданная отменой оценок, внезапно заполнилась позитивной целью Качества, и все встало на свои места. Изумленные студенты подходили к его кабинету и говорили: «Я раньше просто *ненавидел* английский. Теперь я на него трачу больше времени, чем на что-либо другое.» И не просто один или два -- многие. Вся концепция качества была прекрасна. Она работала. Это была та таинственная личная, внутренняя цель каждой творческой личности -- наконец, вынесенная на доску.

Я оборачиваюсь посмотреть, как дела у Криса. На его лице видна усталость.

Я спрашиваю:

-- Как ты себя чувствуешь?

-- О'кей, -- отвечает он, но в голосе звучит вызов.

-- Мы можем остановиться в любом месте и разбить лагерь, -- предлагаю я.

Он мечет в меня свирепый взгляд, и поэтому я больше ничего не говорю. Вскоре я вижу, как он пытается меня обойти по склону. Должно быть, с большим усилием, но он выдвигается вперед. Мы идем дальше.

Федр забрался так далеко с этой концепцией Качества, поскольку намеренно отказывался смотреть за пределы непосредственного опыта классной комнаты. Утверждение Кромвеля: «Никто никогда так высоко не забирается, как тот, кто не знает, куда идет,» -- можно полностью применить к этой ситуации. Он не знал, куда шел. Он знал только то, что это срабатывало.

Со временем, однако, он начал задавать себе вопрос, *почему* оно срабатывало, -- в особенности, когда уже понимал, что это иррационально. Чего ради должен работать иррациональный метод, если все рациональные -- такое дерьмо? В нем быстро росло интуитивное чувство, что он споткнулся отнюдь не на маленьком трюке. Все шло гораздо дальше. Насколько дальше -- этого он не знал.

То было началом кристаллизации, о которой я уже говорил. Другие в то время удивлялись: «Чего он так переживает по поводу этого "качества"?» Но видели они только слово и его риторический контекст. Они не знали его прошлого отчаянья от абстрактных вопросов самого существования, которые он, побежденный, вынужден был забросить.

Если бы кто-нибудь другой спросил: Что такое Качество? -- то это *было бы* просто вопросом. Но когда так спрашивал *он*, то для него (из-за всего прошлого) одновременно во все стороны расходились круги волн -- согласно структуре не иерархической, а концентрической. В центре ее, генерируя сами волны, находилось Качество. Пока эти волны мысли для него расходились, я уверен, он в полной мере ожидал, что каждая волна достигнет какого-то берега существующих порядков мысли, -- чтобы у него появилось нечто вроде объединенных отношений с этими мыслительными структурами. Но никакого берега ничего так и не достигло вплоть до самого конца -- если этот берег вообще существовал. Для него там не было ничего, кроме всеразбегающихся волн кристаллизации. Я теперь попробую проследить за этими волнами кристаллизации -- второй фазой его исследования качества, -- как смогу.

Каждым своим движением Крис показывает впереди, что он утомился и сердится.

Он спотыкается, дает веткам цепляться за себя вместо того, чтобы отгибать их.

Жалко это видеть. Можно, наверное, обвинить и бойскаутский лагерь, в котором он пробыл две недели до нашего отъезда. Из того, что он мне рассказал, ясно, что они там весь этот опыт вольного воздуха превратили в сплошное выпячивание своего «я». Доказывание собственной взрослости. Он начал в низшем классе, где, как ему тщательно показали, находиться довольно позорно... первородный грех. Затем ему позволили доказать себя длинной цепочкой свершений -- плаванием, завязыванием узлов... он перечислил десяток, но я их забыл. Я уверен, что если пацаны в лагере должны достигать каких-то целей, связанных с их «я», то это вселяет в них и энтузиазм, и дух товарищества, но, в конечном счете, мотивация такого типа разрушительна. Любое усилие с самовосхвалением в качестве конечной точки неминуемо завершится катастрофой. Теперь мы за это платим. Когда пытаешься взобраться на гору, чтобы доказать, какой ты большой, то почти никогда вершины не достигнешь. А если даже и достигнешь, то победа окажется пустой. Для того, чтобы поддерживать победу, придется доказывать ее себе вновь и вновь каким-нибудь другим образом -- снова, снова и снова, вечно стремиться наполнить фальшивый образ, с неотступным страхом, что этот образ -- не истинен, и что кто-нибудь рано или поздно это обнаружит. Это -- никогда не метод.

Из Индии Федр написал письмо о паломничестве на святую гору Каилас -- к истоку Ганги и обители Шивы, высоко в Гималаях -- в обществе святого человека и его последователей.

Он так и не дошел до горы. На третий день он в измождении сдался, и паломничество продолжалось уже без него. Он писал, что физическая сила у него была, но физической силы недостаточно. У него была интеллектуальная мотивация, но этого тоже не все. Он не думал, что самонадеян, но считал, что предпринимает паломничество ради расширения *собственного* опыта, ради достижения понимания для *самого себя*. Он пытался использовать гору в собственных целях -- так же, как и само паломничество. Он расценивал *себя* как неизменную сущность, а не паломничество и не гору, и поэтому оказался к нему не готов. Он размышлял, что другие паломники -- те, что достигли горы, -- возможно, чувствовали святость горы настолько сильно, что каждый шаг для них был актом преданности, покорности этой святости. Святость горы, вселенная в их души, давала им силы вынести гораздо больше того, что мог вытерпеть он, обладавший большей физической силой. Для нетренированного глаза эгоистическое карабканье в гору и самоотверженное карабканье могут показаться совершенно идентичными. Оба вида скалолазов ставят одну ногу перед другой. Оба вдыхают и выдыхают воздух с той же частотой. Оба останавливаются, когда устают. Оба идут вперед, когда отдохнут. Но какое же между ними различие! Эго-скалолаз подобен инструменту, калибровка которого сбилась. Он переставляет ногу на секунду раньше или позже. Он, скорее всего, не увидит прекрасных лучей солнца, струящихся сквозь кроны деревьев. Он продолжает идти, даже когда небрежность шага указывает на то, что он устал. Он отдыхает, когда не надо. Он смотрит вверх на тропу, пытаясь увидеть, что впереди, даже когда знает, что там, поскольку посмотрел туда секунду назад. Он идет слишком быстро или слишком медленно в существующих условиях, и когда разговаривает, то говорит всегда о каком-то другом месте, о чем-то другом вообще. Он здесь, но его здесь нет. Он отрицает «здесь», оно не приносит ему радости, он хочет находиться на этой тропе дальше, чем то место, где он сейчас, а когда попадает туда, это также не принесет ему счастья, потому что тогда *оно* будет «здесь». Все, чего он ищет, все, чего он хочет -- вокруг него, но он этого не желает, потому что оно -- *вокруг него*. Каждый шаг -- усилие, и физически, и духовно, поскольку он представляет свою цель внешней и отдаленной. Но это теперь, кажется, -- проблема Криса.

Существует целая ветвь философии, касающаяся определения Качества, известная под названием «эстетика». Ее вопрос -- что имеется в виду под *прекрасным*? -- прослеживается вплоть до античности. Но когда Федр был студентом-философом, он яростно отталкивался от всей этой ветви знания. Он почти намеренно провалил единственный курс по ней, который посещал, и написал несколько работ, где подвергал и преподавателя, и сам материал свирепым нападкам. Он ненавидел и поносил все.

Такую реакцию в нем вызывал не один конкретный эстетик. Все они вместе. И никакая определенная точка зрения не приводила его в ярость так, как мысль о том, что Качество должно подчиняться *какой бы то ни было* точке зрения. Интеллектуальный процесс вынуждал Качество идти к нему в рабство, prostituировал его. Думаю, именно это служило источником его ярости.

В одной работе он написал: «Эти эстетики думают, что их предмет -- какая-то мятная карамелька, а сами они обладают привилегией обсасывать ее своими жирными губами; то, что можно поглощать, интеллектуально разделять, насаживать на вилку и отправлять ложкой в рот, кусок за куском, с подобающими замечаниями

гурманов -- меня уже от этого тянет блевать. То, что они обсасывают своими губами -- гниль того, что они убили уже давно.»

Теперь, когда сделан первый шаг процесса кристаллизации, он видел, что когда Качество продолжает оставаться не определенным определениями, целая сфера под названием «эстетика» сметается напрочь с лица земли... полностью лишается всех прав на существование... капут. Отказом определить Качество он полностью поместил его за пределы аналитического процесса. Если не можешь определить Качество, то тем самым никак не можешь подчинить его никакому интеллектуальному правилу. Эстетикам больше нечего сказать. Вся их сфера -- определение Качества -- исчезла.

Мысль об этом приводила его в полный восторг. Как будто открыл средство от рака. Больше никаких объяснений, что такое искусство. Никаких замечательных критических школ экспертов, существующих ради рационального определения того, в чем каждый композитор преуспел, а в чем провалился. Им всем, вплоть до самого последнего всезнайки, придется, наконец, заткнуться. Это больше не просто интересная мысль. Это мечта.

Не думаю, что в начале кто-либо действительно видел, что он собирается сделать. Видели интеллектуала, пытающегося донести до них нечто, обладающее всеми регалиями рационального анализа в преподавании. Они не видели, что его цель совершенно противоположна той, к которой они привыкли. Он не развивал рациональный анализ дальше. Он его блокировал. Он обращал метод рациональности против него самого, против своих же, защищая иррациональную концепцию, неопределенную сущность, называемую Качеством. Он писал: «<1> Каждый преподаватель английского по композиции знает, что такое Качество. (Любому преподавателю, который этого не знает, следует этот факт тщательно скрывать, ибо это непременно послужит доказательством его некомпетентности.) <2> Любому преподавателю, который думает, что качество письма может и должно быть определено прежде, чем преподавать его, следует брать и определять его. <3> Все, кто чувствует, что качество письма существует, но не может быть определено, и что ему следует обучать в любом случае, могут с выгодой воспользоваться следующим методом обучения чистому качеству в письме без определения его.»

А дальше описывал некоторые методы сравнения, которые разрабатывал в классе.

Думаю, он на самом деле надеялся, что кто-то клонет, бросит ему вызов и попытается дать определение Качества. Но никто этого так и не сделал.

Тем не менее, небольшое вводное замечание по поводу того, что неспособность определить Качество -- доказательство некомпетентности, вызвало на отделении удивленно вскинутые брови. В конце концов, он был младшим членом, и от него пока не ожидали выдвижения стандартов деятельности для тех, кто старше. Его право говорить, как хочется, оценили, и старшие члены, кажется, получили удовольствие от независимости его мысли и поддержали его как-то по-церковному. Но, в отличие от верования многих оппонентов академической свободы, церковное отношение никогда не заключалось в том, что учителю позволено болтать все, что приходит в голову, вообще безо всякой ответственности. Церковное отношение заключается просто в том, что ответственность должна существовать перед Богом Разума, а не перед идолами политической власти. Тот факт, что он оскорблял людей, не имел никакого значения для истинности или ложности того, что он говорил, и этически сразить его за это было невозможно. Но его готовы были сразить -- этически и со вкусом -- за любое проявление бессмысленности. Он мог делать все, что хотел, если только мог оправдать это с точки зрения разума.

Но как, к дьяволу, вообще можно оправдать отказ определить что-либо? Определения -- *основание* разума. Без них нельзя рассуждать. Он мог некоторое время сдерживать нападки причудливой диалектической работой ног и оскорблениями по части компетентности и некомпетентности, но рано или поздно пришлось бы выдвигать нечто более существенное. Его попытка выйти с чем-то существенным привела к дальнейшей кристаллизации за традиционными границами риторики -- к кристаллизации, выводящей в царство философии.

Крис оборачивается и бросает на меня измученный взгляд. Теперь уже недолго. Еще до того, как мы отправились в путь, имелись намеки на то, что это наступит. Когда DeViz сказал соседу, что я искушен в хождении по горам, и в глазах Криса зажегся огонек восхищения. Для него это было по-крупному. Скоро он выдохнется, и тогда можно будет останавливаться на ночь.

О-оп! Вот так. Упал. Не встает. Ужасно аккуратно и выглядит не очень случайно. Теперь он смотрит на меня с болью и злостью, ища в моих глазах осуждения. Я его не показываю. Сажусь рядом и вижу, что он почти разгромлен.

-- Ну, -- говорю я, -- можем или остановиться здесь, или идти дальше. Что ты хочешь?

-- Все равно, -- говорит он. -- Я не хочу...

-- Чего ты не хочешь?

-- *Мне все равно*, -- сердито отвечает он.

-- Ну, раз тебе все равно, то пойдем дальше, -- говорю я, ловя его на слове.

-- Мне не нравится этот поход, -- говорит он. -- Он неинтересный. Я думал, он будет интересным.

Злость чуть не застает меня врасплох:

-- Может и так, -- отвечаю я, -- но ты бы лучше подумал, прежде чем так говорить.

В его глазах я вижу внезапный проблеск страха, и он поднимается.

Мы идем дальше.

Небо над другой стеной ущелья затягивает тучами, а ветер в соснах вокруг становится холодным и зловещим. Но крайней мере, по холоду легче идти...

Я говорил о первой волне кристаллизации за пределами риторики, которая стала результатом отказа Федра определять Качество. Ему надо было ответить на вопрос: Если не можешь его определить, то почему ты думаешь, что оно существует?

Его ответ был старым ответом, принадлежавшим философской школе, называемой *реализм*. «Вещь существует,» -- утверждал он, -- «если мир без нее не может нормально функционировать. Если мы можем показать, что мир без Качества функционирует ненормально, мы тем самым покажем, что Качество существует, определено оно или нет.» И вслед за этим принялся вычитать Качество из описания мира, каким мы его знаем.

Первой жертвой подобного вычитания, говорил он, будут изящные искусства. Если в искусстве не можешь отличить плохого от хорошего, то оно исчезает. Нет смысла вешать на стену картину, если голая стена смотрится так же неплохо. Нет смысла в симфониях, когда царапанье по пластинке или гудение проигрывателя тоже приятно слушается.

Исчезнет поэзия, поскольку смысл в ней появляется лишь изредка, а практической ценности нет никакой. И, что интересно, пропадет комедия. Все перестанут понимать шутки, поскольку разница между чувством юмора и его отсутствием -- это Качество в чистом виде.

Затем он заставил исчезнуть спорт. Футбол, бейсбол, игры всех видов -- испарятся. Счет больше не будет мерой того, что имеет смысл, а останется пустой статистикой, как количество камней в куче гравия. Кто будет ходить на них смотреть? Кто будет играть?

Потом он вычел Качество из рынка и предсказал перемены, которые там произойдут. Поскольку качество вкуса не будет иметь смысла, в магазинах останутся только самые основные крупы -- рис, например, кукурузная мука, соевые бобы и мука; возможно, также какое-нибудь неопределенное мясо, молоко для грудных детей, а также витаминные и минеральные наполнители для восполнения недостатка. Алкогольные напитки, чай, кофе и табак пропадут. Так же, как и кино, танцы, пьесы и вечеринки. Все мы будем пользоваться общественным транспортом. Все будем носить армейские сапоги.

Огромная часть нас останется без работы, но это, вероятно, временно -- до тех пор, пока не переориентируемся на работу, в сущности, без Качества. Прикладная наука и технология коренным образом изменятся, но чистая наука, математика, философия и, в особенности, логика останутся безо всяких изменений.

Федр нашел это последнее особенно интересным. Чисто интеллектуальные занятия менее всего подвержены вычитанию Качества. Если Качество опустить, только рациональность останется неизменной. Это странно. С чего бы так?

Он не знал. Но знал, что вычитание Качества из картины мира, каким мы его знаем, обнаружило величие и важность этого термина, о которых поначалу он и не подозревал. Мир *может* функционировать без Качества, но жизнь будет такой скучной, что её едва ли стоит жить. Фактически, не стоит жить вообще. Слово *стоит* -- термин Качества. Жизнь просто будет житься безо всяких ценностей или целей.

Он оглянулся на то, куда завела его эта линия мысли, и решил, что доказал свою точку зрения. Поскольку очевидно, что мир не функционирует нормально при отнятом Качестве, Качество существует, определено оно или нет.

Вызвав это видение мира без Качества, он вскоре обратил внимание на его сходство с некоторыми социальными ситуациями, о которых уже читал. На ум пришли Древняя Спарта, коммунистическая Россия и ее сателлиты. Красный Китай, «Прекрасный Новый Мир» Олдоса Хаксли и «1984» Джорджа Оруэлла. Также из собственного опыта он припомнил людей, которые только приветствовали бы этот мир без Качества. Те же, кто пытался заставить его бросить курить. Они хотели рациональных причин, по которым он курил, а когда их у него не находилось, они становились очень надменными, будто он потерял лицо или еще что-то. Они должны были знать причины, планы и решения для всего. Такие же, как он. Такие, на которых он сейчас нападал. А он долго искал для них подходящее имя, включавшее бы в себя все, чтобы хоть как-то уцепиться за этот мир без Качества. В первую очередь, мир этот был интеллектуальным, но не только разумность была там фундаментом. То было определенное основное отношение к тому, каким является мир, предрасположенное видение того, что он существует согласно законам -- разуму, -- и что совершенствование человека лежит, главным образом, в обнаружении этих законов разума и в применении их к удовлетворению его желаний. Именно эта вера удерживала все вместе. Он некоторое время искоса глядел на картину такого мира без Качества, воссоздавал дополнительные подробности, думал о нем, потом глядел еще немного и еще немного думал, и наконец вернулся к тому, с чего начинал прежде. Круг замкнулся.

Квадратность.

Вот этот взгляд. Вот что объемлет все. Квадратность. Когда вычитаешь Качество, получаешь квадратность.

Отсутствие Качества -- сущность квадратности.

Он вспомнил своих приятелей-художников, с которыми как-то путешествовал по Соединенным Штатам. Те были неграми и постоянно жаловались именно на эту Бескачественность, которую он описывал. Квадратный.

Так они это называли. Тогда, давно, еще до того, как это слово подхватили средства массовой информации и запустили в национальное употребление белыми, они называли все это интеллектуальное барахло квадратным и не хотели иметь с ним ничего общего. И между ним и ими происходило фантастическое смешение в разговорах и отношениях, поскольку он был таким первоклассным примером квадратности, о которой они говорили. Чем больше он пытался поймать их на том, о чем они говорили, тем более туманными они становились. А теперь, с этим Качеством, он, казалось, говорил то же самое -- и так же смутно, как и они, хотя то, о чем он говорил, было таким же жестким, ясным и плотным, как и любая рационально определенная сущность, с которой он когда-либо имел дело.

Качество. Вот о чем они говорили все время. Он вспомнил, как один из них сказал:

-- Парень, пожалуйста, будь так добр и просто *врубись* -- и попридержи все свои чудесные семидолларовые вопросы при себе, а? Если все время надо спрашивать, что это *такое*, у тебя никогда не будет времени это *узнать*.

Душа. Качество. То же самое?

Волна кристаллизации катилась вперед. Он видел два мира одновременно. С интеллектуальной -- квадратной стороны -- он теперь видел, что Качество -- термин расщепления. То, чего ищет каждый интеллектуал-аналитик. Берешь свой аналитический нож, направляешь кончик прямо на термин «Качество» и просто постукиваешь -- не сильно, легонько, -- и целый мир раскалывается, расщепляется ровно на две части: хиповый и квадратный, классический и романтический, технологический и гуманитаристский -- и этот раскол ясен. Нет никакого беспорядка, никакой путаницы. Никаких маленьких штучек, которые можно повернуть и так, и этак. Не просто умелый разлом, а очень удачный разлом. Иногда самые лучшие аналитики, работая с самыми очевидными линиями раскола, могут постучать и не получить ничего, кроме кучи мусора. И все же -- вот оно, Качество; крошечная, едва заметная линия дефекта; трещинка алогичного в нашей концепции вселенной; а постукал по ней, и вся вселенная распалась -- да так аккуратно, что почти не верится. Вот бы Кант был жив! Кант бы это оценил. Искусный гранильщик алмазов. Он бы увидел. Оставить Качество не определенным. Вот в чем секрет. С каким-то начинающимся осознанием того, что он вовлекается в странное интеллектуальное самоубийство, Федр писал: «Квадратность может быть сжато и в то же время тщательно определена как неспособность видеть качество прежде, чем оно интеллектуально определено, то есть изрублено на слова... Мы доказали, что качество, хоть и не определенное, существует, его существование можно увидеть эмпирически в классе, и можно продемонстрировать логически показом того, что без него мир не может существовать так, как мы его знаем. Остается увидеть и проанализировать не качество, а те странные привычки мышления, называемые "квадратностью", которые иногда мешают нам его видеть.»

Вот так стремился он отразить нападение. Предметом анализа, пациентом на столе, становилось уже не Качество, а сам анализ. Качество было здоровым и в хорошей форме. Это с анализом, казалось, что-то не в порядке -- то, что мешало ему видеть очевидное.

Я оборачиваюсь и вижу Криса далеко позади.

-- Пошли! -- кричу я.

Он не отвечает.

-- Пойдем же, *давай!* -- кричу я снова.

Затем я вижу, как он падает на бок и садится в траву на склоне горы. Я оставляю рюкзак и спускаюсь к нему.

Склон так крут, что мне приходится спускаться боком. Когда я подхожу, он плачет.

-- Я подвернул лодыжку, -- говорит он и не смотрит на меня.

Когда эго-скалолаз должен защищать образ самого себя, он естественным образом для этого лжет. Но видеть это отвратительно, и мне стыдно за себя, что я позволил этому случиться. Теперь мое желание продолжать дальше размывается его слезами, и его внутреннее поражение передается мне. Я сажусь, свыкаюсь немного с этой мыслью и, не отворачиваясь от нее, поднимаю его рюкзак и говорю:

-- Я понесу рюкзаки по очереди. Сейчас этот подниму туда, где лежит мой, и ты с ним останешься ждать меня, чтобы мы его не потеряли. А свой отнесу дальше и потом вернусь за твоим. Так ты сможешь хорошо отдохнуть. Времени уйдет больше, но дойдем.

Но я сделал это слишком поспешно. В моем голосе все еще звучит отвращение и негодование -- он его слышит, и ему стыдно. Видно, что он злится, но ничего не говорит -- из страха, что ему опять придется нести рюкзак, -- а только нахмуривается и не обращает на меня внимания, пока я перетаскиваю рюкзаки наверх. Я вытесняю из себя негодование по поводу того, что мне приходится это делать, думая о том, что, на самом деле, мне это работы прибавило не больше, чем если бы все было наоборот. Работа -- лишняя только в смысле достижения вершины горы, а это цель лишь номинальная. В смысле же подлинной цели -- нескольких лишних хороших минут, одной за другой -- выходит то же самое; а в действительности -- даже лучше. Мы медленно карабкаемся вверх, и негодование испаряется.

Весь следующий час мы медленно движемся все выше и выше; я по очереди переносу рюкзаки к тому месту, где замечен начинающийся ручеек. Посылаю Криса принести воды в одном из котелков; он уходит. Вернувшись, спрашивает:

-- Почему мы здесь остановились? Пошли дальше.

-- Это, наверное, последний ручей, мы их долго теперь не встретим, Крис. К тому же, я устал.
-- Почему ты так устал?
Он что, старается разозлить меня? Успешно.
-- Я устал, Крис, потому что несу рюкзаки. Если ты торопишься, то бери рюкзак и иди вперед. Я догоню.
Он снова глядит на меня с проблеском страха, а потом садится.
-- Мне это все не нравится, -- произносит он почти в слезах. -- Я ненавижу это все. Жалко, что я пошел. Зачем мы вообще сюда пошли? -- Он плачет. И сильно.
Я отвечаю:
-- Ты меня тоже заставляешь об этом пожалеть. Лучше съешь что-нибудь.
-- Ничего я не хочу. У меня живот болит.
-- Как угодно.
Он отходит в сторону, срывает травинку и засовывает ее в рот. Потом садится, уронив голову на руки. Я готовлю себе обед и ложусь немного отдохнуть.
Когда я просыпаюсь, он по-прежнему плачет. Некуда уйти ни мне, ни ему. Делать больше нечего -- придется справляться с существующей ситуацией. Но честное слово, я не знаю, какова она -- эта существующая ситуация.
-- Крис, -- наконец говорю я.
Он не отвечает. Я повторяю:
-- Крис.
По-прежнему никакого ответа. Наконец, он агрессивно произносит:
-- Чего?
-- Я хотел тебе сказать, Крис, что тебе ничего не нужно мне доказывать. Ты это понимаешь?
Вспышка настоящего ужаса озаряет его лицо. Он яростно дергает головой. Я говорю:
-- Ты не понимаешь, что я имею в виду, да?
Он продолжает смотреть в сторону и не отвечает. Ветер стонет в соснах.
Ну, я не знаю. Просто не знаю, что это такое. Не просто бойскаутское самомнение *так* его расстраивает. Что-то очень незначительное отражается на нем так плохо, и это -- конец света. Когда он пытается что-то сделать, и у него не выходит, он взрывается или бросается в слезы.
Я откидываюсь обратно на траву, отдыхаю опять. Может, нас обоих громит это отсутствие ответов. Я не хочу идти вперед, потому что похоже, что впереди тоже нет никаких ответов. И сзади нет. Просто боковой дрейф. Вот что между ним и мной. Боковой дрейф, ожидание чего-то.
Позже я слышу, как он рыскает в рюкзаке. Я переворачиваюсь и вижу, как он яростно смотрит на меня.
-- Где сыр? -- спрашивает он. Тон по-прежнему агрессивный.
Но я не собираюсь на это поддаваться.
-- Угощайся сам, -- говорю я. -- Я тебя обслуживать не собираюсь.
Он роется в мешке, находит сыр и крекеры. Я протягиваю ему охотничий нож, чтоб было чем намазывать сыр.
-- Я думаю, Крис, нужно сделать так: я положу все тяжелое в свой рюкзак, а легкое -- в твой. Так не придется ходить туда-сюда с обоими.
Он соглашается, и его настроение улучшается. Кажется, это что-то для него разрешило.
Мой рюкзак теперь весит, должно быть, фунтов сорок-сорок пять, и, пройдя немного, равновесие устанавливается примерно на одном вздохе на каждый шаг.
Мы подходим к еще более крутому подъему, и оно меняется на два вздоха на шаг. На одном участке склона доходит до четырех. Огромные шаги, почти вертикальные; надо цепляться за корни и ветки. Я чувствую себя глупо, поскольку надо было спланировать путь в обход. Вот и пригодились осиновые палки, и Крису интересно пользоваться своей. Рюкзак смещает центр тяжести наверх, а посох хорошо предохраняет от оверкиля.
Устанавливаешь одну ногу, посох, РЫВКОМ подтягиваешься на нем, вверх, делаешь три вдоха, потом устанавливаешь другую ногу, ставишь посох, РЫВОК вверх...

Не знаю, осталось ли во мне сегодня еще хоть немного Шатокуа. Обычно днем примерно в это время у меня начинает ехать крыша... может, только еще один общий взгляд на все, и на сегодня хватит...
Давным-давно, когда мы только еще начинали это странное путешествие, я говорил о том, как Джон и Сильвия, казалось, бежали от какой-то таинственной силы смерти, которая виделась им воплощенной в технологию, и что таких, как они, много. Я немного говорил и о том, как некоторые из вовлеченных в технологию людей, казалось, тоже стремились избежать ее. А причиной, лежавшей в основе этой беды, было то, что они видели ее в каком-то «отягленном измерении», которое касалось непосредственной поверхности вещей, в то время как меня больше заботила форма, лежащая в их основе. Я назвал стиль Джона романтическим, а свой -- классическим. На жаргоне шестидесятых, его был «хиповый», мой -- «квадратный». Потом мы начали углубляться в этот квадратный мир, чтобы посмотреть, что заставляет его тикать. Обсуждались данные, классификации, иерархии, причины-следствия и анализ, и где-то посреди всего этого завязался разговор про горсть песка -- мир, который мы создаем, -- взятую из бескрайнего пейзажа осознания вокруг нас. Я сказал, что над этой пригоршней начинает работать процесс разделения, который и делит ее на части. Классическое, квадратное понимание касается кучек песка, природы песчинок и основы для их рассортирования и взаимосвязей.

Отказ Федра определить Качество в терминах этой аналогии был попыткой сломать хватку классического пескопросеивающего способа понимания и найти точку общего понимания между классическим и романтическим мирами. Качество, термин раскола между хиповым и квадратным, казалось, ею и стало. Оба мира пользуются этим термином. Оба знают, что это такое. Разница только в том, что романтический оставляет его в покое и оценивает его таким, каково оно есть, классический же старается превратить его в набор интеллектуальных кубиков для строительства чего-то другого. Теперь же, при заблокированном определении, классический ум вынужден рассматривать Качество романтически: не искаженным мыслительными структурами.

Я это все сильно раздуваю, все эти классически-романтические различия, но Федр так не делал. Ему на самом деле не были интересны никакие сплавления различий между двумя этими мирами. Он искал другого -- свой призрак. И в погоне за этим призраком шел до более широких значений Качества, увлекавших его дальше и дальше -- до самого его конца. Я отличаюсь от него тем, что у меня нет ни малейшего намерения доходить до этого конца. Он прошел по этой территории и раскрыл ее. Я намереваюсь остаться здесь, возделывать ее и смотреть, смогу ли заставить здесь что-нибудь вырасти.

Я думаю, референтом этого понятия, могущего расколоть мир на хиповый и квадратный, классический и романтический, технологический и гуманитаристский, является сущность, которая может объединить мир, уже расколотый вдоль этих линий, в одно. Подлинное понимание Качества не просто служит Системе, бьет ее, или даже бежит от нее. Подлинное понимание Качества *захватывает* Систему, укрощает ее и заставляет ее работать на чью-либо личную пользу, оставляя, в то же самое время, этого кого-то свободным претворять свою внутреннюю судьбу.

Теперь, когда мы взобрались на одну стену ущелья, можем оглянуться и посмотреть вниз, на другую сторону. Она -- такая же отвесная, как и эта: темная подстилка черно-зеленоватых сосен до самого хребта. Мы можем измерить пройденное расстояние визированием против нее по кажущемуся горизонтальным углом. Наверное, разговоров о Качестве на сегодня хватит, и слава Богу. Я не против Качества, просто все классические разговоры о нем -- *не* оно само. Качество -- просто точка фокуса, вокруг которой переставляется куча интеллектуальной мебели.

Мы останавливаемся передохнуть и смотрим вниз. Настроение у Криса, кажется, улучшилось, но я боюсь, что это снова его «я».

-- Смотри, как далеко мы ушли, -- говорит он.

-- Идти нам еще намного дальше.

Потом Крис кричит -- послушать свое эхо, и швыряет вниз камни -- посмотреть, куда они упадут. Он уже почти дерзит мне, поэтому я меняю равновесие ходьбы относительно дыхания и перехожу на хороший быстрый шаг, раза в полтора быстрее прежнего. Это его как-то отрезвляет, и мы продолжаем лезть наверх.

Около трех часов дня ноги у меня становятся резиновыми, и нам пора останавливаться. Я не в самой лучшей форме. Если будешь идти дальше после того, как появится такое резиновое ощущение, то начнешь тянуть мышцы, и следующий день превратится в агонию.

Мы выходим на плоское место, бугор, выпирающий из склона горы. Я говорю Крису, что на сегодня это всё. Он, кажется, доволен и весел; может быть, я с ним и добился какого-то успеха.

Я готов немного вздремнуть, но в ущелье собрались облака, видимо, готовые облить нас дождем. Они так заполнили ущелье, что дна не видно, а хребет напротив проглядывает еле-еле.

Я открываю рюкзаки и вытаскиваю половинки палатки, армейские пончо, и пристегиваю их друг к другу. Беру веревку и натягиваю между двух деревьев, потом набрасываю на нее половинки нашего укрытия. Из стволов кустарника мачете вырезаю колышки и вбиваю их, потом плоским концом выкапываю неглубокую канавку вокруг палатки -- отводить дождевую воду. Едва успеваем затащить все внутрь, как начинается дождь.

Насчет дождя у Криса хорошее настроение. Мы растягиваемся на спальниках, смотрим, как спускается дождь, и слушаем его глухое постукивание по палатке. Лес выглядит туманно, на нас обоих нападает созерцательность, и мы наблюдаем, как вздрагивают листья кустов, когда по ним попадают капли, и вздрагиваем немного сами, когда разносится раскат грома, но мы счастливы оттого, что сухи, даже если все вокруг нас -- мокро.

Через некоторое время я лезу в рюкзак за книжкой Торо, нахожу ее и немного напрягаю зрение, чтобы почитать Крису в сером свете дождя. Мне кажется, я уже объяснял, что мы так делали раньше и с другими книгами, «продвинутыми», которых иначе он бы не понял. Делается так: я читаю фразу, он встревает с длинной серией вопросов по поводу этой фразы, а потом, когда любопытство его удовлетворено, я читаю следующую.

Мы так читаем Торо в течение некоторого времени, но через полчаса я, к своему удивлению, обнаруживаю, что Торо не доходит. Крис беспокоен, я -- тоже. Его структура языка не подходит для горного леса, в котором мы находимся. У меня такое ощущение, по крайней мере. Книга кажется ручной и отъединенной -- никогда бы не подумал так о Торо, а вот -- тем не менее. Он разговаривает с другой ситуацией, с другим временем, раскрывая

только зло технологии, а не решение его. Он не разговаривает с нами. Я неохотно убираю книгу на место, и мы оба молчим и размышляем. Только Крис, я, лес и дождь. Никакие книги не могут больше вести нас за собой. Котелки, выставленные наружу, начинают наполняться водой, а когда ее набирается достаточно, мы сливаем ее в один, добавляем немного кубиков куриного бульона и нагреваем на маленькой печке «Стерно». Как и любая еда или питье после трудного подъема в горах, бульон -- очень хорош.

Крис говорит:

-- А с тобой ходить в поход мне нравится больше, чем с Сазерлендами.

-- Обстоятельства другие, -- отвечаю я.

Когда с бульоном покончено, я достаю банку свинины с бобами и вываливаю ее в котелок. Она разогревается долго, но нам некуда торопиться.

-- Вкусно пахнет, -- говорит Крис.

Дождь прекратился, и только случайные капли стучат по палатке.

-- Думаю, завтра будет солнце, -- говорю я.

Мы передаем друг другу котелок, въедаясь в него с противоположных сторон.

-- Пап, о чем ты все время думаешь? Ты всегда все время думаешь.

-- Охххх... обо всем.

-- О чем?

-- Ох, о дожде, и о бедах, которые могут случиться, и обо всем вообще.

-- О чем -- всем?

-- О том, как тебе будет, когда ты вырастешь.

Ему интересно:

-- А как будет?

Но в его глазах виден легкий эгоистический блеск, когда он это спрашивает, поэтому ответ в результате получается замаскированным:

-- Не знаю, -- говорю я. -- Просто я об этом думаю.

-- Как ты думаешь, мы завтра доберемся до вершины этого ущелья?

-- Конечно, нам не так много осталось.

-- Утром?

-- Думаю, да.

Потом он засыпает, и влажный ночной ветер спускается от хребта, заставляя сосны вздыхать. Контуров древесных верхушек плавно движутся вместе с ним. Они подаются и возвращаются на место, потом со вздохом опять подаются и возвращаются, беспокойные от сил, которые не есть часть их природы. Одна сторона палатки начинает трепетать от ветра. Я встаю и укрепляю ее кольшком, потом немного брожу по влажной пружинящей траве бугра, заползаю обратно в палатку и жду, когда придет сон.

Подстилка из хвои, освещенная солнцем, медленно подсказывает, где я, и помогает рассеять сон.

Во сне я стоял в комнате, покрашенной белым, и смотрел на стеклянную дверь. С другой стороны были Крис, его брат и мама. Крис махал мне из-за двери, а брат улыбался, но у его матери в глазах стояли слезы. Потом я увидел, что улыбка Криса была застывшей и искусственной, а на самом деле там был глубокий страх.

Я двинулся в сторону двери, и его улыбка стала лучше. Он звал меня открыть дверь. Я уже почти собирался это сделать, но не сделал. Его страх возвратился, но я отвернулся и ушел.

Этот сон мне раньше снился часто. Его смысл очевиден, и он подходит под некоторые мои мысли вчера вечером.

Он пытается связаться со мной и боится, что это ему никогда не удастся. Здесь, наверху, все становится яснее.

За пологом палатки от хвои к солнцу уже поднимаются пары тумана. Воздух влажен и прохладен, и, пока Крис еще спит, я осторожно выбираюсь из палатки, выпрямляюсь и потягиваюсь.

Ноги и спина движутся туго, но не болят. Несколько минут я делаю гимнастику, чтобы растормозить их, а затем резко рву бегом с бугра к соснам. Так лучше.

Сегодня утром хвойный запах густ и влажен. Я сажусь на корточки и смотрю сверху на утренний туман в ущелье внизу.

Потом возвращаюсь к палатке; шум изнутри уже говорит о том, что Крис проснулся, и когда я заглядываю туда, то вижу, как он молча оглядывается по сторонам. Он просыпается долго, и только минут через пять мозги у него прогреются настолько, чтоб он начал разговаривать. Пока же он просто щурится на свет.

-- Доброе утро, -- говорю я.
Нет ответа. Несколько капель падают с сосны.
-- Ты хорошо поспал?
-- Нет.
-- Это плохо.
-- Почему ты так рано встал? -- спрашивает он.
-- Уже не рано.
-- Сколько времени?
-- Девять часов, -- отвечаю я.
-- Мы часов до трех, наверное, не спали.
До *трех*? Если он не спал, то ему за это придется сегодня поплатиться.
-- Ну, я, например, спал, -- говорю я.
Он странно смотрит на меня:
-- Ты *мне* не давал спать.
-- Я?!

-- Разговаривал.
-- В смысле -- во сне?
-- Нет, про *гору*!

Тут что-то не так.
-- Я ничего не знаю про гору, Крис.
-- Ну, ты про нее говорил всю ночь. Ты сказал, что на вершине горы мы увидим все. Ты сказал, что мы с тобой там встретимся.
Мне кажется, ему приснилось.
-- Ну как же мы можем с тобой там встретиться, если мы уже вместе?
-- Не знаю. Это *ты* сказал. -- Он выглядит расстроенным. -- Ты говорил так, будто ты пьяный или еще что-нибудь.

Он еще не совсем проснулся. Пусть лучше просыпается себе мирно. Но мне хочется пить, и я вспоминаю, что оставил канистру внизу, надеясь, что найдем в пути достаточно воды. Тупица. Теперь завтрак не будет до тех пор, пока не перевалим через хребет и не спустимся на другую сторону как можно дальше, чтобы найти ручей.
-- Нам бы лучше собрать все и начать двигаться, -- говорю я, -- если мы хотим найти воду для завтрака.
Снаружи уже тепло, а днем, может, даже будет жарко.
Палатка сворачивается легко, и я доволен, что все осталось сухим. Через полчаса мы уже упакованы. Теперь, если не считать прибитой травы, место выглядит так, будто здесь никого не было.
Предстоит еще много карабкаться вверх, но, найдя тропу, мы обнаруживаем, что это легче, чем вчера. Мы выбираемся на закругленную верхнюю часть хребта, где склон не такой уж крутой. Похоже, сосны здесь никогда не рубили. Весь прямой солнечный свет отгорожен от земли, и никакого подлеска нет вообще. Только пружинящий пол из хвои, открытый, просторный и легкий для ходьбы...

Пора продолжать Шатокуа: вторая волна кристаллизации, метафизическая.

Это извлеклось на свет как реакция на дику и бессвязную болтовню Федра по части Качества, когда английский факультет Бозмена, проинформированный о квадратности собственных членов, поставил ему закономерный вопрос: «Существует ли это ваше неопределенное "качество" в тех вещах, которые мы наблюдаем? Или же оно субъективно и существует только в наблюдателе?» Простой, достаточно нормальный вопрос, и с ответом его никто не торопил.

Ха. Не было надобности спешить. Сокрушающий удар, вопрос, сбивающий наземь, нокаут, «особый субботний» -- тот, от которого не оправишься.

Поскольку если Качество существует в объекте, то нужно просто объяснить, почему научные инструменты не способны его обнаружить. Надо предложить инструменты, которые будут его обнаруживать, или же просто сжиться с объяснением, что, мол, инструменты его не обнаруживают, поскольку вся твоя концепция качества -- как бы это повежливее -- просто большая куча чепухи.

С другой стороны, если оно субъективно и существует только в наблюдателе, тогда это Качество, из которого ты делаешь такого большого слона, -- просто причудливое название того, что тебе угодно.

Английский факультет колледжа штата Монтана выставил Федру древнюю логическую конструкцию, известную под названием дилемма. *Дилемма* -- по-гречески, «две посылки» -- уподоблялась передней части разъяренного нападающего быка.

Если он принимал посылку, что Качество объективно, то насаживался на один рог дилеммы. Если он принимал другую посылку -- что Качество субъективно, -- то насаживался на другой. Качество либо объективно, либо субъективно, -- следовательно, он повисает на рогах независимо от ответа.

Он заметил, что некоторые члены факультета одаривают его добродушными улыбками.

Тем не менее, Федр, будучи образованным в логике, сознавал, что каждая дилемма позволяет не два, но три классических опровержения. Также он знал несколько не столь классических, поэтому улыбался в ответ. Он мог

взяться за левый рог и опровергнуть идею о том, что объективность подразумевает научное обнаружение. Или же взяться за правый рог и опровергнуть идею, что субъективность подразумевает «то, что тебе угодно». Или пойти между рогов и отрицать, что субъективность и объективность -- единственный выбор. Можешь быть уверен -- он испробовал все три.

В добавление к этим трем классическим опровержениям существует несколько алогических, «риторических» опровержений. Федр, будучи ритором, имел под рукой и их тоже.

Можно быку в глаза швырнуть песком. Он уже проделывал это своим утверждением, что недостаток знания того, что такое Качество, составляет некомпетентность. Старое правило логики: компетентность говорящего не имеет значения для истинности того, что он говорит, поэтому весь разговор о некомпетентности был чистым песком. Самый большой дурак в мире может сказать, что солнце светит, но это не заставит его погаснуть.

Сократ, этот древний враг риторического спора, размазал бы Федре по стене, скажем, за такое: «Да, я принимаю вашу посылку, что я некомпетентен по части Качества. А теперь будьте любезны, покажите некомпетентному старику, что же такое Качество. Иначе как мне стать лучше?» Федре было бы позволено несколько минут потонуть в духовке, а затем его бы расплющили вопросами, доказавшими бы, что он тоже не знает, что такое Качество, и, по его же собственным меркам, тоже некомпетентен.

Можно попытаться ублажить быка. Федр мог бы сказать своим допросчикам, что ответ на эту дилемму -- за пределами его скромных способностей решать что-либо, но тот факт, что он не может найти ответа, не является логическим доказательством того, что ответ не может быть найден вообще. Не попытаются ли они, с их более обширным опытом, помочь ему найти этот ответ? Но для подобных колыбельных было слишком поздно. Они могли бы просто ответить: «Нет. Мы слишком квадратные. И пока у тебя не появится ответа, придерживайся программы, чтобы нам не пришлось потом проваливать твоих замороченных студентов, когда они придут к нам в следующей четверти.»

Третьей риторической альтернативой дилемме -- и, по моему мнению, наилучшей -- было *отказаться выходить на арену*. Федр мог просто сказать: «Попытка классифицировать Качество как субъективное или объективное есть попытка определить его. А я уже сказал, что оно *неопределимо*,» -- и оставить все как есть. Я уверен, что ДеВиз в действительности советовал ему в то время так и поступить.

Почему он предпочел пренебречь этим советом и избрал отвечать на дилемму логически и диалектически, а не легко избежать всего этого мистически, я не знаю. Но могу предполагать. Думаю, он прежде всего чувствовал, что вся Церковь Разума необратимо располагалась *внутри* арены логики; что когда кто-либо помещал себя вне логических дебатов, он, таким образом, помещал себя вне всякого академического внимания. Философский мистицизм, мысль о том, что истина неопределима и может постигаться только не-рациональными средствами, существовал вместе с нами с самого начала истории. Это основа практики Дзэн. Но не академический предмет. Академия, Церковь Разума, касается исключительно тех вещей, которые *могут* быть определены, а если кто-то хочет быть мистиком, то его место -- в монастыре, а не в Университете. Университеты -- это места, где вещи следует четко объяснять.

Я думаю, вторая причина его решения была эгоистической. Он считал себя довольно острым логиком и диалектиком, гордился этим и рассматривал дилемму, стоявшую перед ним, как вызов своему умению. Я теперь думаю, что этот след самомнения и стал началом всех его бед.

Я вижу, как впереди, в двухстах ярдах от нас и чуть выше сквозь сосны проходит олень. Пытаюсь показать его Крису, но к тому времени, как он туда смотрит, олень уже ушел.

Первым рогом дилеммы Федре было: Если Качество существует в объекте, почему научные инструменты не могут его обнаружить?

Этот рог подл. С самого начала он видел, насколько тот смертоносен. Если он собирался предположить, что он -- сверхчеловек, способный видеть в вещах Качество, которое другие ученые обнаружить не могут, то просто доказывал, что он -- либо чокнутый, либо дурак, либо то и другое вместе. В сегодняшнем мире идеи, несовместимые с научным знанием, не отрываются от земли.

Он вспомнил утверждение Локка, что ни один объект -- научный или иной -- не познаваем, кроме как в понятиях его качеств. Эта неоспоримая истина, казалось, подсказывает, что рациональные ученые не могут обнаружить Качество в объектах; поскольку Качество -- это *всё*, что они обнаруживают. «Объект» -- это интеллектуальное построение, *дедуктивно* выведенное из его качеств. Этот ответ -- если он действителен -- определенно вдребезги разносит первый рог дилеммы; некоторое время он Федре сильно радовал.

Но оказалось, что он ложен. Качество, которое Федр и его студенты наблюдали в классе, совершенно отличалось от качеств цвета, теплоты или твердости, наблюдаемых в лаборатории. Те физические свойства можно измерить инструментами. Его Качество -- «совершенство», «ценность», «доброкачественность» -- было не физическим свойством и не могло быть измерено. Его отбросила двусмысленность понятия «качество». Он спросил себя,

почему такая двусмысленность должна существовать, сделал мысленную заметку покопаться в исторических корнях слова *качество*, а затем отложил это в сторону. Рог дилеммы по-прежнему присутствовал на своем месте. Он обратился к другому рогу, казавшемуся более многообещающим в смысле опровержения. Он подумал: Итак, Качество -- это просто все, что тебе угодно? Эта мысль его разозлила. Великие художники истории -- Рафаэль, Бетховен, Микеланджело -- все они просто выдавали то, что было угодно народу. У них не было иных целей, кроме как пощекотать чувства по-крупному, так что ли? Это злило; а больше всего злило то, что он не мог увидеть никакого немедленного способа логически это препарировать. Поэтому он начал тщательно изучать это утверждение -- размышляя так же, как изучал что-нибудь всегда прежде, чем нападать.

И тогда он увидел. Вытащил нож и вырезал всего одно слово, создававшее в этой фразе весь эффект, который так злил его. Слово было «просто». Почему Качество должно быть *просто* тем, что тебе угодно? Почему «то, что тебе угодно,» должно быть «просто»? Что это «просто» в данном случае *значит*? Разложив все таким образом для независимого анализа, он ясно увидел, что «просто» в данном случае на самом деле ни черта не значило. Чисто уничижительный термин, чей логический вклад в предложение был нулевым. Теперь, без этого слова, предложение стало таким: «Качество -- это то, что тебе угодно,» -- и его значение целиком изменилось. Стало безобидным трюизмом.

Его заинтересовало, почему это предложение так сильно злило его в первый раз. Оно казалось таким естественным. Почему понадобилось так много времени, чтобы увидеть: на самом деле оно утверждало «То, что тебе угодно, -- плохо или, по меньшей мере, неуместно»? Что стояло за хамским предположением, что то, что нравится тебе, плохо или, по меньшей мере, не важно по сравнению с другими вещами? Это казалось квинтэссенцией квадратности, с которой он боролся. Маленьких детей учили не делать «только того, что им угодно», а делать... что?.. Конечно! То, что угодно *другим*. Кому -- другим? Родителям, учителям, руководителям, полицейским, судьям, официальным лицам, королям, диктаторам. Всем властям. Когда ты обучен презирать «только то, что тебе угодно», тогда, конечно, станешь более послушным слугой других -- *хорошим* рабом. Когда научишься не делать «только того, что тебе угодно», Система тебя возлюбит.

Но предположим, ты *делаешь* только то, что тебе угодно. Означает ли это, что ты обязательно выйдешь на улицу и немедленно станешь вдвигаться героиним, грабить банки и насиловать престарелых дам? Лицо, советующее не делать «только того, что тебе угодно», высказывает тем самым кое-какие замечательные предположения относительно того, что для него самого является привлекательным. Оно, кажется, не сознает, что люди могут не грабить банков, поскольку они рассмотрели последствия и решили, что это им не угодно. Оно не видит, что банки существуют, в первую очередь, потому, что они «угодны людям» -- а именно, обеспечивая ссудами. Федр начал задаваться вопросом, как все это осуждение того, «что тебе угодно,» вообще могло показаться ему таким естественным возражением.

Вскоре он увидел, что там лежит гораздо больше, нежели он сначала осознавал. Когда люди говорят: «Не делай только того, что тебе угодно,» -- они не просто имеют в виду: «Подчиняйся власти». Они имеют в виду что-то еще.

Это «что-то еще» открылось огромным регионом классической научной веры, которая заявляла: «то, что тебе угодно,» -- не важно, поскольку составлено из иррациональных эмоций в тебе самом. Он долго изучал этот аргумент, а затем разрезал его на две меньшие группы, которые назвал научным материализмом и классическим формализмом. Этих двоих можно часто найти объединенными в одном и том же лице, но логически они раздельны.

Научный материализм, более обычный среди мирских последователей науки, чем среди самих ученых, утверждает: то, что состоит из материи или энергии и может быть измерено инструментами науки, реально. Все остальное -- нереально или, по меньшей мере, не важно. «То, что тебе угодно,» -- не может быть измерено и, следовательно, нереально. «То, что тебе угодно,» может быть фактом или галлюцинацией. Угодность не различает между этими двумя. Вся цель научного метода состоит в том, чтобы действительно различать фальшивое и истинное в природе, исключать субъективные, нереальные, воображаемые элементы из чьей-либо работы, добиваться объективной, истинной картины реальности. Когда он сказал, что Качество -- субъективно, они просто услышали, что Качество -- воображаемо, и, следовательно, при любом серьезном рассмотрении реальности его можно игнорировать.

С другой стороны, существует классический формализм, который настаивает, что не понятие интеллектом, не понятие вообще. Качество в этом случае не важно, поскольку оно -- эмоциональное понимание и не сопровождается интеллектуальными элементами разума.

Из этих двух основных источников эпитета «просто», как чувствовал Федр, первый -- научный материализм -- гораздо легче подвергнуть разрезанию на ленточки. Из своего предыдущего образования он знал, что это наивная наука. Вначале он взялся за него, пользуясь *reductio ad absurdum*. Эта форма аргументации покоится на истине, что если неизбежные выводы из набора посылок абсурдны, то логически следует, что, по меньшей мере, одна из посылок, производящих их, абсурдна. Давайте рассмотрим, сказал он, что следует из посылки, что любое, не состоящее из массы-энергии, не реально или не важно.

В качестве стартера он использовал число ноль. Ноль, первоначально индуистское число, ввели на Западе арабы в Средние Века. Древние греки и римляне его не знали. Как *такое* могло произойти? -- спросил он. Что, природа так искусно спрятала ноль, что все греки и все римляне -- миллионы греков и римлян -- не могли его отыскать? Обычно думают, что ноль -- вот он, перед носом, все его могут увидеть. Он показал абсурдность попыток вывести ноль из любой формы массы-энергии, а потом спросил -- риторически: означает ли это, что число ноль «ненаучно»? Если так, то означает ли это, что цифровые компьютеры, функционирующие исключительно в

терминах единиц и нолей, следует для научной работы ограничить функционированием в терминах одних лишь единиц? Абсурдность этого заявления можно обнаружить без всяких хлопот.

Затем он перешел к другим научным представлениям, беря их одно за другим и показывая, что они не имеют возможности существовать независимо от субъективного рассмотрения. Он закончил законом тяготения, как в том примере, который я привел Джону, Сильвии и Крису в первый вечер нашего путешествия. Если исключить субъективность как не имеющую значения, сказал он, то вместе с ней придется исключать и весь объем науки в целом.

Это опровержение научного материализма, тем не менее, казалось, поместило его в лагерь философского идеализма -- к Беркли, Хьюму, Канту, Фихте, Шеллингу, Гегелю, Брэдли, Босанкэ -- в хорошую компанию, логичную до последней запятой, но ее настолько трудно оправдать на языке «здравого смысла», что все они казались ему обузой в его защите Качества, а отнюдь не помощью. Тот аргумент, что весь мир -- это ум, может быть прочной логической позицией, но уж определенно не прочной риторической позицией. Он слишком скучен и труден для начального курса по композиции. Слишком «притянут за уши».

В этом месте весь субъективный рог дилеммы выглядел почти столь же невдохновляюще, как и объективный. А аргументы классического формализма, когда он начал их исследовать, только ухудшали его. То были крайне мощные аргументы типа: ты не должен реагировать на непосредственные эмоциональные импульсы без рассмотрения большой рациональной картины в целом.

Детям говорит: «Не трать все карманные деньги на жевательную резинку (непосредственный эмоциональный импульс), поскольку тебе захочется потратить их потом на что-нибудь другое (большая картина)». Взрослым говорят: «Эта бумажная фабрика, может быть, ужасно воняет даже с самыми лучшими очистительными средствами (непосредственные эмоции), но без нее экономика целого города рухнет (большая картина)». В понятиях нашей старой дихотомии, на самом деле, говорится следующее: «Не основывайте свои решения на романтической поверхностной привлекательности, не рассмотрев классической формы, лежащей в основе». С этим он, вроде бы, соглашался.

Классические формалисты подразумевали под возражением «Качество -- это просто то, что тебе угодно», что это субъективное неопределенное «качество», которому он учил, -- просто романтическая поверхностная привлекательность. Правильно, состязания по популярности в классе могли определить, обладает сочинение непосредственной привлекательностью или нет, но было ли это *Качеством*? Качество -- это то, что «просто видишь» или, быть может, нечто более тонкое, то, чего не увидишь вообще, -- разве что через очень долгий промежуток времени?

Чем больше он изучал этот аргумент, тем более солидным он ему казался. Похоже, что именно он станет решающим во всем его тезисе.

Таким зловещим его делало то, что он казался ответом на вопрос, часто возникавший в классе, на который всегда приходилось отвечать несколько казуистически: Если все знают, что такое качество, то почему повсюду -- такие разногласия по его поводу?

Казуистика его заключалась в том, что, хотя чистое *Качество* одинаково для всех, *объекты*, которым, как говорили люди, *присуще* Качество, различны для каждого отдельного человека. Пока он оставлял Качество не определенным, с этим невозможно было спорить, но он знал -- и знал, что это знали студенты, -- что тут витает запах фальши. На самом деле, это не ответ.

Появилось иное объяснение: люди не приходят к согласию по поводу Качества, поскольку одни пользуются своими непосредственными эмоциями, а другие применяют свое общее знание. Он знал, что в любом состязании по популярности среди преподавателей английского этот последний аргумент, укреплявший их авторитет, завоеует всеобщее одобрение.

Но аргумент этот был абсолютно опустошающ. Вместо одного-единственного, единого Качества теперь, по-видимому, нам являлось *два* качества: романтическое, просто видимое -- оно присутствовало у студентов; и классическое, общее понимание -- оно было у учителей. Хиповое и квадратное. Квадратность -- не отсутствие Качества; это классическое Качество. Хиповость -- не просто присутствие Качества; это просто романтическое Качество. Раскол хипового и квадратного, обнаруженный им, по-прежнему оставался на месте, но Качество уже не оставалось целиком на какой-то одной стороне разлома, как он предполагал ранее. Вместо этого само Качество раскололось на два -- по одному на каждой стороне трещины. Его простое, аккуратное, прекрасное, не определенное Качество начинало усложняться.

Ему не нравилось, как это происходит. Термин «раскол», который должен был объединить классический и романтический способы смотреть на вещи, сам раскололся на две части и уже больше не мог ничего объединять. Он попался в аналитическую мясорубку. Нож субъективности-объективности разрезал Качество надвое и убил его как рабочую концепцию. Если он собирался спасти ее, то не следовало позволять ножу войти внутрь.

И действительно, Качество, о котором он говорил, *не было* классическим *Качеством* *или* романтическим *Качеством*. Оно находилось за обоими. И, клянусь Богом, оно не являлось также ни субъективным, ни объективным, оно стояло за обоими *этими* категориями тоже. На самом деле, вся дилемма субъективности-объективности, разума-материи применительно к Качеству оказывалась несправедливой. Это отношение разума-материи было интеллектуальным идефиксом многих веков. Этот пункт просто помещали на верхушку Качества, чтобы стащить его вниз. Как мог *он* сказать, является Качество разумом или же материей, если, во-первых, не существует логической ясности в том, что такое разум и что такое материя?

А поэтому: он отклонил левый рог. Качество не объективно, сказал он. Оно не обитает в материальном мире. Затем: он отклонил правый рог. Качество не субъективно, сказал он. Оно не обитает просто в уме.

И наконец: Федр, следуя по тропе, которой, насколько он знал, никто до сих пор не ходил за всю историю западной мысли, пошел прямо меж рогов объективно-субъективной дилеммы и сказал, что Качество не является ни частью разума, ни частью материи. Оно -- *третья* сущность, не зависящая от прочих двух. Слышали, как, идя по коридорам и спускаясь по лестницам Монтана-Холла, он тихо, почти неслышно напевал себе под нос: «Святая, святая, святая... благословенная Троица.» И еще есть слабый-слабый фрагмент воспоминания, может быть, ложный, может быть, это просто я его придумал, -- что он просто оставил всю эту мысленную структуру как есть на многие недели, никуда ее дальше не развивая.

Крис кричит:

-- Когда мы дойдем до вершины?

-- Вероятно, еще далеко, -- отвечаю я.

-- А мы много увидим?

-- Наверное. Ищи среди деревьев голубое небо. Пока его не видно, знай, что еще далеко. Свет пробьется через кроны, когда начнем приближаться к вершине.

Вчерашний дождь промочил эту мягкую хвойную подушку так, что по ней теперь удобно идти. Местами, когда она на таком склоне сухая, хвоя скользит, и ноги приходится глубоко вкапывать, чтобы не съехать вниз.

Я говорю Крису:

-- Здорово, когда нет кустов, да?

-- А почему их нет?

-- Думаю, здесь лес никогда не валили. Когда такой лес оставляют в покое на несколько веков, деревья полностью перекрывают рост всему подлеску.

-- Как в парке, -- говорит Крис. -- Хорошо все видно вокруг.

Настроение у него, кажется, гораздо лучше, чем вчера.

Думаю, отныне он будет хорошим путешественником. Это лесное молчание улучшает каждого.

Теперь мир, по Федру, был составлен из трех вещей: разума, материи и Качества. Тот факт, что он не установил между ними никаких отношений, сначала его несколько не беспокоил. Если из-за отношения между разумом и материей сражались веками и до сих пор конфликт не разрешили, то чего ради он за несколько недель должен выдвинуть по поводу Качества нечто убедительное? Поэтому он и оставил его. Положил на какую-то полку в уме, куда складывал всякие вопросы, на которые не находилось немедленного ответа. Он знал, что метафизическую троицу субъекта, объекта и Качества рано или поздно придется связать воедино взаимоотношениями, но не спешил это делать. Ему просто в такой кайф было избежать опасности тех рогов, что он успокоился и наслаждался, покуда мог.

В конце концов, он, тем не менее, обследовал вопрос более пристально. Хотя метафизической троице, трехглавой реальности, и нет логического выражения, такие троицы не особенно привычны и не особенно популярны. Метафизик обещно стремится либо к монизму -- например, к Богу, объясняющему природу мира как проявление одной-единственной вещи; либо к дуализму -- например, к разуму-материи, объясняющим все как две вещи; либо же он оставляет все как плюрализм, объясняющий все как проявление неопределенного количества вещей. Но три -- неудобное число. Прямо сразу хочется узнать: а почему три? Каковы отношения между ними? И пока необходимость расслабиться постепенно убывала, Федр начал любопытствовать по поводу этих взаимоотношений.

Он отметил, что хотя обычно ассоциируешь Качество с объектами, ощущение Качества иногда возникает вообще безо всякого объекта. Это вначале и привело его к мысли, что Качество, быть может, -- полностью субъективно. Но под Качеством он не имел в виду и только лишь субъективное удовольствие. Качество *уменьшает* субъективность. Качество вынимает тебя из тебя самого, заставляет осознавать мир вокруг. Качество *противоположно* субъективности.

Я не знаю, сколько он думал, прежде чем пришел к этому, но в конечном счете он увидел, что Качество не могло быть независимо связано ни с субъектом, ни с объектом, но могло быть обнаружено *только лишь во взаимоотношениях этих двух друг с другом*. Это та точка, где субъект и объект встречаются.

Уже теплее.

Качество -- не вещь. Это событие.

Еще теплее.

Это событие, когда субъект начинает осознавать объект.

И поскольку без объектов не может быть субъекта -- поскольку объекты создают осознание субъектом самого себя, -- то Качество -- это событие, когда становится возможным осознание и субъектов и объектов.

Горячо.

Вот теперь он знал, что это подходит.

Это означает, что Качество -- не просто *результат* столкновения между субъектом и объектом. Само существование субъекта и объекта *выводится* из события Качества. Событие Качества -- *причина* субъектов и объектов, которые после этого ошибочно подразумеваются причинами Качества!

Вот теперь он взял всю эту проклятую, чертову дилемму за глотку. Все это время дилемма несла в себе это мерзкое предположение, которому не было логического оправдания: что Качество -- *следствие* субъектов и объектов. А вот *нет*! Он извлек свой нож.

«Солнце Качества,» -- писал он, -- «не вращается вокруг субъектов и объектов нашего существования. Оно не только пассивно освещает их. Оно никаким образом не подчиняется им. Оно их *создало*. Это они подчинены *ему*!»

И вот тут, записав это, он понял, что достиг какой-то кульминации мысли, к которой бессознательно стремился долгое время.

-- Небо! -- кричит Крис.

Вот оно, высоко над нами -- узкий лоскут голубизны меж древесных стволов.

Мы движемся быстрее, и участки неба между деревьями становятся все крупнее и крупнее, и вскоре мы видим, что деревья редеют, вплоть до лысины на самой вершине. Когда она от нас -- всего лишь в пятидесяти ярдах, я говорю:

-- Пошли! -- и рву вперед, вкладывая в это усилие все оставшиеся запасы энергии, которые берег.

Я выкладываюсь полностью, но Крис нагоняет меня. Потом со смехом обгоняет. Тяжело нагруженные и на такой высоте, мы не стараемся установить никаких рекордов, но несемся вперед изо всех сил.

Крис добирается первым, когда я еще только выламываюсь из деревьев. Он поднимает руки и кричит:

-- Победа!

Эготист.

Я дышу так тяжело, что, когда дохожу до него, то не могу говорить. Мы просто сбрасываем мешки с плеч и ложимся на какие-то камни. Почва суха от солнца, но под твердой коркой -- грязь после вчерашнего дождя. Под нами на многие мили за лесистыми склонами и полями простирается долина Гэллатип. В одном углу долины -- Бозмен. С камня подпрыгивает кузнечик, планирует прочь от нас и улетаёт над вершинами деревьев.

-- Мы это сделали, -- говорит Крис. Он очень счастлив. Я еще не успел перевести дух, чтобы ему ответить.

Снимаю башмаки и носки, мокрые от пота, и выставляю их на камень сушиться. Медитативно гляжу, как пары от них поднимаются к солнцу.

Очевидно, я заснул. Солнце жарит. По моим часам -- без нескольких минут полдень. Я выглядываю из-за камня, на который опираюсь, и вижу, что Крис крепко спит на другой стороне. Высоко над ним лес прекращается, и голые серые скалы уводят к пятнам снега. Мы можем взобраться по тыльной стороне этого хребта прямо туда, но чем ближе к вершине, тем опаснее. Я некоторое время смотрю на вершину горы. Что там я сказал Крису прошлой ночью? -- «Увидимся на вершине горы»... нет... «*Встретимся* на вершине горы».

Как я мог встретиться с ним на вершине горы, если я уже и так с ним? В этом что-то странное. Он сказал, что я ему также говорил кое-что еще как-то ночью -- что здесь одиноко. Это противоречит тому, во что я на самом деле верю. Я совсем не считаю, что здесь одиноко.

Мое внимание привлекает звук упавшего камня с одной стороны горы. Ничего не движется. Абсолютно тихо. Всё в порядке. Такие маленькие подвижки камней слышишь постоянно.

Хотя не всегда и маленькие. Лавины начинаются вот с таких подвижек. Если ты над ними или рядом, за ними интересно наблюдать. Но если они над тобой -- никакой помощи не жди. Остается только смотреть, как она приближается.

Люди произносят странные вещи во сне, но с чего мне говорить ему, что мы с ним *встретимся*? И с чего бы ему думать, что я не сплю? Действительно, здесь что-то не то, от чего-то -- ощущение очень плохого качества, но я не знаю, что это. Сначала появляется ощущение, а потом вычисляешь, почему.

Я слышу, как Крис задвигался, и вижу, что он озирается по сторонам.

-- Где мы? -- спрашивает он.

-- На вершине хребта.

-- А, -- говорит он. Улыбается.

Я распаковываю обед: швейцарский сыр, пеппероны и крекеры. Тщательно разрезаю сыр, а потом пеппероны на аккуратные кусочки. Тишина позволяет каждую вещь делать правильно.

-- Давай построим здесь хижину, -- говорит он.

-- Охxxx, -- стону я, -- и карабкаться к ней каждый день?

-- Конечно, -- издевается он. -- Разве трудно?

Вчера в его памяти -- это давно. Я передаю ему сыр и крекеры.

-- О чем ты все время думаешь? -- спрашивает он.

-- О тысячах вещей, -- отвечаю я.

-- Каких?

-- Большинство из них не будут иметь для тебя никакого смысла.

-- Типа?

-- Типа, почему я тебе сказал, что мы встретимся на вершине горы.

-- А, -- говорит он и смотрит вниз.

-- Ты сказал, что голос у меня был, как у пьяного? -- переспрашиваю я.

-- Нет, не как у пьяного, -- отвечает он, по-прежнему глядя вниз. То, как он старается не смотреть на меня, заставляет усомниться, говорит ли он правду.

-- Как тогда?

Он не отвечает.

-- Как тогда, Крис?

-- Просто по-другому.

-- Как?

-- Ну, я не *знаю*! -- Он бросает на меня взгляд, и в нем виден страх. -- Так, как ты обычно говорил давно, -- добавляет он и снова смотрит вниз.

-- Когда?

-- Когда мы жили здесь.

Я старательно контролирую свое лицо, чтобы он не заметил никакой перемены в выражении, потом осторожно поднимаюсь, отхожу и методично переворачиваю носки на камне. Они давно высохли. Возвращаясь с ними, я вижу, что он по-прежнему смотрит на меня. Обыденным тоном я произношу:

-- Я и не знал, что говорил по-другому.

Он на это не отвечает.

Я натягиваю носки и надеваю на них башмаки.

-- Я хочу пить, -- говорит Крис.

-- Нам не так уж много нужно спуститься, чтобы найти воду, -- говорю я, вставая. Некоторое время смотрю на снег, потом говорю: -- Ты готов?

Он кивает и мы надеваем рюкзаки.

Идя по гребню к истоку оврага, мы слышим еще один клацающий звук падения камня -- намного громче, чем первый совсем недавно. Я оглядываюсь посмотреть, где это. По-прежнему ничего нет.

-- Что это было? -- спрашивает Крис.

-- Подвижка камней.

Мы оба секунду стоим тихо, прислушиваясь. Крис спрашивает:

-- Наверху кто-то есть?

-- Нет, я думаю, просто тающий снег высвобождает камни. Когда в самом начале лета так же жарко, как сейчас, слышно много таких подвижек. Иногда больших. Так снашиваются горы.

-- Я не знал, что горы изнашиваются.

-- Не изнашиваются -- *снашиваются*. Они округляются и становятся покатыми. Эти горы еще не сношены.

Теперь везде вокруг нас -- кроме верха -- склоны горы покрыты черноватой зеленью леса. На расстоянии лес похож на бархат.

Я говорю:

-- Ты сейчас смотришь на эти горы, и они выглядят такими постоянными и мирными, но они все время изменяются, а изменения эти не всегда уж и мирные. Под нами, вот сейчас под нашими ногами есть силы, которые могут разорвать всю эту гору на части.

-- А они делают это когда-нибудь?

-- Что делают когда-нибудь?

-- Разрывают всю гору на части?

-- Да, -- отвечаю я. Потом вспоминаю: -- Недалеко отсюда девятнадцать человек лежат мертвые под миллионами тонн скал. Все были поражены, что их только девятнадцать.

-- А что случилось?

-- Простые туристы откуда-то с востока; остановились на ночевку в специальном месте для лагеря. Ночью подземные силы вырвались на волю, и когда спасатели на следующее утро увидели, что произошло, то только покачали головами. Они даже не пытались начинать раскопки. Можно было только с глубины в несколько сот футов скал выкопать тела, которые все равно придется закапывать в землю снова. Вот они их там и оставили. Они и сейчас там лежат.

-- А откуда узнали, что их было девятнадцать?

-- Соседи и родственники из их городов сообщили, что они пропали.

Крис смотрит на вершину горы перед нами:

-- Их что, не предупредили?

-- Не знаю.

-- Скорее всего, предупреждение было.

-- Может, и было.

Мы идем туда, где хребет загибается внутрь, к началу оврага. Я вижу, что мы можем со временем найти в нем воду. Постепенно принимаю вниз.

Сверху еще немного постукивают камни. Мне вдруг становится страшно.

-- Крис, -- говорю я.

-- Что?

-- Знаешь, о чем я думаю?

-- Нет. О чем?

-- Я думаю, мы будем очень клевыми, если пока оставим эту верхушку в покое и попытаемся взять ее как-нибудь другим летом.

Он молчит. Потом произносит:

-- Почему?

-- У меня нехорошие чувства по ее поводу.

Он долго ничего не говорит. Наконец спрашивает:

-- Например?

-- Ох, я просто думаю, что мы можем попасть там в бурю или в оползень -- или что-нибудь типа такого, и это будет настоящая беда.

Снова молчание. Я поднимаю взгляд и вижу на его лице подлинное разочарование. Думаю, он знает, что я чего-то не договариваю.

-- Почему бы тебе пока об этом не подумать? -- говорю я. -- А потом, когда доберемся до воды и пообедаем, решим.

Мы продолжаем спускаться вниз.

-- О'кей? -- спрашиваю я.

Он, наконец, уклончиво отвечает:

-- О'кей...

Спускаться теперь легко, но я замечаю, что скоро склон станет отвеснее. Здесь все еще открыто и солнечно, но скоро опять зайдем под деревья.

Я не знаю, что и думать обо всех этих зловещих разговорах по ночам, кроме того, что это не хорошо. Для нас обоих. Похоже, что все напряжение езды на мотоцикле, походов, Шатокуа, всех этих старых мест вместе взятое оказало на меня плохое влияние, которое сказывается ночами. Хочется слиться отсюда -- и как можно скорее.

Я и не предполагаю, что для Криса это -- тоже как прежде. Меня сейчас легко зашугать, и я не стыжусь признаться в этом. *Он* никогда никого не шугался. Никогда. Вот в чем разница между нами. Вот почему я жив, а он -- нет. Если он там, наверху -- какая-то психическая сущность, какой-то призрак, какой-то доппельгангер, ожидающий нас наверху, Бог знает как именно... ну, ему тогда придется ждать долго. Очень долго.

Эти проклятые высоты через некоторое время просто жуть нагоняют. Я хочу вниз, далеко вниз; совсем, далеко, вниз.

К океану. Да, правильно. Где медленно накатываются волны, где всегда шум, и никуда нельзя упасть. Ты уже там.

Вот мы снова входим в деревья, и вид на вершину перекрывается их кронами. Я рад.

Я, к тому же, думаю, что мы в этом Шатокуа зашли по тропе Федра так далеко, как нам хотелось. Теперь лучше оставить эту тропу. Я отдал все должное уважение тому, что он думал, говорил и писал, и сейчас хочу сам развить некоторые идеи, развитием которых он пренебрег. Заголовок этого Шатокуа -- «Дзэн и Искусство Ухода за Мотоциклом», а не «Дзэн и Искусство Лазать по Горам», и на горных вершинах не бывает мотоциклов; Дзэна там, по моему мнению, тоже маловато. Дзэн -- «дух долины», а не горной вершины. На вершинах гор найдешь только тот Дзэн, который сам туда и принесешь. Давай выбираться отсюда.

-- Хорошо спускаться вниз, а? -- говорю я.

Нет ответа.

Боюсь, нам придется немножко поссориться.

Лезешь-лезешь на вершину, а получишь там только огромную, тяжеленную каменную таблицу с нацарапанной на ней кучей правил.

Это примерно то, что произошло с ним.

Подумал, что он -- чертов Мессия.

Только не я, парень. Часы слишком долги, а плата -- *слишком* коротка. Пошли. Пошли...

Вскоре я уже скачу по склону каким-то идиотским подпрыгивающим галопом... *тыг-дык, тыг-дык, тыг-дык...* пока не слышу, как Крис вопит:

-- ПОДОЖДИ! -- и, оглянувшись, не вижу, что он отстал на пару сотен ярдов и маячит среди деревьев.

И вот я торможу и жду его, но, немного погодя, вижу, что тащится позади он намеренно. Разочарован, конечно.

Полагаю, в этом Шатокуа мне следует кратко наметить то направление, в котором двигался Федр, не оценивая его, -- а потом продолжить уже про свое собственное. Поверь, когда мир кажется не двойственностью разума и материи, но тройственностью Качества, разума и материи, тогда искусство ухода за мотоциклом, как и другие искусства, приобретает измерения смысла, которых у него раньше никогда не наблюдалось. Спектр технологии, от которого бегут Сазерленды, становится не злом, а позитивным кайфом. А демонстрировать это -- долгая и кайфовая задача.

Но прежде, чем уволить этот другой спектр по статье, я должен сказать следующее:

Возможно, он бы отправился в направлении, по которому я сейчас собираюсь пойти, если бы эта вторая волна кристаллизации, метафизическая, заземлилась бы, наконец, на то, на что я ее буду заземлять, то есть на повседневный мир. Я думаю, метафизика хороша, если она улучшает повседневную жизнь; иначе забудь про нее. Но, к несчастью для него, он ее не заземлил. Она ушла в третью мистическую волну кристаллизации, от которой он так и не оправился.

Он размышлял по поводу отношений Качества к разуму и материи, и определил Качество как родителя разума и материи, как то событие, которое порождает разум и материю. Эта коперниканская инверсия отношения Качества к объективному миру могла бы звучать загадочно, если бы ее так тщательно не объяснили, но он и не хотел, чтобы она была загадочной. Он просто имел в виду, что на режущем лезвии времени, перед тем, как можно выделить какой-нибудь предмет, должно существовать нечто вроде внеинтеллектуального осознания, которое он называл осознанием Качества. Не можешь осознавать, что увидел дерево, *до тех пор, пока* не увидишь дерево, и между мгновением видения и мгновением осознания должен существовать временной зазор. Мы иногда не придаем ему значения. Но нет оправдания мысли, что он на самом деле не имеет значения -- *никакого* оправдания.

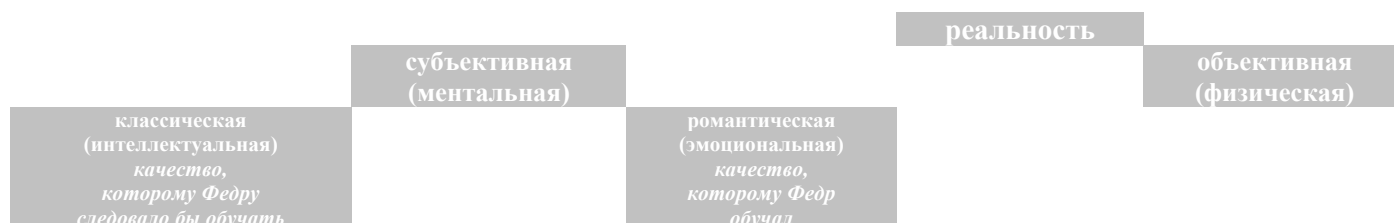
Прошлое существует только в наших воспоминаниях, будущее -- только в наших планах. Настоящее -- наша единственная реальность. Дерево, которое осознаешь интеллектуально вследствие этого крохотного временного зазора, -- всегда в прошлом и, следовательно, всегда нереально. *Любой* интеллектуально постигаемый предмет -- *всегда* в прошлом и, следовательно, нереален. Реальность -- всегда момент видения *перед* тем, как имеет место интеллектуализация. *Другой реальности нет.* Эта доинтеллектуальная реальность -- и есть то, что, как чувствовал Федр, он верно определил как Качество. Поскольку все интеллектуально определяемые вещи должны возникнуть *из* этой доинтеллектуальной реальности, Качество -- *родитель, источник* всех субъектов и объектов. Он чувствовал, что интеллектуалы испытывают обычно самые большие трудности в видении этого Качества именно потому, что они столь скоры и абсолютны, вгоняя все в интеллектуальную форму. Легче всего увидеть это Качество маленьким детям, необразованным и культурно «лишенным» людям. Они обладают наименьшей предрасположенностью к интеллектуальности из культурных источников и наименьшей формальной тренировкой для того, чтобы глубже привить ее себе. Вот, чувствовал он, почему квадратность -- такое единственное в своем роде интеллектуальное заболевание. Он ощущал, что случайно привил себе иммунитет против него, или, по меньшей мере, до некоторой степени сломал привычку своей неудачей в школе. После этого он не ощущал собственной принудительной идентификации с интеллектуальностью и мог исследовать антиинтеллектуальные доктрины с пониманием.

Квадратные, говорил он, из-за своей предвзятости к интеллектуальности обычно считают Качество, доинтеллектуальную реальность, не имеющую значения, простым бессобытийным переходным периодом между объективной реальностью и субъективным восприятием ее. Поскольку у них -- предубежденные представления о его незначительности, они не стремятся обнаружить, отличается ли оно как-нибудь от их интеллектуального представления о нем.

Отличается, сказал он. Как только начинаешь слышать звучание этого Качества, видеть эту корейскую стену, эту не-интеллектуальную реальность в ее чистой форме, хочется забыть все это словесное барахло, которое, как начинаешь видеть, -- постоянно где-то в другом месте.

Теперь, вооруженный этой новой, переплетенной во времени, метафизической троицей, он полностью остановил тот раскол романтического-классического Качества, что угрожал погубить его. Они уже не могли препарировать Качество. Теперь он мог просто сидеть и в свое удовольствие препарировать *их*. Романтическое Качество всегда соотносилось с мгновенными впечатлениями. Квадратное Качество всегда вовлекало множество соображений, которые растягивались на период времени. Романтическое Качество было настоящим, «здесь и сейчас» вещей. Классическое Качество всегда занималось больше чем просто настоящим. Всегда рассматривалось отношение

настоящего к прошлому и будущему. Если постиг, что и прошлое, и будущее содержатся в настоящем, -- у-ух, вот это оттяг; значит, то, ради чего живешь -- настоящее. И если твой мотоцикл работает, то чего из-за него беспокоиться? Но если ты считаешь, что настоящее -- просто миг между прошлым и будущим, просто проходящее мгновение, то пренебрегать прошлым и будущим ради настоящего -- это действительно плохое Качество. Мотоцикл может работать сейчас, но когда ты в последний раз проверял уровень масла? Мелочная суета с романтической точки зрения, но хороший здравый смысл -- с классической. Теперь у нас два разных типа Качества, но они больше не раскалывают само Качество. Они просто -- два разных временных аспекта Качества, краткий и долгий. До этого требовалась только метафизическая иерархия, выглядевшая так:



То, что он дал им взамен, было метафизической иерархией, выглядевшей так:



Качество, которому он обучал, было не просто частью реальности -- оно было всем целиком. Затем он в понятиях триединства перешел к ответу на вопрос: Почему все видят Качество по-разному? Вопрос, на который до сих пор всегда приходилось отвечать уклончиво-благовидно. Теперь он говорил: «Качество бестелесно, бесформенно, неопишимо. Видеть тела и формы -- значит интеллектуализировать. Качество независимо от каких бы то ни было тел и форм. Имена, тела и формы, которые мы придаем Качеству, только частично зависят от Качества. Также они частично зависят от априорных образов, которые мы накапливаем в своей памяти. Мы постоянно стремимся найти в событии Качества аналогии нашему предыдущему опыту. Если мы этого не сделаем, то окажемся неспособны действовать. Мы выстраиваем наш язык в терминах этих аналогий. Мы выстраиваем всю нашу культуру в терминах этих аналогий.»

Причина, по которой люди видят Качество по-разному, говорил он, в том, что они приходят к нему с разными наборами аналогий. Он приводил примеры из лингвистики, показывая, что для нас буквы хинди *da*, *da* и *dha* звучат идентично, поскольку у нас нет к ним аналогий, чтобы почувствовать различия. Подобным же образом, большинство говорящих на хинди не может различить *da* и *the*, потому что нечувствительны к этому различию. Для индийских селян, говорил он, вовсе не необычно видеть призраков. Но для них кошмар -- пытаться увидеть закон тяготения.

Это, говорил он, объясняет, почему целый класс первокурсников, изучающих композицию, приходят к одинаковой оценке качества в сочинении. У них всех -- сравнительно одинаковое прошлое и одинаковые знания. Но если ввести группу иностранных студентов или, скажем, вывести средневековые поэмы из диапазона классного опыта, то способность студентов оценить качество, возможно, будет соотноситься не столь хорошо. В некотором смысле, говорил он, именно выбор Качества студентом определяет *студента*. Люди расходятся во мнениях о Качестве не потому, что Качество различно, а потому, что различны люди в смысле их опыта. Он прикинул, что если бы два человека обладали идентичными априорными аналогиями, то они бы каждый раз идентично видели бы и Качество. Тем не менее, способа проверить это не существует, поэтому приходится оставлять эту прикидку чисто спекулятивной.

В ответ своим коллегам по школе он писал:

«Любое философское объяснение Качества будет и ложным, и истинным именно потому, что оно -- философское обобщение. Процесс философского объяснения -- аналитический процесс, процесс разламывания чего-то на субъекты и предикаты. То, что я имею в виду (и все остальные имеют в виду) под словом *Качество*, нельзя разломать на субъекты и предикаты. Не потому, что Качество так загадочно, но потому, что Качество так просто, прямо и непосредственно.

Простейшая интеллектуальная аналогия чистого Качества, которую могут понять люди в нашей среде, такова: "Качество -- реакция организма на его окружающую среду" (он взял этот пример, потому что его главные вопрошающие, казалось, видели все в свете теории поведения "стимул-реакция"). Амеба, помещенная на поверхность воды с капелькой разбавленной серной кислоты поблизости, будет отодвигаться от кислоты (я думаю). Если бы она могла говорить, то, ничего не зная про серную кислоту, сказала бы: "Эта среда имеет плохое качество". Если бы у нее была нервная система, она действовала бы гораздо более сложным образом, чтобы преодолеть плохое качество среды. Она искала бы аналогий, то есть образов и символов из предыдущего опыта, чтобы определить неприятную природу своей новой окружающей среды и таким образом "понять" ее. В нашем высокосложном органическом состоянии мы, развитые организмы, реагируем на свое окружение изобретением множества замечательных аналогий. Мы изобретаем землю и небеса, деревья, камни и океаны, богов, музыку, искусства, язык, философию, инженерию, цивилизацию и науку. Мы называем эти аналогии оеальностью. Они и являются реальностью. Мы заволакиваем наших детей во имя истины знать, что они -- и есть реальность. Мы швыряем любого, кто не приемлет этих аналогий, в лечебницу для умалишенных. Но именно Качество заставляет нас изобретать аналогии. Качество -- непрекращающийся стимул, который наша среда налагает на нас ради создания того мира, в котором мы живем. Полностью. Каждый малюсенький кусочек. Теперь взять то, что вынудило нас создать мир, и включить его в мир, который мы создали, явно невозможно. Вот почему Качество нельзя определить. Если мы все же определим его, то определим мы нечто меньшее, чем само Качество.»

Я помню этот фрагмент ярче, чем любой другой, вероятно потому, что он -- самый важный. Когда он его написал, то испытал мгновение страха и уже было вычеркнул слова: «Полностью. Каждый малюсенький кусочек». Безумие в них. Думаю, он видел его. Но он не мог увидеть никакой логической причины для вычеркивания, и малодушничать было уже слишком поздно. Он проигнорировал предупреждение и оставил все как было.

Он положил карандаш, а потом... почувствовал, как что-то подалось. Будто что-то внутри напряглось слишком сильно и не выдержало. А потом стало уже слишком поздно.

Он начал видеть, что сместился со своей первоначальной позиции. Он уже говорил не о метафизической троице, но об абсолютном монизме. Качество -- источник и сущность всего.

Целый новый поток философских ассоциаций хлынул в голову. Гегель с его Абсолютным Разумом тоже говорил так. Абсолютный Разум тоже независим -- как от объективности, так и от субъективности.

Тем не менее, Гегель сказал, что Абсолютный Разум -- источник всего, но потом исключил из «всего» романтический опыт. Абсолют Гегеля был полностью классическим, полностью рациональным и полностью упорядоченным.

Качество не таково.

Федр вспомнил, что Гегеля считали мостом между философиями Запада и Востока. Веданта индуистов, Путь даосистов и даже Будда -- всё описывалось как абсолютный монизм, сходный с философией Гегеля. Федр в то время сомневался, однако, являются ли мистические Некто и метафизические монизмы самообратимыми, поскольку мистические Некто не следуют никаким правилам, а метафизические монизмы -- следуют. Его Качество было метафизической сущностью, а не мистической. Или мистической? В чем разница?

Он ответил себе, что разница -- в определении. Метафизические сущности определены. Мистические Некто -- нет. Это делало Качество мистическим. Нет. На самом деле -- и тем, и другим. Хотя он до сих пор в чисто философском свете считал его метафизическим, всю дорогу он отказывался определять его. Поэтому оно к тому же еще -- и мистическое. Его неопределимость освобождала его от правил метафизики.

Потом, импульсивно, Федр подошел к книжной полке и вытащил небольшую голубую книгу в картонном переплете. Он сам переписал и переплел ее очень давно, когда не мог найти нигде в продаже. Ей было 2400 лет; «Дао Дэ Цзин» Лао Цзы. Он начал читать строки, читанные уже множество раз, но сейчас он изучал их, чтобы увидеть, сработает ли некая подстановка. Он начал читать и интерпретировать прочитанное одновременно.

Он читал:

Качество, которое может быть определено, не есть Абсолютное Качество.

И он то же самое говорил.

Имена, которые можно дать, не есть Абсолютные имена.

Это начало неба и земли.

Названное суть мать всех вещей...

Именно.

Качество (романтическое Качество) и его проявления (классическое Качество) -- по природе своей одно и то же.

Ему даются разные имена (субъекты и объекты), когда оно становится классически проявленным.

Романтическое качество и классическое качество вместе могут быть названы «мистическим».

Из таинства достичь более глубокого таинства -- вот врата к секрету всей жизни.⁽¹³⁾

Качество всепроникающе.

И его применение неистощимо!

Непостижимо!

Как источник всех вещей...

И всё же, кажется, остается хрустально прозрачным, как вода.

Я не знаю, чей это Сын.

Образ того, что было до Бога.⁽¹⁴⁾

*...Постоянно, непрерывно оно, кажется, существует. Черпай из него, и служит оно тебе с легкостью...⁽¹⁵⁾
Разглядываемое, но не увиденное... слышимое, но не слышимое... хватаемое, но не тронутое... Эти три избегают всех наших расспросов и так сливаются и становятся одним.*

Не его восходом есть свет.

Не его заходом есть тьма

Непрекращающееся, постоянное

Не может быть определено

И вновь обращается в царство небытия

Вот почему оно зовется формой бесформенного

Образом ничто

Вот почему оно зовется ускользающим

Встречая его ты не видишь его лица

Следуя за ним ты не видишь его спины

Тот кто крепко держится за качество древнего

Способен знать первозданные начала

Которые есть неразрывность Качества⁽¹⁶⁾

Федр читал строку за строкой, стих за стихом всего этого, видел, как они подходят, совпадают, становятся на место. Именно. *Вот то*, что имелось в виду. *Вот* что он все время говорил, только бедно, механистично. В этой же книге не было ничего смутного или неточного. Она была такой точной и определенной, какой только и могла быть. Она была тем, что он говорил, -- только на другом языке, с другими корнями и началами. Из другой долины он видел то, что находилось в *этой*, теперь уже не как историю, рассказываемую чужими, а как часть той долины, в которой жил он сам. Он видел всё.

Он разгадал код.

Он читал дальше. Строку за строкой. Страницу за страницей. Ни единого несоответствия. То, о чем он все время твердил как о Качестве, было здесь Дао, великой центральной генерирующей силой всех религий, восточных и западных, прошлых и настоящих, всего знания, всего.

Когда свой мысленный взор он обратил вверх, и узрел собственный образ, и понял, где он был и что видел, и... я не знаю, что произошло на самом деле... но сейчас то пробуксовывание, которое Федр ощущал раньше, внутренний раздрай его ума, внезапно набрал силу -- как камни на вершине горы. Прежде, чем он смог остановить его, внезапно аккумулированная масса осознания начала расти и расти, перерастая в лавину мысли, выходя из-под контроля; с каждым добавочным возрастанием направленной вниз, всевырывающей массы, высвобождающей стократно собственный объем, а затем той массы, выкорчевывающей себя еще в стократном объеме, и уже это -- стократно еще; дальше и дальше, все шире и шире; пока не осталось стоять ничего.

Ничего больше вообще.

Всё не выдержало под ним.

21

-- Ты не очень храбрый, да? -- спрашивает Крис.

-- Нет, -- отвечаю я и протаскиваю кожу кружка салями между зубов, чтобы отделить мясо, -- но ты будешь поражен, когда узнаешь, как я ловок.

Мы уже спустились от вершины на приличное расстояние, здесь сосны гораздо выше и перемешаны с лиственным кустарником, они как-то более закрыты, чем на другой стороне ущелья на такой же высоте.

Очевидно, в это ущелье попадает больше дождя. Я делаю большой глоток воды из котелка, который Крис наполнил в здешнем ручейке, а потом смотрю на него. По его лицу я вижу, что он покорился спуску вниз, и нет необходимости спорить или читать ему лекции. Мы заканчиваем обед половиной кулка конфет, запиваем еще одним котелком воды и укладываемся на землю отдохнуть. Вода из горного ручья -- самая вкусная в мире.

Немного погодя Крис говорит:

-- Я теперь могу нести больше груза.

-- Ты уверен?

-- Конечно, уверен, -- отвечает он немного заносчиво.

Я с благодарностью перекидываю кое-что из тяжелого в его рюкзак, и мы, извиваясь, влезает в лямки сидя на земле, а потом встаем. Разница в весе чувствуется. Он умеет быть внимательным, когда в настроении.

Отсюда это выглядит медленным спуском. На этом склоне, очевидно, лес валили, и здесь много кустарника выше человеческого роста; поэтому приходится идти медленнее. Приходится идти в обход.

В этом Шатокуа мне хочется уйти от интеллектуальных абстракций крайне общего порядка и взяться за более серьезную, практическую, повседневную информацию. Я не вполне уверен, как за нее взяться.

Одну только штуку никогда не услышишь о первопроходцах: то, что все они без исключения -- пачкуны по своей по природе. Они рвутся вперед, видя только свою благородную далекую цель, и никогда не замечают мерзости и мусора, остающихся после. Кому-то другому приходится все за ними убирать -- а это не очень-то блистательная или интересная работенка. Прежде, чем приступить к ней, приходится немного подавлять себя. Потом же, когда вгонишь себя в действительный депрессняк, -- не так уж и плохо.

Открывать метафизические взаимоотношения Качества и Будды на какой-нибудь горной вершине личного опыта -- захватывающее занятие. И очень незначительное. Если бы весь этот Шатокуа только этим и ограничивался, то меня следовало бы уволить. Важно только значение такого открытия для всех долин этого мира, для всех нудных и тупых занятий и монотонных лет, которые всех нас в них ожидают.

Сильвия знала, о чем говорила в первый день, когда заметила всех тех людей, ехавших в другую сторону. Как она их назвала? «Похоронной процессией»? Теперь задача -- вернуться к той процессии с расширенным пониманием, не таким, как сейчас.

Перво-наперво, следует сказать, что я не знаю, является ли утверждение Федра о том, что Качество и есть Дао, истинным. Я не знаю ни одного способа проверить его истинность, поскольку он просто сравнил свое понимание одной мистической сущности с другой. Он, конечно, думал, что это -- одно и то же, но, возможно, не вполне понимал, что такое Качество. Или же, что более вероятно, не понимал Дао. Мудрецом он определенно не был. А в книге, которой он столь хорошо внимал, есть много полезного и для мудрецов.

Я думаю, далее, что все его метафизическое скалолазание не сделало абсолютно ничего для нашего понимания ни Качества, ни Дао. Ничегошеньки.

Это похоже на ошеломляющее отрицание того, что он говорил и думал, но это не так. Наверняка с этим утверждением он и сам бы согласился, поскольку любое описание Качества -- какое-то определение и, следовательно, не должно достигать цели. Я полагаю, что он, может быть даже, сказал бы, что утверждения, не достигающие цели, подобные тем, которые делал он сам, -- еще хуже, чем полное отсутствие утверждений, поскольку их легко можно принять за истину, и понимание качества будет *задержано*.

Нет, он не сделал ничего ни для Качества, ни для Дао. Выгода была только Разуму. Он показал, как границы разума можно расширить, чтобы он включал в себя элементы, которые не могли быть ассимилированы раньше и, следовательно, считались иррациональными. Думаю, что ошеломляющее присутствие именно этих иррациональных элементов, требующих ассимиляции, создает настоящее плохое качество, хаотический, разьединенный дух двадцатого столетия. Сейчас я хочу взяться за них как можно упорядоченнее.

Мы -- на крутом склоне, покрытом скользкой грязью, на которой очень трудно держать равновесие. Мы хватаемся за ветки и кусты. Я делаю шаг, потом прикидываю, куда наступить дальше, шагаю туда и снова смотрю.

Скоро кустарник настолько густеет, что я вижу: придется сквозь него прорубаться. Я приседаю, пока Крис достает мачете из рюкзака у меня на спине. Передает его мне, и я, рубя и срезая ветки, углубляюсь в заросли. Медленный путь. На каждый шаг нужно срезать две-три ветки. Так может длиться долго.

Первым шагом от мысли Федра, что «Качество есть Будда», является утверждение, что если это суждение верно, то оно дает рациональную основу для унификации трех сфер человеческого опыта, которые в настоящее время разьединены. Эти три сферы -- Религия, Искусство и Наука. Если можно показать, что Качество -- центральный термин всех трех, и что это Качество -- не разных видов, а только одного, то следует, что три разьединенных сферы обладают основой для взаимослияния.

Отношение Качества к сфере Искусства довольно утомительно было показано на примере стремления Федра к пониманию Качества в Искусстве риторики. Не считаю, что есть необходимость что-то прибавлять к этому в смысле анализа. Искусство -- усилия высокого качества. Только это и необходимо здесь сказать. Или, если требуется еще что-нибудь высокочувственное: Искусство -- Божество, явленное в трудах человека. Отношения, установленные Федром, проясняют, что два в огромной степени по-разному звучащих суждения -- на самом деле, идентичны.

В сфере Религии рациональные отношения Качества к Божеству нуждаются в более тщательном установлении, и я надеюсь сделать это позднее. Пока же можно медитировать на том факте, что староанглийские корни слов «Будда» и «Качество» -- *God* и *good* -- по всей видимости, идентичны. В непосредственном будущем я хочу сконцентрировать внимание на сфере Науки, поскольку она более всего нуждается в установлении таких отношений. От заявления о том, что Наука и ее отпрыск -- технология -- «свободны от ценностей», то есть «свободны от качества», следует отказаться. Именно эта «свобода от ценностей» усиливает действие силы смерти, к которой было обращено внимание в начале этого Шатокуа. Завтра я намереваюсь с этого начать.

Остаток дня мы переползаем через серые стволы бурелома и выписываем углы вниз по крутому склону. Доходим до утеса, идем в сторону вдоль его края, ища тропу вниз, и, в конце концов, перед нами появляется узкая щель, по которой можно спуститься. Она продолжается каменной ложиной, где течет крошечный ручеек. Лошину заполняют кусты, камни, грязь и корни огромных деревьев, обмытые ручейком. Потом издали доносится шум гораздо большего потока. Мы переправляемся через речку с помощью веревки, которую там же и бросаем, а на дороге за речкой натыкаемся еще на каких-то туристов, которые подбрасывают нас до города. В Бозмене -- поздно и темно. Чем будить ДеВизов и проситься к ним, мы берем номер в центральном городском отеле. Какие-то отдыхающие в фойе лыбятся на нас. Я в своей армейской форме, с посохом, двухдневной щетиной и черным беретом, должно быть, похож на старого кубинского революционера во время вылазки. В номере мы изможденно сбрасываем все на пол. Я вытряхиваю в урну камешки, набравшиеся в башмаки во время перехода речки, потом ставлю их на холодный подоконник, чтобы медленно просыхали. Ни слова не говоря, мы падаем в постели.

22

На следующее утро мы уезжаем из отеля освеженными, прощаемся с ДеВизами и по открытой дороге направляемся на север. ДеВизы хотели, чтобы мы остались, но верх одержал странный зуд двигаться дальше, на запад, и продолжать заниматься своими мыслями. Сегодня я хочу говорить о человеке, про которого Федр никогда не слышал, но чьи работы я штудировал в довольно большом объеме, готовясь к этому Шатокуа. В отличие от Федра, этот человек был международной знаменитостью в тридцать пять, живой легендой -- в пятьдесят восемь, а Бертран Расселл характеризовал его как «по общему мнению, самого выдающегося ученого своего поколения». Он был астрономом, физиком, математиком и философом в одном лице. Его звали Жюль Анри Пуанкаре.

Мне всегда казалось невероятным -- и до сих пор, наверное, кажется, -- что Федру следовало путешествовать по той линии мысли, где до этого никогда не ходили. Кто-то где-то до него должен был обо всем этом думать, а Федр был настолько плохим ученым, что сдублировать общие места какой-нибудь знаменитой философской системы, не утруждая себя проверками, вполне было бы на него похоже.

Вот я и истратил больше года на чтение очень длинной и иногда очень скучной истории философии в поисках идей-дублей. Захватывающий метод чтения истории философии, тем не менее, -- и произошла штука, с которой я до сих пор не совсем знаю, что делать. *Обе* философские системы, которые, как предполагается, должны полностью противоречить друг другу, повидимому, говорят нечто очень близкое тому, что думал Федр, -- с незначительными вариациями. Каждый раз я думал, что нашел того, кого он дублировал, но каждый раз из-за каких-то, казалось бы, крохотных различий он брал совершенно другое направление. Гегель, например, на которого я ссылался раньше, отрицал индуистские системы философии как вообще не философию. Федр же, кажется, ассимилировал их, или был ассимилирован ими. Ощущения противоречия не возникало.

В конце концов, я пришел к Пуанкаре. Здесь снова наблюдалось немножко повторения, но открылось и совершенно иное явление. Федр следует по длинной и извилистой тропе к высочайшим абстракциям, потом, кажется, готов спуститься вниз, как вдруг останавливается. Пуанкаре начинает с наиболее основных научных истин, разрабатывает их до тех же самых абстракций и потом останавливается. Оба следа прекращаются у *самых окончаний друг друга!* Меж ними существует совершенная непрерывность. Когда живешь в тени безумия,

появление другого ума, говорящего и думающего так же, как и твой, -- что-то близкое к благословию божьему. Будто Робинзон Крузо нашел следы на песке.

Пуанкаре жил с 1854 по 1912 годы и работал профессором Парижского Университета. Своими бородой и пенсне он напоминал Анри Тулуз-Лотрека, жившего в Париже в то же самое время и бывшего всего на десять лет моложе.

В течение жизни Пуанкаре начался удручающе глубокий кризис основ точных наук. Многие годы научная истина была вне возможности сомнения; логика науки была непогрешимой, а если ученые иногда и ошибались, то предполагалось, что это -- результат их непонимания ее правил. На все великие вопросы уже дали ответы. Миссия науки теперь заключалась в том, чтобы просто оттачивать эти ответы до все большей и большей точности. Правда, существовали еще необъясненные пока явления -- радиоактивность, прохождение света сквозь «эфир» и странные взаимоотношения магнитных и электрических сил; но и они, если каким-либо свидетельством могли служить прошлые прецеденты, должны были неминуемо пасть. Едва ли кто-либо догадывался, что через несколько десятилетий больше не будет абсолютного пространства, абсолютного времени, абсолютной материи или даже абсолютной величины; классическая физика, научная «твердыня вечная», станет «приблизительной»; самый трезвый и самый уважаемый из астрономов будет говорить человечеству, что если бы он достаточно долго смотрел в достаточно мощный телескоп, то все, что он бы увидел, оказалось бы его собственным затылком!

Основание основополагающей Теории Относительности пока понималось очень немногими, из которых одним был Пуанкаре, как самый выдающийся математик своего времени.

В своих «Основах Науки» Пуанкаре объяснял, что предпосылки кризиса основ науки очень стары. Долго и безрезультатно добивались, говорил он, демонстрации аксиомы, известной как пятый постулат Эвклида, и этот поиск стал началом кризиса. Постулат Эвклида о параллельных, утверждающий, что через данную точку нельзя провести больше одной линии, параллельной данной прямой, мы обычно изучаем в курсе школьной геометрии. Это один из основных блоков, на которых строится вся математика геометрии.

Все остальные аксиомы казались слишком очевидными для того, чтобы подвергать их сомнению, а эта -- нет. И все же от нее невозможно было избавиться, не уничтожив огромных порций математики, и никто, казалось, не мог сократить ее до чего-то более элементарного. Какие огромные усилия потратили впустую в этой химерической надежде, в действительности, трудно вообразить, говорил Пуанкаре.

Наконец, в первой четверти девятнадцатого века и почти в одно и то же время венгр и русский -- Боля и Лобачевский -- неопровержимо установили, что доказательство пятого постулата Эвклида невозможно. Они размышляли так: если бы существовал способ свести постулат Эвклида к другим, более определенным аксиомам, то станет заметным другой эффект -- полное изменение постулата Эвклида создаст логические противоречия в геометрии. Вот они и изменили его на противоположный.

Лобачевский в самом начале допускает, что через данную точку можно провести две параллели к данной прямой. И, кроме этого, сохраняет все остальные аксиомы Эвклида. Из этих гипотез он выводит серию теорем, среди которых невозможно найти никаких противоречий, и выстраивает геометрию, безупречная логика которой ни в чем не уступает логике эвклидовой геометрии.

Таким образом, своей неспособностью найти какие-либо противоречия он доказывает, что пятый постулат несводим к более простым аксиомам.

Но не доказательство тревожило. Его же собственный рациональный побочный продукт вскоре затмил и его, и все остальное в области математики. Математика, краеугольный камень научной определенности, внезапно стала неопределенной.

Теперь у нас имелось *два* противоречащих видения непоколебимой научной истины, истинной для всех людей во все времена, безотносительно их личных пристрастий.

Вот что послужило основой глубокого кризиса, разбившего научное самодовольство Позолоченного Века.

Откуда нам узнать, какая из этих геометрий верна? Если не существует основания для различения их, то тогда имеется только вся математика, допускающая логические противоречия.

Но математика, допускающая внутренние логические противоречия, -- вообще не математика. Конечное действие неэвклидовых геометрий становится не большим, чем бессмысленной бредятиной колдуна, вера в которую поддерживается исключительно самой верой!

И, разумеется, раз такие двери открылись, едва ли можно было ожидать, что число противоречащих систем непоколебимой научной истины ограничится двумя. Появился немец по фамилии Риманн с еще одной непоколебимой системой геометрии, которая швыряет за борт не только постулат Эвклида, но и первую аксиому, утверждающую, что только одна прямая может быть проведена через две точки. Снова внутреннего противоречия нет, есть только лишь несовместимость с геометриями как Эвклида, так и Лобачевского.

В соответствии с Теорией Относительности, геометрия Риманна наилучшим образом описывает мир, в котором мы живем.

У Три-Форкс дорога врезается в узкий каньон в скалах, покрытых беловатым налетом, и проходит мимо пещер Льюиса и Кларка. К востоку от Бьютта мы преодолеваем долгий и трудный подъем, пересекаем Континентальный Раздел и спускаемся в долину. Затем минуем огромную трубу плавильного завода в Анаконде,

заворачиваем в сам городок и находим хороший ресторан со стойками и кофе. Мы долго поднимаемся по дороге, которая ведет к озеру, окруженному хвойными лесами, и по солнцу я определяю, что утро уже почти кончилось. Мы проезжаем через Филлипсбёрг и выбираемся на заливные луга. Встречный ветер здесь более порывистый, поэтому, чтобы немножко погасить его, я сбавляю скорость до пятидесяти пяти. Проезжаем сквозь Мэксвилл, и к тому времени, как добираемся до Холла, нам уже очень нужно хорошо отдохнуть.

Рядом с дорогой находим церковный двор и останавливаемся. Поднялся сильный ветер и стало зябко, но солнце согревает, и мы кладем шлемы и расстилаем куртки с подветренной стороны церкви. Здесь очень открыто и одиноко, но прекрасно. Когда вдалеке есть горы или хотя бы холмы, есть пространство. Крис утыкается лицом в куртку и пытается заснуть.

Теперь, без Сазерлендов, все по-другому -- так одиноко. Если ты меня извинишь, я просто еще немного продолжу свое Шатокуа, пока одиночество не пройдет.

Для того, чтобы разрешить проблему, чем является математическая истина, говорил Пуанкаре, нам следует сначала спросить себя, какова природа геометрических аксиом. Являются ли они синтетическими априорными суждениями, как говорил Кант? То есть, существуют ли они как закрепленная часть человеческого сознания, независимые от опыта и несозданные опытом? Пуанкаре считал, что нет. Они бы тогда обложили нас с такой силой, что мы не могли бы ни вообразить противоположного предположения, ни построить на нем теоретическую доктрину. Тогда бы не появилось неэвклидовой геометрии.

Следует ли, значит, заключить, что аксиомы геометрии -- экспериментальные истины? Пуанкаре и так тоже не считал. Они бы тогда подвергались непрерывному изменению и пересмотру по мере поступления новых лабораторных данных. А это, по всей видимости, противоречит всей природе самой геометрии.

Пуанкаре сделал вывод, что аксиомы геометрии -- *условности*, и наш выбор из всех возможных условностей *направляется* экспериментальными фактами, но остается *свободным* и ограничивается только необходимостью избегать всяческого противоречия. Таким образом, постулаты могут оставаться строго истинными, даже если экспериментальные законы, которые определяли их принятие, всего лишь приближенны. Аксиомы геометрии, другими словами, -- простые замаскированные определения.

Тогда, определив природу геометрических аксиом, он обратился к вопросу: какая геометрия истинна -- Эвклида или Риманна?

И ответил: Вопрос лишен смысла.

С таким же успехом можно спросить: является ли метрическая система мер истинной, а система «эвердьюпойс»⁽¹⁷⁾ -- ложной? является ли картезианская система координат истинной, а полярная -- ложной?

Одна геометрия не может быть более истинной, чем другая. Она может быть только более *удобной*. Геометрия не истинна, она *выгодна*.

Пуанкаре затем перешел к демонстрации условностной природы других понятий науки -- вроде пространства и времени, показывая, что нет какого-то одного способа измерения этих сущностей, более истинного, чем другой: то, что принимается общим согласием, может быть просто-напросто удобнее.

Наши концепции пространства и времени -- тоже определения, избранные на основе их удобства при обращении с фактами.

Такое радикальное понимание наших самых основных научных понятий, тем не менее, еще не полно. Тайна того, что есть пространство и время, может стать понятнее при помощи этого объяснения, но теперь бремя поддержания порядка вселенной покоится на «фактах». Что такое факты?

Пуанкаре подошел к исследованию фактов критически. *Какие* факты вы собираетесь наблюдать? -- спросил он. Их -- бесконечное множество. У недифференцированного наблюдения фактов -- не больше шансов стать наукой, чем у мартышки за пишущей машинкой -- сочинить «Отче Наш».

То же самое относится и к гипотезам. *Какие* гипотезы? -- писал Пуанкаре. «Если явление допускает одно полное механическое толкование, оно допустит и бесконечное множество других, которые в равной степени хорошо будут описывать все особенности, выявленные экспериментом.» Это суждение Фейербах вынес в лаборатории; оно поднимало вопрос, из-за которого его выперли из школы.

Если бы у ученого в распоряжении имелось бесконечное время, говорил Пуанкаре, необходимо было бы только сказать ему: «Смотри и замечай хорошенько»; но поскольку нет времени видеть все, и лучше не видеть вообще, чем видеть неверно, ему необходимо сделать выбор.

Пуанкаре разработал некоторые правила: Существует иерархия фактов.

Чем более общ факт, тем он дороже. Те, что могут послужить много раз, лучше тех, у которых мало шансов возникнуть вновь. Биологи, например, не знали бы, как им построить науку, если бы существовали только особи, а видов бы не было, и если бы наследственность не делала детей похожими на их родителей.

Какие факты могут возникать снова и снова? Простые. Как их узнать? Выбирай те, которые *кажутся* простыми.

Либо эта простота реальна, либо сложные элементы неразличимы. В первом случае мы, скорее всего, встретим этот простой факт снова -- либо в одиночестве, либо как элемент сложного факта. У второго случая тоже есть хорошие шансы возникнуть снова, поскольку природа не конструирует такие случаи наобум.

Где находится простой факт? Ученые искали его в двух противоположностях -- в бесконечно большом и бесконечно малом. Биологов, например, инстинктивно подводило к оценке клетки как тому, что интереснее целого животного, а со времен Пуанкаре белковую молекулу считали интереснее клетки. Последствия показали мудрость такого подхода, поскольку клетки и молекулы, принадлежащие различным организмам, как оказалось, более сходны, нежели сами организмы.

Как тогда выбрать интересный факт -- тот, что начинается снова и снова? Метод -- именно такой выбор фактов; следовательно, необходимо сначала создать метод; и много их выдумали, поскольку ни один не возникает сам по себе. Начинать следует с регулярных фактов, но после того, как правило установлено безо всякого сомнения, факты, соответствующие ему, становятся скучными, поскольку больше ничему новому нас не учат. Тогда важным становится исключение. Мы ищем не подобий, но различий, выбираем наиболее выраженные различия, поскольку они самые показательные и самые поучительные.

Сначала ищем случаи, в которых это правило имеет наибольший шанс не сработать; заходя очень далеко в пространстве или во времени, мы можем найти, что правила наши полностью перевернуты, и эти значительные перевороты позволяют лучше видеть те маленькие перемены, что могут происходить ближе. Но в меньшей степени следует нацеливаться на удостоверение сходств и различий, нежели на узнавание подобий, скрытых под очевидными расхождениями. Сначала кажется, что отдельные правила не согласуются, но при более пристальном взгляде мы видим в общем, что они сходны друг с другом; различные в сущности, они сходны по форме, порядку своих частей. Когда мы смотрим на них под таким углом, то видим, как они увеличиваются; у них возникает тенденция охватывать собой все. И именно это делает определенные факты ценными: они завершают картину и показывают, что та верно изображает другие известные картины.

Нет, заключал Пуанкаре, ученые не выбирают наобум факты, которые наблюдают. Ученый стремится сконденсировать много опыта и много мысли в томик как можно тоньше; вот почему маленькая книжка по физике содержит так много прошлых опытов и в тысячу раз больше -- возможных опытов, чей результат известен заранее.

Потом Пуанкаре дал иллюстрацию того, как обнаруживается факт. Он описал в общем, как ученые приходят к фактам и теориям, и -- уже узко и целенаправленно -- проник в собственный опыт с открытием математических функций, упрочивших его раннюю славу.

Пятнадцать дней, рассказывал он, он пытался доказать, что никаких таких функций не может быть. Каждый день усаживал себя за рабочий стол, просиживал так час или два, пробовал огромное количество комбинаций и не достигал никаких результатов.

Затем, однажды вечером, наперекор всегдашней привычке, он выпил черного кофе и не смог уснуть. Идеи возникали толпами. Он чувствовал, как они сталкивались, пока не начали замыкаться пары, образуя устойчивые комбинации.

На следующее утро ему пришлось только записать результаты. Имела место волна кристаллизации.

Он описал, как вторая волна кристаллизации, управляемая аналогиями с установленной уже математикой, произвела на свет то, что он позднее назвал «Тэта-Фуксианской Серией». Он уехал из Кэна, где жил, в геологическую экспедицию. Разнообразие путешествия заставило его забыть о математике. Он собирался войти в автобус, и в тот момент, когда поставил ногу на ступеньку, к нему пришла идея -- причем, ничто из его предыдущих мыслей не готовило ее, -- что трансформации, использовавшиеся им для определения Фуксианских функций, идентичны трансформациям неевклидовой геометрии. Он не стал проверять эту мысль, рассказывал он, а просто продолжал автобусный разговор; но у него возникла совершенная уверенность. Позднее, на досуге, он проверил результат.

Следующее открытие произошло, когда он гулял по обрыву над морем. Оно пришло с теми же самыми характеристиками -- краткостью, внезапностью и немедленной уверенностью. Другое крупное открытие случилось, когда он шел по улице. Люди превозносили этот его процесс мышления как таинственные труды гения, но Пуанкаре не довольствовался столь мелким объяснением. Он пытался глубже промерять происходящее.

Математика, говорил он, -- не просто вопрос применения правил не больше науки. Она не просто делает возможными большинство комбинаций согласно определенным установленным законам. Комбинации, полученные таким образом, весьма многочисленны, бесполезны и громоздки. Подлинная работа изобретателя состоит в выборе из этих комбинаций так, чтобы исключить бесполезные или, скорее, избежать хлопот по их выработке, а правила, которые должны направлять выбор, исключительно тонки и нежны. Почти невозможно установить их точно; они должны быть скорее почувствованы, чем сформулированы.

Пуанкаре затем выдвинул гипотезу: этот выбор делается тем, что он назвал «подсознательным я», сущностью, точно соответствующей тому, что Фейербах называл «доинтеллектуальным осознанием». Подсознательное я, говорил Пуанкаре, смотрит на большое число решений проблемы, но только *интересные* вламываются в сферу сознания. Математические решения избираются подсознательным я на основе «математического прекрасного», гармонии чисел и форм, геометрической элегантности. «Это -- подлинное эстетическое чувство, знакомое всем математикам, -- говорил Пуанкаре, -- но непосвященные о нем настолько не осведомлены, что часто поддаются соблазну улыбнуться.» Но именно эта гармония, эта красота и есть центр всего.

Пуанкаре совершенно ясно дал понять, что не говорит о романтической красоте видимостей, которая трогает чувства. Он имел в виду классическую красоту, возникающую из гармоничного порядка частей, которую может ухватить чистый разум, которая придает структуру романтической красоте и без которой жизнь была бы лишь смутна и мимолетна -- сном, от которого невозможно было бы отличать сны, поскольку для такого различения не существовало бы основы. Поиск этой особой классической красоты, ощущение гармонии космоса заставляет нас *избирать факты, наиболее подходящие для того, чтобы внести что-то в эту гармонию*. Не факты, но отношение вещей приводит к универсальной гармонии, которая есть единственная объективная реальность. Объективность мира, в котором мы живем, гарантирует то, что этот мир -- общий и для нас, и для других мыслящих существ. Посредством коммуникаций с другими людьми мы получаем от них готовые гармоничные

рассуждения. Мы знаем, что эти рассуждения не исходят от нас, и в то же время признаем в них -- *из-за их гармоничности* -- работу разумных существ, таких же, как и мы сами. И поскольку эти рассуждения кажутся соответствующими миру наших ощущений, мы можем, наверное, сделать заключение о том, что эти разумные существа видели те же вещи, что и мы; таким образом, мы знаем, что нам это не приснилось. Вот эта гармония, это *качество*, если хочешь, -- единственная основа для единственной реальности, которую мы только можем знать.

Современники Пуанкаре отказывались признать, что факты преизбраны, поскольку считали, что поступать так -- значит разрушать справедливость научного метода. Они подразумевали, что «преизбранные факты» означают, что истина -- это «все, что тебе угодно», и называли его идеи «конвенционализмом». Они рьяно игнорировали истинность того, что их собственный «принцип объективности» сам по себе не является наблюдаемым фактом -- и, следовательно, по их собственным критериям, должен помещаться в состояние приостановленного одушевления.

Они чувствовали, что должны сделать это, поскольку если бы они этого не сделали, то вся философская подпорка науки бы рухнула. Пуанкаре не предлагал никаких решений этого затруднительного положения. Чтобы прийти к этому решению, он не зашел достаточно далеко в метафизические значения того, о чем говорил. Он пренебрег и не сказал, что выбор фактов перед тем, как их «наблюдаешь», -- это «то, что тебе угодно» *только в дуалистической, метафизической системе субъекта-объекта!* Когда Качество вступает в картину как третья метафизическая сущность, предварительный выбор фактов перестает быть произвольным. Он основан не на субъективном, капризном «что тебе угодно», а на *Качестве*, которое -- сама реальность. Так это затруднение исчезает.

Выглядело, будто Федр складывал собственную головоломку, но из-за недостатка времени оставил незаконченной целую сторону.

Пуанкаре же работал над *своей* головоломкой. Его мнение о том, что ученый избирает факты, гипотезы и аксиомы на основании гармонии, также оставило незаполненным грубый, зазубренный ее край. Оставить в научном мире впечатление, что источник всей научной реальности -- просто субъективная, капризная гармония -- значит решать проблемы эпистемологии, оставив незавершенным край на границе метафизики, который делает эпистемологию неприемлемой.

Но мы знаем из метафизики Федра, что та гармония, о которой говорил Пуанкаре, -- *не субъективна*. Она -- источник субъектов и объектов и существует в отношениях предшествования к ним. Она *не* капризна, она -- сила, *противоположная* капризности; полагающий принцип всей научной и математической мысли, *уничтожающий* капризность, без которого никакая научная мысль не может развиваться. У меня на глаза навернулись слезы узнавания именно от открытия того, что эти незавершенные края идеально совпадают в такой гармонии, о которой говорили как Федр, так и Пуанкаре, образуя завершенную структуру мысли, способную объединить раздельные языки Науки и Искусства в один.

По обе стороны склоны задрались ввысь, образовав длинную узкую долину, извивающуюся до самой Мизулы. Этот встречный ветер утомляет, я уже устал с ним бороться. Крис постукивает меня по плечу и показывает на высокий холм с большой нарисованной буквой М. Я киваю. Утром мы уже встретили такое при выезде из Бозмена. На ум приходит отрывок воспоминания о том, что каждый год абитура каждой школы лазит туда и подновляет букву.

На станции, где мы заправляемся, с нами заговаривает человек на трейлере с двумя аппалузскими лошадьми. Большинство лошадиников настроено против мотоциклов, кажется, но этот -- нет, он задает кучу вопросов, на которые я отвечаю. Крис все еще просит меня подняться к букве М, но я и отсюда вижу, что дорога туда крута, сильно изрыта колеями и ухабиата. Я не хочу валять дурака -- с нашей шоссейной машиной и тяжелым грузом. Мы немного разминаем затекшие ноги, прогуливаемся и как-то устало выезжаем из Мизулы в сторону прохода Лоло.

В памяти всплывает, что не так много лет назад эта дорога была полностью покрыта грязью, петляла, поворачивала у каждой скалы и в каждой горной складке. Теперь она заасфальтирована, а повороты широки. Весь поток движения, очевидно, направлялся на север, в Калиспелл или в Кёр-д'Ален, поскольку сейчас почти полностью иссяк. Мы едем на юго-запад, ветер в спину, и мы себя хорошо чувствуем. Дорога начинает заворачиваться к проходу.

Все признаки Востока полностью исчезли -- по крайней мере, у меня в воображении. Дождь пригоняют сюда тихоокеанские ветры, а реки и ручьи возвращают его обратно в Тихий океан. Мы должны оказаться у океана через два-три дня.

На перевале мы видим ресторан и останавливаемся перед ним рядом со старым ревуном-харлеем. Сзади у него -- самодельная корзина, а пробег -- тридцать шесть тысяч. Настоящий бродяга.

Внутри набиваем животы пиццей и молоком, а закончив -- сразу уходим. Осталось не очень много светового дня, а искать место для лагеря в потемках трудно и неприятно.

Уже выходя, видим у мотоциклов этого бродягу со своей женой и говорим привет. Он -- из Миссури, а спокойный взгляд его жены говорит, что у них было хорошее путешествие.

Мужчина спрашивает:

-- Вы тоже продирались через этот ветер до Мизулы?

Я киваю:

-- Миль тридцать или сорок в час.

-- Как минимум, -- откликает он.

Мы немного разговариваем о ночлеге, и они переходят на то, что очень холодно. Никогда и подумать не могли у себя в Миссури, что летом будет так холодно -- даже в горах. Им пришлось покупать одежду и одеяла.

-- Сегодня ночью очень холодно быть не должно, -- говорю я. -- Мы поднялись всего где-то на пять тысяч футов.

Крис говорит:

-- Мы остановимся на ночь где-нибудь рядом с дорогой.

-- На какой-нибудь стоянке?

-- Нет, просто съедем с дороги и все.

Они не выражают ни малейшего желания присоединиться к нам, поэтому после паузы я нажимаю кнопку стартера, и мы уезжаем.

На дороге тени деревьев на склонах уже длинны. Через пять или десять миль мы видим поворот на лесосеку и углубляемся туда.

Дорога покрыта песком, поэтому я переключаюсь на первую передачу и выставляю ноги, чтобы не упасть. Мы видим боковые дороги, уходящие в стороны от главной лесосеки, но я остаюсь на главной просеке до тех пор, пока где-то через милю не натыкаемся на бульдозеры. Значит, они до сих пор здесь валят лес. Мы разворачиваемся и направляемся по одной из боковых просек. Примерно через полмили дорогу перегораживает упавший ствол. Это хорошо. Дорогу бросили.

Я говорю Крису:

-- Приехали, -- и он слезает. Мы -- на склоне, который позволяет озирать нетронутый лес на много миль вокруг.

Крису очень хочется исследовать это место, но я так устал, что просто хочу отдохнуть.

-- Иди сам, -- говорю я ему.

-- Нет, пошли вместе.

-- Крис, я действительно устал. Посмотрим утром.

Я развязываю рюкзаки и расстилаю спальные мешки на земле. Крис уходит. Я вытягиваюсь -- руки и ноги наливаются усталостью. Молчащий, прекрасный лес...

Через некоторое время Крис возвращается и говорит, что у него понос.

-- Ох, -- говорю я и поднимаюсь. -- Тебе надо поменять белье?

-- Да, -- он выглядит сконфуженно.

-- Возьми в мешке у переднего колеса. Переоденься и достань мыло из седельной сумки. Сходим на речку и стираем.

Его все это смущает, и он рад выполнять распоряжения.

Уклон дороги так покат, что приходится сильно топать ногами, спускаясь к речке. Крис показывает мне камешки, которые собрал, пока я спал. Здесь стоит густой сосновый дух леса. Становится прохладно, и солнце уже очень низко. Тишина, усталость и закат немного угнетают меня, но я держу это при себе.

После того, как Крис отстирал белье до полной чистоты и выжал его, мы пускаемся в обратный путь вверх.

Карабкаюсь, я со внезапной подавленностью начинаю ощущать, что шел по этой просеке всю свою жизнь.

-- Пап!

-- А?

Маленькая птичка вспархивает с дерева перед нами.

-- Чем я должен быть, когда вырасту?

Птица исчезает за дальним хребтом. Я не знаю, что сказать.

-- Честным, -- наконец отвечаю я.

-- В смысле -- кем работать?

-- Кем хочешь.

-- Почему ты сердишься, когда я спрашиваю?

-- Я не сержусь... Я просто думаю... Не знаю... Я очень устал, чтобы думать... Не имеет значения, что ты будешь делать.

Такие дороги, как эта, становятся все меньше, меньше и совсем исчезают.

Позднее я замечаю, что он отстает.

Солнце уже за горизонтом, и на нас опускаются сумерки. Мы поодиночке бредем обратно по просеке, а когда доходим до мотоцикла, забираемся в спальники и без единого слова засыпаем.

Вот она в конце коридора -- стеклянная дверь. А за нею -- Крис, и с одной стороны стоит его младший брат, а с другой -- его мать. Крис держится руками за стекло. Он узнает меня и машет. Я машу в ответ и приближаюсь к двери.

Как тихо всё. Будто смотришь кино с испорченным звуком.

Крис поднимает взгляд на мать и улыбается. Она тоже улыбается ему, но я вижу, что за улыбкой прячется горе. Она очень расстроена чем-то, но не хочет, чтобы дети это видели.

И вот теперь я вижу, что это за стеклянная дверь. Это крышка гроба -- моего.

Не гроба -- саркофага. Я -- в огромном склепе, мертвый, а они отдают последние почести.

Они очень добры -- пришли сюда ради этого. Могли бы и не приходить. Я им благодарен.

Вот Крис зовет меня открыть стеклянную дверь склепа. Я вижу, что ему хочется поговорить со мной.

Наверняка хочет, чтобы я рассказал, на что похожа смерть. Меня так и подмывает сделать это -- рассказать. Так хорошо, что он пришел и помахал мне, что я расскажу ему, что это не так уж и плохо. Только одиноко.

Я тянусь толкнуть дверь, но темная фигура в тени у двери знаками приказывает мне не трогать её. Один палец поднесен к губам, которых я не вижу. Мертвым не позволено говорить.

Но они хотят, чтобы я разговаривал. Я еще нужен! Разве он этого не видит? Должно быть, тут какая-то ошибка. Разве он не видит, что я им нужен? Я умоляю фигуру -- я должен поговорить с ними. Еще не кончено. Я должен сказать им. Но тот, в тени, и виду не подаёт, что услышал меня.

«КРИС!» -- кричу я через дверь. -- «МЫ УВИДИМСЯ!!» Темная фигура угрожающе надвигается на меня, но я слышу голос Криса, далекий и слабый: «Где?» Он слышал меня! А темная фигура в ярости набрасывает полотно на дверь.

Не на горе, думаю я. Горы нет. И кричу: «НА ДНЕ ОКЕАНА!!»

И вот я стою среди опустошенных развалин города -- совсем один. Развалины везде вокруг меня бесконечно во всех направлениях -- и я должен идти среди них один.

Солнце встало.

Я сначала не совсем уверен, где я.

Мы на дороге где-то в лесу.

Плохой сон. Снова эта стеклянная дверь.

Рядом поблескивает хром мотоцикла, потом я вижу сосны, а потом соображаю, что мы в Айдахо.

Дверь и фигура в тени рядом с нею -- просто воображение.

Мы -- на просеке, правильно... ясный день... искрящийся воздух. У-ух!.. прекрасно. Мы едем к океану.

Снова припоминаю сон и слова «Мы увидимся на дне океана» -- и спрашиваю себя, что бы это могло значить. Но сосны и свет солнца -- сильнее любого сна, и мое недоумение потихоньку успокаивается. Старая добрая реальность.

Я выбираюсь из спальника. Холодно, и я быстро одеваюсь. Крис спит. Я обхожу его, перебираюсь через поваленное дерево и иду вверх по просеке. Чтобы разогреться, перехожу на легкую трусцу и резко набираю скорость. Хо-ро-шо, хо-ро-шо, хо-ро-шо. Слово попадает в ритм бега. Какие-то птицы с холма в тени вылетают на солнце, и я провожал их взглядом, пока они не скрываются из виду. Хо-ро-шо. Хо-ро-шо. Хрусткий гравий на дороге. Хо-ро-шо. Ярко-желтый песок на солнце. Хо-ро-шо. Иногда такие дороги тянутся на много миль.

В конце концов, я достигаю точки, где дыхания уже не хватает. Дорога поднялась гораздо выше, и я озираю лес на многие мили вокруг.

Хорошо.

Все еще отдуваясь, я быстрым шагом возвращаюсь назад, теперь уже не хрустя гравием так сильно и подмечая маленькие растения и кустики там, где сосны срублены.

Снова у мотоцикла, я упаковываю вещи бережно и быстро. Я уже так хорошо знаком с тем, как все вместе подгоняется, что делаю это, почти не задумываясь. Наконец, остается спальный мешок Криса. Я его немного переворачиваю -- не слишком грубо -- и говорю:

-- Клевый день!

Он озирается, ничего не соображая. Выбирается из спальника и, пока я его упаковываю, одевается, толком не зная, что делает.

-- Надевай свитер и куртку, -- велю ему я. -- Сегодня на дороге будет прохладно.

Он одевается, усаживается в седло, и на малой скорости мы проезжаем по лесосеке до выезда на шоссе. Перед тем, как двинуться по нему, я бросаю последний взгляд на лесосеку. Хорошая. Милое место. Отсюда шоссе вьется все дальше и дальше вниз.

Сегодня Шатокуа будет долгим. Я ждал его с нетерпением все это путешествие.

Вторая скорость, потом третья. На таких поворотах нельзя слишком быстро. Солнце прекрасно освещает эти леса.

До сих пор в нашем Шатокуа висела дымка -- проблема тыловой поддержки; я в первый день говорил о равнодушии, а потом понял, что не могу сказать ничего значительного о равнодушии до тех пор, пока не понята его обратная сторона -- Качество. Сейчас, наверное, важно увязать равнодушие с Качеством, указав на то, что равнодушие и Качество -- внутренний и внешний аспекты одного и того же. Человек, видящий Качество и чувствующий его во время работы над чем-то, -- это человек, которому есть до него дело. Человек, заботящийся о том, что он видит и делает, -- это человек, обязанный иметь какие-то характеристики Качества. Таким образом, если проблема технологической безнадёжности вызвана недостатком заботы -- как технологистов, так и антитехнологистов; и если равнодушие и Качество есть внешний и внутренний аспекты одного и того же, то логически следует, что на самом деле причиной технологической безнадёжности является отсутствие понимания Качества в технологии как технологистами, так и антитехнологистами. Безумная погоня Федра за рациональным, аналитическим и, следовательно, *технологическим* значением слова «Качество» в действительности была погоней за ответом на всю проблему технологической безнадёжности целиком. Так мне кажется, во всяком случае.

Поэтому я поддержал это и переключился на классическо-романтический раскол, который, полагаю, лежит в основе всей гуманистическо-технологической проблемы. Но это тоже требует тщательного исследования значения Качества.

Однако, чтобы понять значение Качества в классических терминах, требовались исследования в метафизике, в ее отношении к повседневной жизни. А чтобы сделать это, требовались еще более глубокие исследования огромной области, которая связывает и метафизику, и повседневную жизнь -- а именно, формального мышления. Поэтому я шел от формального мышления к метафизике, а из нее -- в Качество; а потом от Качества -- опять к метафизике и науке.

Теперь мы продвигаемся еще глубже от науки в технологию, и я все-таки верю, что мы, наконец, попали туда, где хотели быть с самого начала.

Но сейчас у нас уже есть некоторые представления, очень сильно меняющие все понимание вещей. Качество -- это Будда. Качество -- это научная реальность. Качество -- это цель искусства. Остается только вработать эти концепции в практический, приземленный контекст, а для этого нет ничего практичнее или приземленнее того, о чем я твердил всю дорогу -- починки старого мотоцикла.

Дорога продолжает петлять по ущелью. Солнечные лоскуты раннего утра окружают нас со всех сторон. Мотоцикл гудит себе дальше сквозь прохладный воздух и горные сосны, и мы проезжаем небольшой знак, говорящий о том, что через милю можно будет позавтракать.

-- Есть хочешь? -- кричу я.

-- Да! -- орет в ответ Крис.

Вскоре второй знак с надписью ХИЖИНЫ и стрелкой под ней указывает куда-то влево. Мы сбрасываем скорость, сворачиваем и едем дальше по грунтовой дороге, пока она не приводит нас к крашеным олифой хижинам под несколькими деревьями. Мы ставим мотоцикл под дерево, выключаем зажигание и газ и входим в главное здание. Деревянные полы приятно и гулко стучат под мотоциклетными башмаками. Садимся за стол, покрытый скатертью и заказываем яйца, горячие булочки, кленовый сироп, молоко, колбаски и апельсиновый сок. Холодный ветер вдул в нас аппетит.

-- Я хочу написать письмо маме, -- говорит Крис.

По-моему, это хорошо. Я иду к бюро и беру канцелярские принадлежности этого пансионата. Приношу все Крису и даю ему свою ручку. Резкий утренний воздух добавил и ему энергии. Он кладет перед собой бумагу, хватая ручку мертвой хваткой и на секунду сосредотачивается на чистом листе.

Потом поднимает глаза:

-- Какой сегодня день?

Я говорю. Он кивает и записывает.

Потом я смотрю, как он пишет: «Дорогая Мама».

Некоторое время он таращится на бумагу.

Потом поднимает взгляд:

-- Что написать?

Я начинаю ухмыляться. Следовало бы заставить *его* целый час писать об одной стороне монеты. Я иногда думал о нем как о студенте, но не как о студенте-риторе.

Нас прерывает появление горячих булочек, и я говорю, чтобы он отложил письмо -- я ему потом помогу.

Когда мы заканчиваем, я закурываю с ощущением свинцовой наполненности от булочек, яиц и всего остального и замечаю через окно, что снаружи вся земля -- в пятнах тени и солнечного света.

Крис снова извлекает бумагу.

-- Ну, теперь помоги мне, -- говорит он.

-- О'кей, -- отвечаю я. Объясняю ему, что его заело в самой обычной ситуации. Обычно, говорю я, ум заедает, когда пытаешься сделать кучу дел сразу. Нужно только не вытягивать слова насильно, от этого еще больше заедает. Надо все разграничить и делать одно за другим, по очереди. Ты думаешь о том, что сказать *вообще*, и о том, что сказать *сначала*, одновременно, а это очень трудно. Поэтому раздели их. Составь список того, что хочешь сказать -- в любом порядке. А потом уже определим, как надо.

-- Список чего, например?

-- Ну, что ты хочешь ей рассказать?

-- Про путешествие.

-- Что именно про путешествие?

Он задумывается:

-- Про гору, на которую мы взбирались.

-- Хорошо, запиши, -- говорю я.

Он записывает.

Потом я вижу, как он записывает еще один пункт, потом другой, пока я заканчиваю сигарету и кофе. Он заполняет три листа тем, что хочет рассказать.

-- Оставь на потом, -- советую я, -- мы над ним поработаем позже.

-- У меня не получится вместить все в одно письмо, -- говорит он.

Видит, как я смеюсь, и хмурится. Я говорю:

-- А ты просто выбери самое лучшее. -- И мы выходим наружу и снова садимся на мотоцикл.

На дороге вниз по ущелью, мы теперь постоянно чувствуем, как уменьшается высота -- по шлепанию в ушах.

Теплеет, а воздух становится гуще. Прощай, высокая страна, по которой мы более или менее путешествовали с Майлз-Сити.

Заедание. Вот о чем я хочу сегодня поговорить.

Помнишь, когда мы выезжали из Майлз-Сити, я говорил, что формальный научный метод может быть применен к ремонту мотоцикла посредством изучения цепочек причин и следствий и использования экспериментального метода для определения таких цепочек. После этого была цель -- показать, что имелось в виду под классической рациональностью.

Теперь же я хочу показать, что этот классический порядок рациональности можно в огромной степени улучшить, расширить и сделать гораздо эффективнее через формальное признание Качества в его действии.

Однако, прежде, чем сделать это, следует преодолеть некоторые негативные аспекты традиционного ухода за мотоциклом, чтобы показать, где именно собака зарыта.

Первое -- это заедание, застревание ума, сопровождающее физическое застревание того, над чем работаешь. То же, от чего страдает Крис. Заедает, например, винт при закреплении боковой крышки. Сверяешься с инструкцией на предмет какой-нибудь особой причины, по которой этот винт может вылезать с таким трудом, но там написано только: «Снимите пластину боковой крышки», -- тем чудесным сжатым техническим стилем, который никогда не сообщает того, что хочешь знать. До этого не упустил ни одного действия -- ничего не должно заставлять винты заедать.

Если ты опытен, то, вероятно, в этом месте воспользуешься проникающей жидкостью и силовой отверткой. Но если неопытен, то начнешь крутить отвертку самозамыкающимися плоскогубцами, с помощью которых раньше добивался успеха, и на этот раз добьешься успеха только в срывании шлица винта, если будешь крутить достаточно жестко.

Твой ум уже настроен на то, что будешь делать, когда снимешь крышку, поэтому некоторое время занимает осознание того, что досадная маленькая неприятность в виде срезанного шлица винта -- не просто досадная и маленькая. Ты застрял. Остановился. Кончился. Это полностью лишило тебя возможности починить мотоцикл. Такая сцена нередка в науке или технологии. Самая обычная сцена. Просто *заело*. В традиционном уходе за мотоциклом это -- самый худший из всех моментов. Настолько плохо, что избегал даже думать о нем, пока оно с тобой не случилось.

Книжка теперь не поможет. Научный разум -- тоже. Тебе не нужны никакие научные эксперименты, чтобы узнать, что произошло.

Это очевидно. Нужна только гипотеза, как вытащить оттуда этот винт со срезанным шлицем, а научный метод не дает ни одной. Он применим, только когда гипотезы уже есть.

Это -- нулевой момент сознания. Застрял. Нет ответа. Заело. Капут. В эмоциональном плане это -- самое жалкое, что может приключиться. Ты теряешь время. Ты некомпетентен. Ты не знаешь, что делаешь. Тебе должно быть стыдно за себя. Тебе следует отвезти машину к *настоящему* механику, который знает, как такие вещи делаются. В этом месте обычно синдром страха-злости берет верх и заставляет тебя захотеть сбить эту крышку зубилом, молотком, если нужно. Об этом думаешь, и чем больше -- тем более склоняешься к тому, чтобы поднять машину на высокий мост и сбросить вниз. Просто безобразие, что такая крохотная щель в головке винта может настолько абсолютно разгромить тебя.

Ты приперт к великому неизвестному, пустоте всей западной мысли. Нужны какие-то идеи, какие-то гипотезы. Традиционный научный метод, к несчастью, так до конца и не дошел до того, чтобы сказать, где именно брать побольше этих гипотез. Традиционный научный метод всегда был *в лучшем случае* совершенным предсказанием того, что все и так уже увидели. Он хорош, чтобы смотреть, где уже побывал. Он хорош для проверки истинности того, что, как ты думаешь, ты знаешь, но не может сказать, куда *следует* идти, если только то, куда следует идти, -- не продолжение того, куда шел в прошлом. Творчество, оригинальность, изобретательность, интуиция, воображение -- «незаедаемость», другими словами, -- полностью вне его сферы.

Мы продолжаем спускаться по ущелью, мимо складок крутых склонов, откуда стекают широкие потоки. Замечаем, что река быстро набухает с каждым новым ручьем. Повороты здесь мягче, а прямые отрезки -- длиннее. Я переключаюсь на самую высокую скорость.

Потом деревья реденеют и хилеют, между ними -- большие проплешины травы и кустарника. В куртке и свитере слишком жарко, и я останавливаюсь на обочине снять их.

Крис хочет сходить наверх по тропе, и я его отпускаю, найдя тенистое местечко посидеть и отдохнуть самому. Сейчас у меня настроение спокойствия и размышления.

На дорожном щите -- извещение о пожаре, который был здесь много лет назад. Там написано, что лес восстанавливается, но достигнет своего первоначального состояния только через много лет.

Хрустит гравий: Крис спускается. Он далеко не ходил. Вернувшись, он говорит:

-- Поехали.

Мы перевязываем рюкзак, который начал немножко кособочиться, и выезжаем на шоссе. После сидения на жаре пот быстро просыхает от ветра.

Нас заело на том винте, и единственный способ его «разъесть» -- бросить дальнейшее изучение винта по традиционному научному методу. Он не сработает. А нужно просто исследовать традиционный научный метод в свете этого заевшего винта.

Мы смотрели на винт «объективно». Согласно доктрине «объективности», которая неотделима от традиционного научного метода, то, что нам нравится и поддающуюся боковую крышку? Цвет краскопокровтия? Спидометр?

Ручку для заднего седока? Как сказал бы Пуанкаре, существует бесконечное количество фактов об этом мотоцикле, а нужные не всегда расшаркиваются и представляются сами. По-настоящему нужные факты не только пассивны, они чертовски *неуловимы*, и мы не собираемся просто сидеть и «наблюдать» их. Мы будем забираться внутрь и *искать* их, а не то придется сидеть очень долго. Вечно. Как указал Пуанкаре, *должен* быть подсознательный выбор фактов для наблюдения.

Разница между хорошим механиком и плохим -- как разница между хорошим и плохим математиками: именно эта способность *отбирать* хорошие факты из плохих на основе Качества. Хороший механик просто обязан быть *неравнодушным*! Это способность, о которой формальному традиционному научному методу нечего сказать.

Давно миновало время, когда надо было пристальнее смотреть на этот качественный предварительный отбор фактов, который, казалось, так тщательно игнорировали те, кто столько делал из этих фактов после того, как их «пронаблюдали». Я думаю, еще обнаружат, что формальное признание роли Качества в научном процессе вовсе не уничтожает эмпирического видения. Оно его расширяет, укрепляет и подводит гораздо ближе к действительной научной практике.

Наверное, основным недостатком, лежащим в основе проблемы заедания, является настаивание традиционной рациональности на «объективности», доктрина, утверждающая, что существует разделенная реальность субъекта и объекта. Для того, чтобы имела место настоящая наука, они должны быть четко отделены друг от друга. «Ты механик. Вот мотоцикл. Вы навечно отделены друг от друга. Ты с ним делаешь это. Ты с ним делаешь то. Будут получены результаты.»

Этот извечно дуалистический субъекто-объектный подход к мотоциклу не режет нам слух, поскольку мы к нему привыкли. Но это неверно. Он всегда был искусственной интерпретацией, *навязанной* реальности. Он никогда не был самой реальностью. Когда эта дуальность полностью принимается, между механиком и мотоциклом уничтожается определенное неразграниченное отношение, чувство мастера к своей работе. Когда традиционная

рациональность делит мир на субъекты и объекты, она исключает Качество, а когда ты по-настоящему застрял, именно Качество -- а вовсе не какие-то субъекты или объекты -- подсказывает, куда следует идти.

Возвращая внимание к Качеству, мы надеемся извлечь технологическую работу из равнодушного дуализма субъекта-объекта и поместить ее обратно в самововлеченную реальность мастера, которая проявит факты, нужные нам, когда мы застреваем.

Теперь перед моим мысленным взором встает образ огромного, длинного железнодорожного состава, одного из тех 120-вагонных созданий, которые постоянно пересекают прерии: с лесом и овощами -- на восток, с автомобилями и другими промышленными товарами -- на запад. Я хочу назвать этот состав «знанием» и подразделить его на две части: Классическое Знание и Романтическое Знание.

В понятиях этой аналогии Классическое Знание, то знание, которому учит Церковь Разума, -- это тепловоз и все вагоны. Все они и всё, что в них. Если разделять состав на части, то Романтического Знания нигде не найдешь. А если неосторожен, то легко допустить, что в составе больше ничего нет. Не потому, что Романтического Знания не существует, или оно не имеет значения. Просто пока определение этого железнодорожного состава статично и бесцельно. Вот на что я пытался намекать еще в Южной Дакоте, когда говорил о целых двух измерениях существования. Есть целых два способа *смотреть* на этот состав.

Романтическое Качество в понятиях этой аналогии -- не какая-то «часть» состава. Это -- передний край тепловоза, двухмерная поверхность, сама по себе не имеющая значения, если не поймешь, что наш поезд -- вовсе не статичная сущность. Поезд -- на самом деле не поезд, если не может никуда ехать. В процессе изучения поезда и подразделения его на части мы неумышленно остановили его, поэтому изучаем, в действительности, не поезд. Потому-то мы и застряли.

Настоящий поезд знания -- не статичная сущность, которая может быть остановлена и подразделена. Он постоянно куда-то движется. По рельсам, называемым «Качество». И тепловоз наш со всеми 120 вагонами никогда не едет туда, куда не ведут его рельсы Качества; а Романтическое Качество -- ведущий край тепловоза -- влечет их по этим рельсам.

Романтическая реальность -- режущая кромка опыта. Именно ведущий край поезда знания удерживает весь состав на рельсах. Традиционное знание -- лишь коллективная память о том, где этот ведущий край уже побывал. На ведущем крае нет субъектов, нет объектов, а есть только рельсы Качества впереди, и если не обладаешь формальным способом оценки, не обладаешь никаким способом признания этого Качества, то весь поезд никак не будет знать, куда ему нужно идти. У тебя нет чистого разума -- у тебя нет чистого смятения. Ведущий край -- там, где все действие. Ведущий край содержит все бесконечные возможности будущего. Он содержит всю историю прошлого. А в чем же еще они могут содержаться?

Прошлое не может помнить прошлого. Будущее не может вырабатывать будущего. Режущая кромка этого мгновения прямо здесь и прямо сейчас -- всегда не меньше общности всего, что существует.

Ценность, ведущий край реальности, больше не является ничего не значащим отпрыском структуры. Ценность -- предшественник структуры. Это доинтеллектуальная осознанность обеспечивает ее подъем. Наша структурированная реальность преизбрана на основании ценности, и подлинное понимание структурированной реальности требует понимания ценностного источника, из которого она произошла.

Рациональное понимание кем-либо мотоцикла, следовательно, модифицируется из минуты в минуту в процессе работы над ним и по мере того, как некто начинает видеть, что в новом и отличном от предыдущего рациональном понимании -- больше Качества. За старые липучие идеи не цепляются -- поскольку есть непосредственная рациональная основа для их отрицания. Реальность больше не статична. Это не набор идей, с которыми ты должен либо бороться, либо им подчиняться. Частично она составлена из идей, которые, как ожидается, будут расти вместе с твоим ростом, с нашим общим ростом, за веком век. С центральным неопределенным термином -- Качеством -- реальность по своей сущности является не статичной, а динамичной. А когда по-настоящему понимаешь динамичную реальность, никогда не застрянешь. Она обладает формами, а формы способны изменяться.

Чтобы выразить это более конкретно: Если хочешь построить фабрику, или починить мотоцикл, или направить нацию по верному пути -- и не застрять, то классическое, структурированное, дуалистическое, субъектно-объектное знание хотя и необходимо, но не достаточно. Должно быть еще какое-то чувство насчет качества работы. Ощущение того, *что* хорошо. *Вот* что влечет вперед. Это ощущение -- не просто то, с чем родился, хотя ты *на самом деле* с ним родился. Это еще и то, что можно развить. Это не просто «интуиция», не просто необъяснимое «умение» или «талант». Это прямой результат контакта с основной *реальностью*, Качеством, который дуалистический разум в прошлом был склонен скрывать.

Все это звучит настолько отдаленно и эзотерически, когда выражено вот таким образом, что шоком становится открытие того, что перед нами -- один из самых доморощенных, приземленных взглядов на реальность, которые только можно иметь. Подумать только: изо всех людей в голову лезет Гарри Трумэн с его словами по поводу программ его администрации: «Мы просто их испытаем... а если они не сработают... ну что ж, мы испытаем что-нибудь еще.» Может, цитата неточная, но по смыслу близко.

Реальность американского правительства не статична, говорил он, а *динамична*. Если нам она не нравится, достанем чего-нибудь получше. Американское правительство не собирается застревать на каком-либо наборе идей модной доктрины.

Ключевое слово здесь -- «получше» -- Качество. Некоторые могут поспорить, утверждая, что это форму, лежащую в основе американского правительства *в действительности* заедает, что это она *в действительности* не способна к переменам в ответ на Качество, но аргумент этот бьет мимо цели. А цель такова, что и Президент,

и все остальные -- от дичайших радикалов до дичайших реакционеров -- соглашались на том, что правительству *следует* изменяться, реагируя на Качество, даже если оно этого не делает. Федорова концепция изменения Качества как реальности, реальности настолько всемогущей, что целые правительства должны изменяться, чтобы соответствовать ей, -- это то, во что мы всегда единодушно бессловесно верили.

А сказанное Гарри Трумэном, на самом деле ничем не отличалось от практического, прагматического отношения любого лабораторного ученого, любого инженера или механика, если в процессе своей повседневной работы он не думает «объективно».

Я продолжаю проповедовать гольную теорию, но она как-то выходит тем, что все и так знают, -- фольклором. Это Качество, это чувство к работе -- то, что известно в каждой мастерской.

Теперь давай, наконец, вернемся к тому винту.

Давай примемся за переоценку ситуации, в которой допускаем, что имеющее место заедание, ноль сознания -- не худшая из всех возможных ситуаций, а лучшая, в какую только можно попасть. В конце концов, именно это заедание с таким трудом вызывают дзэн-буддисты: посредством коанов, глубокого дыхания, неподвижного сидения и тому подобного. Ум пуст, принимаешь «пусто-гибкое» отношение «ума начинающего». Ты -- прямо перед самым передним концом поезда знания, на рельсах самой реальности. Для разнообразия представь, что этого момента нужно не бояться, а наоборот -- культивировать его. Если ум у тебя по-настоящему глубоко заело, то, может быть, это гораздо лучше, чем если б его перегружали идеи.

Решение проблемы часто сначала кажется незначительным или нежелательным, но состояние заедания позволяет со временем принять его истинное значение. Оно казалось маленьким, потому что твоя предыдущая жесткая оценка, приведшая к заеданию, сделала его таким.

Но теперь рассмотри такой факт: неважно, насколько сильно будешь держаться за это заедание -- оно неминуемо исчезнет. Твой ум естественно и свободно сдвинется в сторону решения. Если только ты -- не прирожденный мастер оставаться застрявшим, то помешать этому не сможешь. Страх заедания не является необходимым, поскольку чем дольше остаешься застрявшим, тем больше видишь Качество-реальность, которое «расстревает» тебя каждый раз. В *действительности*, тебя заедало потому, что ты бежал от заедания по вагонам своего поезда знания в поисках решения, которое все время оставалось впереди поезда.

Заедания не следует избегать. Оно -- физический предшественник всего настоящего понимания. Безаветное приятие заедания -- ключ к пониманию всего Качества, как в механической работе, так и в других предприятиях. Именно это понимание Качества, проявленное заеданием, так часто создает механиков-самоучек, превосходящих людей с институтским образованием, выучивших, как справляться со всем, кроме новой ситуации.

Обычно винты так дешевы, малы и просты, что думаешь о них как о чем-то незначительном. Но теперь, когда твое осознание Качества крепчает, ты уже представляешь себе, что этот один, отдельный, конкретный винт ни дешев, ни мал, ни незначителен. Вот прямо сейчас этот винт стоит ровно столько, сколько весь мотоцикл, поскольку мотоцикл в действительности не имеет никакой ценности, пока ты не вытащишь этот винт. Вместе с такой переоценкой винта приходит желание расширить свое знание о нем.

С расширением знания, я полагаю, придет переоценка того, чем этот винт на самом деле является. Если сосредоточиться на нем, подумать о нем, застрять на нем достаточно долго, то, наверное, со временем можно увидеть, что винт -- это во все меньшей и меньшей степени объект, типичный для своего класса, и в большей степени -- объект, уникальный сам по себе. Потом, сосредоточившись сильнее, начнешь видеть винт как даже не объект вообще, а как собрание функций. Заедание постепенно убирает схемы традиционного разума.

Теперь при вынимании винта нас не интересует то, чем он *является*. Чем он *является*, перестало быть категорией мышления и есть продолжающийся непосредственный опыт. Это уже больше не в вагонах, это -- впереди, и способно изменяться. Нас не интересует, что оно *делает*, и почему оно это делает. Тут начинаешь задавать функциональные вопросы. С твоими вопросами будет связано подсознательное различие Качества, идентичное различению Качества, которое привело Пуанкаре к Фукианским уравнениям.

Каким окажется действительное решение -- не важно, коль скоро в нем есть Качество. Представление о винте как о соединенных жесткости и клейкости и о его особом спиралевидном запоре могут естественно привести к решениям о применении силы и растворителей. Это один вид рельсов Качества. Другие рельсы могут заставить сходить в библиотеку и посмотреть каталог механических инструментов, в котором можно наткнуться на щипцы для извлечения винтов, которые и сделают то, что нужно. Или позвать приятеля, который кое-что соображает в механической работе. Или просто высверлить этот винт, или просто выжечь его горелкой, или, может быть, в результате приложения медитативного внимания к винту появится какой-нибудь новый способ извлечения его, о котором никто никогда раньше не думал, и который лучше всех остальных, и который можно запатентовать, и который через пять лет сделает тебя миллионером. Нельзя предсказать, что может произойти на этих рельсах Качества. Все решения просты -- после того, как к ним придешь. Но они просты, только когда знаешь, каковы они.

Шоссе 13 следует вдоль другого рукава нашей реки, но теперь оно уходит вверх по течению, мимо старых лесопильных городов и сонных ландшафтов. Иногда при переходе с федерального шоссе на шоссе штата кажется, будто отлетел назад во времени -- как сейчас, например. Милые горы, милая речка, ухабистая, но приятная асфальтовая дорога... старые здания, старые люди на парадных крыльцах... странно, что старые,

уставшие дома, заводы и мельницы, технология стапятидесятилетней давности, всегда кажутся гораздо лучше на вид, чем новые. Сорняки, трава и дикие цветы растут там, где потрескался старый бетон. Аккуратные, ровные, прямоугольные очертания приобретают хаотичные прогибы. Единые массы ничем не нарушенного цвета свежей краски видоизменяют пеструю, изношенную мягкость. У природы -- своя неэвклидова геометрия, как бы смягчающая преднамеренную объективность этих зданий некой случайной спонтанностью, которую архитекторам стоит хорошенько изучить.

Вскоре мы оставляем реку и старые сонные здания в стороне и начинаем взбираться на сухое плато, покрытое лугами. На дороге так много бугров, ухабов и кочек, что приходится сбросить скорость до пятидесяти. В асфальте попадает несколько гадких выбоин, и я внимательно смотрю на дорогу.

Мы по-настоящему привыкли покрывать большие расстояния. Отрезки, которые показались бы нам длинными в Дакотах, теперь кажутся короткими и легкими. Быть на машине теперь естественнее, чем без нее. Мы в совершенно незнакомой мне местности: я ее никогда раньше не видел, но все же не чувствую себя здесь чужаком.

Наверху, в Гранджвилле, Айдахо, мы вступаем из губительной жары в кондиционированный ресторан. Там глубоко прохладно. Пока ждем шоколадного напитка, я замечаю студента у стойки: он обменивается взглядами с девушкой, сидящей рядом. Она великолепна, и я не единственны это замечаю. Девушка за стойкой, обслуживающая их, тоже наблюдает -- со злостью, которую, она думает, больше никто не видит. Какой-то треугольник. Мы продолжаем невидимо проходить сквозь маленькие мгновения жизни других людей.

Снова -- в жару, и неподалеку от Гранджвилля мы видим, что сухое плато, которое почти походило на прерию, когда мы на него выехали, внезапно обламывается в огромный каньон. Я вижу, что наша дорога будет вести все дальше и дальше вниз через сотни булавочно-острых поворотов в разломанную и раздробленную каменную пустыню, хлопаю Криса по коленке и показываю это ему, пока мы проезжаем поворот, откуда все видно.

Слышу, как он вопит:

-- Ух ты!

На кромке я переключаюсь на третью, а потом закрываю дроссель. Двигатель ноет, немного давая обратное зажигание -- и мы опускаемся вниз.

К тому времени, как наш мотоцикл достигает дна чего бы там ни было, позади остается высота в тысячи футов. Я оглядываюсь и через плечо вижу похожие на муравьев машины далеко вверх. Теперь только вперед по этой сковородке -- куда бы ни привела нас дорога.

Сегодня утром обсуждалось решение проблемы заедания, классической плохости, вызванной традиционным разумом. Теперь пора перейти к ее романтической параллели, к безобразию технологии, которое произвел традиционный разум.

Извиваясь, дорога перекатилась через нагие холмы в маленькую узкую полосу зелени, окружающую городок Уайт-Бёрд, а потом подошла к большой, быстрой реке Салмон, текущей меж высоких стен каньона. Жара здесь зверская, а яркость белых скал слепит глаза. Мы петляем все дальше и дальше по дну узкого ущелья, нервничая из-за быстрого движения, подавленные невыносимой жарой.

Безобразие, от которого бежали Сазерленды, не свойственно технологии. Им это только так казалось, потому что очень трудно выделить, что именно в технологии столь безобразно. Но технология -- просто делание вещей, а делание вещей не может по своей собственной природе быть безобразным, иначе не будет возможности прекрасного в искусстве, которое тоже включает в себя делание вещей. На самом деле, корень слова «технология» -- *техне* -- первоначально означал «искусство». Древние греки мысленно никогда не отделяли искусство от ручной работы, и так и не выработали для них отдельных слов.

Безобразие также внутренне не присуще материалам современной технологии, -- а такое заявление можно иногда услышать. Массово производимые пластики и синтетики не плохи сами по себе. Они просто приобретают плохие ассоциации. Человек, который большую часть своей жизни прожил в каменных стенах тюрьмы, скорее всего, будет считать камень внутренне безобразным материалом, -- даже несмотря на то, что он -- основной материал скульптуры; а человек, который жил в тюрьме безобразной пластиковой технологии, начавшейся с его детских игрушек и продолжающейся всю жизнь вместе с мусорными потребительскими товарами, скорее всего, увидит внутренне безобразным этот материал. Но подлинного безобразия современной технологии не обнаружено ни в материале, ни в форме, ни в действии, ни в продукте. Есть просто объекты, в которых, видимо, существует низкое Качество. Это впечатление создает наша привычка придавать Качество субъектам или объектам.

Подлинное безобразие -- не результат каких-либо объектов технологии. И, если следовать метафизике Федра, не является оно и результатом каких-либо субъектов технологии -- людей, которые ее производят или используют. Качество -- или его отсутствие -- не пребывает ни в субъекте, ни в объекте. Подлинное безобразие лежит в отношениях между людьми, которые производят технологию, и вещами, которые они производят, -- в отношениях, которые завершаются сходными отношениями между людьми, использующими технологию, и вещами, которые они используют.

Федр чувствовал, что в момент восприятия чистого Качества -- или даже не восприятия, а просто в момент чистого Качества -- не существует субъекта и не существует объекта. Есть только ощущение Качества, которое позднее производит осознание субъектов и объектов. В момент чистого Качества субъект и объект идентичны. Это -- истина Упанишад *tat tvam asi*, но она отражена и в современном уличном жаргоне. «Тащиться», «врубаться», «оттягиваться» -- все это слэнговые отражения такого тождества. Именно это тождество -- основа мастерства во всех технических искусствах. И этого тождества как раз не хватает современной, дуалистически задуманной технологии. Создатель ее не чувствует никакого особенного тождества с ней. Пользователь ее не чувствует никакого особенного тождества с ней. Следовательно, по определению Федра, она не обладает Качеством.

Та стена в Корее, которую видел Федр, была актом технологии. Она была прекрасна -- но не из-за какого-то искусного интеллектуального проектирования, или какого-то научного наблюдения за работами, или каких-то дополнительных затрат на то, чтобы «стилизировать» ее. Она была прекрасна, потому что люди, работавшие над ней, обладали тем способом смотреть на вещи, который лишал их смущения и каких бы то ни было оглядок. Они не отделяли себя от работы таким образом, чтобы сделать эту работу неправильно. Вот в чем центр всего решения.

Способ разрешить конфликт между человеческими ценностями и технологическими нуждами -- не в убежении от технологии. Это невозможно. Способ разрешения конфликта -- в ломке барьеров дуалистической мысли, предотвращающей подлинное понимание того, что такое технология: не эксплуатация природы, а сплав природы и человеческого духа в новый вид создания, превосходящего их обоих. Когда такое превосходство имеет место в событиях вроде первого полета аэроплана через океан или первого шага по луне, тогда имеет место некое публичное признание этой превосходящей природы технологии. Но это превосходство также должно иметь место на индивидуальном уровне, на личном основе, в чьей-то собственной жизни -- и менее драматично.

Сейчас стены каньона совершенно вертикальны. Во многих местах дорогу приходилось выгрызть из них. Здесь нет других путей. Только туда, куда течет река. Может быть, это всего-навсего мое воображение, но река кажется немного уже, чем час назад.

Такое личное превосходство конфликта технологией, конечно, не обязательно должно вовлекать мотоциклы. Оно может быть на уровне простого натачивания кухонного ножа, зашивания платья или починки сломанного стула. В основе лежат те же самые проблемы. В каждом случае есть прекрасный способ сделать это и безобразный способ, и для того, чтобы прийти к высококачественному, прекрасному способу, нужны и способность видеть то, что «выглядит хорошо», и способность понимать методы, лежащие в основе этого прихода к «хорошему». И классическое, и романтическое понимание Качества должны сочетаться. Природа нашей культуры такова, что если пришлось бы искать объяснений, как сделать любую из этих работ, то инструкция всегда будет выдавать только одно понимание Качества -- классическое. Она подскажет, как держать лезвие при заточке ножа, или пользоваться швейной машинкой, или смешивать и намазывать клей -- с допущением, что раз эти лежащие в основе методы применились, «хорошее» естественным образом воспоследует. Способность непосредственно видеть то, что «выглядит хорошо», будет проигнорирована. Результат довольно типичен для современной технологии: всеобщая тупость внешнего вида, настолько угнетающая, что ее сверху приходится прикрывать лоском «стиля», чтобы она стала приемлемой. А это для любого, чувствительного к романтическому Качеству, еще больше все усугубляет. Теперь это не просто угнетающе тупо, это еще и липа. Сложи все вместе, и получишь достаточно точное описание основ современной

Американской Технологии: стилизованные автомобили, стилизованные подвесные моторы, стилизованные пишущие машинки, стилизованная одежда. Стилизованные холодильники заполнены стилизованной едой в стилизованных кухнях стилизованных домов. Пластиковые стилизованные игрушки для стилизованных детей, которые на Рождества и дни рождения стилизуются под своих стильных родителей. Сам должен быть до ужаса стильным, чтобы от всего этого периодически не тошнило. Достает именно стиль: технологическое безобразие, политое сиропом липового романтизма в попытке произвести на свет и прекрасное, и выгоду, которые тщатся сделать люди, хотя и стильные, но не знающие, откуда начать, поскольку никто никогда не говорил им, что в этом мире существует такая штука, как Качество, и что оно -- реально, а не стиль. Качество не положишь сверху на субъекты и объекты, как мишуру на новогоднюю елку. Подлинное Качество должно быть источником субъектов и объектов, шишкой, из которой эта елка должна вырасти.

Чтобы прийти к *такому* Качеству, нужна процедура, несколько отличная от инструкций «Шаг 1, Шаг 2, Шаг 3», сопровождающих дуалистическую технологию; вот в это я и пытаюсь сейчас углубиться.

Множество поворотов каньона спустя, мы останавливаемся передохнуть в чахлой рощице между скал. Трава вокруг деревьев выгорела и побурела, разбросан мусор туристов.

Я валюсь в тень и через некоторое время, прищурившись, смотрю на небо; я ни разу не взглянул на него по-настоящему с тех пор, как мы въехали в этот каньон. Оно там, над отвесными стенами -- прохладное, темно-синее и далекое.

Крис даже не идет смотреть реку -- обычно он это делает. Как и я, он устал и хочет только посидеть под редкой тенью этих деревьев.

Немного спустя, он говорит, что между нами и речкой -- старая железная колонка -- похоже, во всяком случае. Он показывает, и я вижу, что он имеет в виду. Он подходит к ней и качает воду себе на руку, а потом плескает в лицо. Я иду и качаю ему, чтобы он умылся обеими руками, а затем делаю то же самое. Холодная вода освежает руки и лицо. Закончив, мы снова идем к мотоциклу, садимся и выезжаем обратно на дорогу.

Вот это решение. Пока во всем Шатокуа проблема технологического безобразия целиком рассматривалась отрицательно. Говорилось, что романтические отношения к Качеству -- вроде тех, что у Сазерлендов -- сами по себе безнадежны. Нельзя жить на одних оттяжных эмоциях. Нужно работать еще и с формой, лежащей в основе вселенной, с законами природы, которые, будучи поняты, могут облегчить работу, сократить болезни, а голод почти совсем уничтожить. С другой стороны, технология, основанная на чистом дуалистическом разуме, также забракowana, поскольку добивается этих материальных преимуществ, превращая мир в стилизованную помойку. Теперь пора прекратить все забраковывать и получить какие-то ответы.

Ответ -- утверждение Федра, что классическое понимание не следует *прикрывать* сверху романтической приятностью; классическое и романтическое понимания нужно объединить на уровне основ. В прошлом наша общая вселенная разума находилась в процессе побега, отрицания романтического, иррационального мира доисторического человека. С досократовских времен существовала необходимость отрицать страсти, эмоции, чтобы освободить рациональный ум на понимание порядка природы, еще пока неизвестного. Теперь пришло время углубить понимание порядка природы, реассимилировав те страсти, которых сначала бежали. Страсти, эмоции, царство аффектов человеческого сознания -- тоже часть порядка природы. Центральная часть.

В настоящее время мы похоронены иррациональным расширением слепого собирания данных в науках, поскольку ни для одного понимания научного творчества не существует рационального формата. Также мы похоронены под огромным слоем стильности в искусствах -- в изящном искусстве -- потому, что в форму, лежащую в основе, мало что ассимилируется или внедряется. У нас есть художники, не обладающие научным знанием, и ученые, не обладающие художественным знанием, а также те и другие, вообще не обладающие никаким духовным чувством притяжения, и результат этого не просто плох, он ужасающ. Время для подлинного нового объединения искусства и технологии уже давно должно было наступить.

У ДеВизов я начал говорить о спокойствии духа в связи с технической работой, но был высмеян, поскольку извлек его вне контекста, в котором оно мне первоначально явилось. Теперь, думаю, *есть* тот самый контекст, чтобы вернуться к спокойствию духа и посмотреть, о чем я говорил.

Спокойствие духа -- вовсе не наносное в технической работе. Оно -- всё вместе. Производит его хорошая работа, а уничтожает -- плохая. Спецификации, измерительные инструменты, контроль качества, окончательная проверка -- все это *средства* для достижения конечной цели: удовлетворения спокойствия духа тех, кто несет ответственность за работу. В действительности в конце имеет значение только их спокойствие духа -- и больше ничего. Причина -- в том, что спокойствие духа -- необходимое условие, предшествующее восприятию Качества за пределами и романтического, и классического Качества -- того Качества, которое объединяет их оба, и которое должно сопутствовать работе при ее выполнении. Способ видеть то, что выглядит хорошо, понимать причины, почему оно выглядит хорошо, и *быть заодно с этой хорошестью* при выполнении работы -- значит воспитывать внутреннее спокойствие, умиротворение духа с тем, чтобы могла сиять эта хорошесть.

Я сказал: «*внутреннее* спокойствие духа». Оно не имеет прямого отношения к внешним обстоятельствам. Оно может прийти к монаху в медитации, к солдату в тяжелом бою или к слесарю, срезающему последнюю десятитысячную дюйма. Оно уничтожает любое смятение и оглядки назад и влечет за собой полное отождествление с обстоятельствами, и в этом отождествлении уровни следуют за уровнями так же, как и в этом спокойствии -- столь же глубоком и трудном в постижении, как и более знакомые уровни деятельности. Горы достижений -- это Качество, открытое только в одном направлении; они относительно бессмысленны и часто недоступны, если их не брать вместе с океанскими впадинами само-осознания -- так отличающегося от самосознания, -- которое суть результат внутреннего спокойствия духа.

Это внутреннее спокойствие духа приходит на трех уровнях понимания. Физическое спокойствие кажется самым легким в достижении, хотя и оно обладает многими и многими уровнями, что удостоверяет способность индусских мистиков жить погребенными заживо многие годы. Умственное спокойствие, при котором совсем нет случайных мыслей, кажется более трудным, но тоже достижимо. Спокойствие же ценностей, при котором нет случайных желаний, а есть лишь простое выполнение жизненных актов без желания, кажется самым трудным. Я иногда думал, что эта внутренняя умиротворенность, это спокойствие духа сходно, если не идентично, с тем успокоением, которого иногда добиваешься, идя на рыбалку, которое и способствует популярности этого занятия. Просто сидеть, опустив леску в воду, не двигаясь, ни о чем по-настоящему не думая и ни о чем по-настоящему не заботясь, -- это, повидимому, снимает все внутренние напряжения и фрустрации, которые не давали тебе до этого решить свои проблемы и несли в твои мысли и действия безобразия и неуклюжесть. Конечно, не стоит идти на рыбалку, чтобы починить мотоцикл. Выпить чашку кофе, прогуляться вокруг дома, а иногда просто отложить работу ради пяти минут тишины -- этого достаточно. Лишь только сделаешь это, как сам почти почувствуешь, что дорастаешь до этого внутреннего спокойствия духа, которое все открывает. К этому внутреннему спокойствию и к Качеству, которое оно проявляет, спиной поворачивается плохой уход. То, что обращает к нему, -- хорошо. Формы обращения и отвращения бесконечны, но цель всегда одна.

Думаю, когда эта концепция спокойствия духа вводится и делается центральной в акте технической работы, на основном уровне внутри практического рабочего контекста может иметь место сплавление классического и романтического Качества. Я говорил, что это сплавление можно действительно *увидеть* у опытных механиков и слесарей определенного типа и в их работе. Говорить, что они -- не художники, -- значит неверно понимать природу искусства. Они обладают терпением, заботливостью и внимательностью к тому, что делают; однако, больше того -- есть еще какое-то внутреннее спокойствие духа, не выдуманное, но происходящее из определенной гармонии с работой, в которой нет руководителя и нет руководимого. Материал и мысли мастера изменяются вместе в процессе гладких, ровных перемен, пока его разум не успокоится -- в то самое мгновение, когда материал готов.

У всех нас были мгновения, когда мы делали именно то, что действительно хотели делать. Просто мы, к несчастью, как-то попали в отъединение таких мгновений от работы. Механик, о котором я говорю, такого разъединения не делает. О нем говорят, что он «заинтересован» в том, что делает, что он «увлечен» работой. А получается такая увлеченность потому, что на режущем краю сознания отсутствует какое бы то ни было ощущение разъединенности субъекта и объекта. «Быть вместе», «быть естественным», «держаться» -- есть куча речевых выражений того, что я имею в виду под отсутствием дуальности субъекта-объекта, поскольку то, что я имею в виду, так хорошо понято в фольклоре, в здравом смысле, в повседневном понимании в мастерской. Но в языке науки слова, выражающие это отсутствие дуальности субъекта-объекта, редки потому, что научные умы запекли сами себя от сознания такого рода понимания в допущение нормального дуалистического научного взгляда.

Дзэн-буддисты говорят о «просто сидении», практике медитации, при которой идея дуальности себя и объекта не господствует в сознании человека. То, о чем я говорю здесь, в уходе за мотоциклом, -- «просто починка», где идея дуальности себя и объекта не доминирует в сознании. Когда не довлеют чувства отъединенности от того, над чем работаешь, можно сказать, что ты «неравнодушен» к тому, что делаешь. Вот что такое неравнодушие: ощущение тождества с тем, что делаешь. Когда есть такое ощущение, то видно и обратную сторону неравнодушия -- само Качество.

Итак, работая с мотоциклом, как и при выполнении любых других задач, нужно воспитывать, культивировать спокойствие духа, которое не отделяет человеческое «я» от человеческого окружения. Когда это делается успешно, то все остальное следует естественно. Спокойствие духа производит правильные ценности, правильные ценности производят правильные мысли. Правильные мысли производят правильные действия, а правильные действия -- работу, которая будет материальным отражением спокойствия в центре всего этого, чтобы и другие могли видеть. Вот что связано с той стеной в Корее. Она была материальным отражением духовной реальности.

Думаю, если мы собираемся переделать мир, сделать его более пригодным для жизни, то делать это надо не разговорами об отношениях политического характера, которые неизбежно дуалистичны, полны субъектов, объектов и отношений между ними; и не программами, полными тем, что нужно делать другим людям. Я думаю, такой подход начинается с конца и предполагает, что конец -- и есть начало. Программы политического характера -- важные *конечные продукты* социального качества, которые могут стать эффективными, только если правильна структура, лежащая в основе общественных ценностей. Общественные ценности верны, только если верны индивидуальные ценности. Улучшать мир нужно сначала в собственном сердце, голове и руках, а уже потом работать оттуда наружу. Другне могут говорить о том, как устроить судьбу человечества. Я же просто

хочу говорить о том, как починить мотоцикл. И, наверное, то, что я имею сказать, обладает более вечной ценностью.

Появляется городок под названием Риггинс, где мы видим множество мотелей, а за ним дорога ответвляется от каньона и идет вдоль меньшей реки. Кажется, она ведет наверх, в лес.

Так и есть, и вскоре нас начинают накрывать тенью высокие, прохладные сосны. Появляется вывеска дома отдыха. Мы забираемся все выше и выше в неожиданно приятные, прохладные зеленые луга, окруженные ельниками. В городке с названием Нью-Мидоуз снова заправляемся и покупаем две банки масла, по-прежнему удивляясь перемене.

Но на выезде из Нью-Мидоуз я замечаю, что солнце уже низко, и конец дня начинает угнетать. В другое время дня эти горные луга освежили бы меня больше, но мы слишком далеко забрались. Проезжаем Тамарак, и дорога снова спускается от зеленых лугов на сухие песчаники.

Полагаю, что это все, что я сегодня хочу сказать в Шатокуа. Долгая беседа была и, наверное, самая важная. Завтра мне хочется поговорить о вещах, которые, наверное, обращают человека к Качеству и отвращают от Качества, о некоторых ловушках и проблемах, которые при этом возникают.

Странные ощущения от оранжевого солнечного света на этой песчаной сухой земле так далеко от дома.

Интересно, чувствует ли это Крис. Просто какая-то необъяснимая печаль, приходящая в конце каждого дня, когда новый день ушел навсегда, и впереди ничего больше нет, кроме нарастающей темноты.

Оранжевый свет становится тусклой бронзой и показывает то же, что и весь день -- но теперь уже, кажется, без особого энтузиазма. На тех сухих холмах, в тех маленьких домиках вдалеке -- люди, которые провели здесь весь день, занимаясь дневной работой, и теперь не находят ничего необычного в этом странном темнеющем пейзаже, в отличие от нас. Наткнись мы на них сегодня пораньше, им, наверное, было бы любопытно, кто мы и зачем здесь. Но сейчас, вечером, им просто плевать на наше присутствие. Рабочий день окончен. Время для ужина, семьи, расслабления и обращения внутрь -- дома. Мы проезжаем незамеченными по этому пустому шоссе через эту странную местность, которую я никогда раньше не видел, и меня начинает одолевать тяжелое чувство отъединенности и одиночества; настроение опускается вместе с солнцем.

Мы останавливаемся на заброшенном школьном дворе, и там, под огромным тополем, я меняю в мотоцикле масло. Крис раздражен и спрашивает, почему мы стоим так долго, возможно, и не зная, что раздражает его именно время дня. Но я даю ему посмотреть карту, пока меняю масло, а когда заканчиваю, мы изучаем карту вместе и решаем поужинать в ближайшем хорошем ресторане, который найдем, и остановиться на ближайшей хорошей стоянке. Это его приободряет.

В городке с названием Кембридж мы ужинаем, а когда заканчиваем, снаружи уже темно. Мы едем по второразрядной дороге в сторону Орегона вслед за лучом фары -- к маленькому знаку, гласящему «ЛАГЕРЬ БРАУНЛИ», который появляется в горной ложине. В темноте трудно сказать, где мы находимся. Мы едем по грунтовке под деревьями, мимо кустов к столам под навесом. Здесь, кажется, никого нет. Я заглушаю мотор и, пока распаковываемся, слышу ручеек неподалеку. Кроме этого звука и щебета какой-то пичужки ничего больше не слышно.

-- Мне здесь нравится, -- говорит Крис.

-- Очень спокойно, -- отвечаю я.

-- Куда мы завтра поедим?

-- В Орегон. -- Даю ему фонарик посветить, пока я разбираю вещи.

-- А я там уже был?

-- Может быть. Не уверен.

Я расстилаю спальные мешки и кладу мешок Криса на стол. Новизна этого ночлега нравится Крису. Сегодня хлопот со сном не будет. Вскоре я уже слышу глубокое дыхание: он заснул.

Хотел бы я знать, что сказать ему. Или что спросить. Временами он кажется так близко, и все же эта близость не имеет ничего общего с тем, что спрашивается или говорится. В другое же время он очень далеко и как бы наблюдает за мной из какой-то командной точки, которой мне не видно. Иногда же он просто ребячлив, и никакой связи нет вообще.

Временами, когда я думал об этом, мне приходило в голову, что идея о доступности ума одного человека уму другого -- просто разговорная иллюзия, фигура речи, допущение, заставляющее какой-либо обмен между, в сущности, чужими людьми казаться правдоподобным; и что на самом деле отношения одного человека с другим, в конечном итоге, непознаваемы. Попытки постижения того, что существует в мозгу другого человека, искажают то, что видно. Наверное, я ищу какой-то ситуации, в которой все, что ни появлялось бы, появлялось бы неискаженным. Того, как он задает все эти свои вопросы, я не знаю.

26

Я просыпаюсь от холода. Выглядываю из спальника и вижу, что небо -- темно-серого цвета. Втягиваю голову обратно и снова закрываю глаза.

Позднее серое небо светлеет; по-прежнему холодно. Видно пар от дыхания. Тревожная мысль, что небо серо от дождевых туч, беспокоит меня, но после тщательного обзора я вижу, что это просто такая серая заря. Кажется, ехать еще слишком рано и холодно, поэтому из мешка я не выползаю. Но сна нет.

Сквозь спицы мотоциклетного колеса я вижу спальник Криса на столе, весь перекрученный вокруг него. Крис не шевелится.

Мотоцикл тихо возвышается надо мною, готовый к старту, словно ожидал его всю ночь, как какой-то молчаливый часовой.

Серебристо-серый, хромированный и черный -- и пыльный. Грязь из Айдахо, Монтаны, Дакот, Миннесоты. Снизу, с земли, смотрится очень впечатляюще. Никаких финтифлюшек. Все имеет свое предназначение.

Не думаю, что когда-нибудь продам его. Просто незачем. Это не автомобиль с кузовом, который разъедает ржавчина всего за несколько лет. Регулируй мотоцикл, разбирай его -- и он будет жить столько же, сколько и ты. Может, даже дольше. Качество. До сих пор оно тащило нас без хлопот.

Лучи солнца лишь слегка дотрагиваются до верхушки утеса над нашей ложиной. Над ручьем появляется локон тумана. Значит, разогреется.

Я выбираюсь из спальника, надеваю башмаки, запаковываю все, что можно запаковать, не беспокоя Криса, а потом подхожу к столу и встряхиваю его.

Он не реагирует. Я озираюсь по сторонам: работы никакой не осталось, надо будить. Я все еще сомневаюсь, но утренний воздух очень свеж, а я слегка рассержен и нервничаю, поэтому и ору:

-- ПОДЪЕМ! -- И он внезапно подскакивает с широко открытыми глазами.

Я стараюсь, как могу, и продолжаю побудку первым четверостишием из «Рубайята Омара Хайяма». Утес над нами похож на какой-нибудь утес в пустыне Персии. Но Крис не соображает, что это я такое несу. Он смотрит на верхушку утеса, а потом лишь сидит и щурится на меня. Чтобы воспринимать скверную декламацию с утра, нужно определенное настроение. А в особенности -- таких стихов.

Вскоре мы снова едем по дороге, которая извивается и петляет. Мы устремляемся вниз, в огромный каньон с высокими белыми утесами по сторонам. Ветер просто замораживает на ходу. Дорога выводит на солнечный свет, который, кажется, прогревает меня и сквозь куртку, и сквозь свитер, но скоро мы возвращаемся под сень стены каньона, где ветер начинает подмораживать снова. Этот сухой пустынный воздух не держит тепла. Губы, обдуваемые ветром, сохнут и трескаются.

Несколько дальше мы переезжаем через дамбу и выскакиваем из каньона на какую-то высокогорную полупустыню. Это уже Орегон. Дорога вьется по местности, напоминающей северный Раджастан в Индии, где не вполне пустыня (много сосен, можжевельника и травы), но и не возделываемые земли тоже -- кроме тех мест, где в лощинах или долинах есть небольшой избыток влаги.

Эти безумные четверостишия «Рубайята» продолжают вертеться в голове.

...есть что-то в травки узкой полосе,

Что отделяло бы пустыню и посев.

Есть страны, где слов «Раб» и «Господин» не знают:

Мне жаль Султана, что б на трон там сел...

Перед глазами встают руины древнего дворца Моголов у начала пустыни, где краем глаза он увидел куст дикой розы...

...А первый месяц лета, что так розов... Как там дальше? Не знаю. Мне оно даже не нравится. Я заметил, что с тех пор, как началось это путешествие -- а в особенности с Бозмена -- фрагменты эти кажутся все меньше и меньше частью его памяти и все больше и больше -- моей. Я не уверен, что все это значит... Думаю... Нет, не знаю.

Думаю, у этого типа пустыни есть какое-то название, но не могу вспомнить его. На дороге никого, кроме нас. Крис орет, что у него снова понос. Мы едем дальше, пока я не замечаю внизу речку, и мы съезжаем с дороги и останавливаемся. На его лице снова смущение, но я говорю, что нам некуда спешить, вытаскиваю смену белья, рулончик туалетной бумаги и кусок мыла и говорю, чтобы он тщательно вымыл руки, когда закончит.

Сажусь на омархайямовский камень, созерцаю эту пустыню и чувствую себя неплохо.

...А первый месяц лета, что так розов... о!.. вот, возвращается...

День новый сотни роз дарить нам рад?
Но где ж тогда дней прошлых розы спят?
А первый месяц лета, что так розов,
Из жизни заберет Джамшид и Кей-Кубад.

...И так далее, и тому подобное...

Давай слезем с Омара и займемся Шатокуа. Для Омара лучшее решение -- расслаблять себе, хлестать вино и чувствовать себя паршиво от того, что время проходит, поэтому Шатокуа подходит мне как ничто другое по сравнению с этим. Особенно сегодняшний -- о сметке.

Я вижу, как Крис поднимается по склону обратно. С облегчением.

Мне нравится слово «сметка», потому что оно такое домашнее, такое заброшенное и такое не стильное, что похоже, будто ему нужен друг, и оно не станет отвергать никого, кто ему попадется. В английском языке «сметка» -- старое шотландское слово, раньше им много пользовались американские пионеры, но, как и слово «родня», нынче оно, кажется, совершенно выпало из употребления. Мне оно нравится еще и тем, что точно описывает, что именно происходит со всеми, кто подсоединяется к Качеству. Они наполняются сметкой. Греки называли это *enthousiasmos*, корень слова «энтузиазм», что буквально означает «наполненный *theos*'ом» -- то есть Богом или Качеством. Видишь, как все сходится?

Человек, наполненный сметкой, не просиживает впустую, рассусоливая обо всяких вещах. Он -- на передовой плоскости поезда собственного осознания, он наблюдает за тем, что появляется на рельсах, и готов встретить это нечто, когда оно возникает. Вот что такое сметка.

Крис подходит и говорит:

-- Мне уже лучше.

-- Хорошо, -- отвечаю я. Мы упаковываем мыло и бумагу, кладем полотенце и сырое белье туда, где они не смогут намочить всего остального, поднимаемся и движемся дальше.

Процесс наполнения сметкой происходит, когда человек спокоен достаточно долгое время для того, чтобы увидеть, услышать и почувствовать настоящую вселенную, а не просто чьи-то зачерствевшие мнения о ней. Однако, в этом нет ничего экзотического. Вот почему мне нравится это слово.

Это часто заметно в людях, возвращающихся с долгих, спокойных рыбалок. Они часто склонны ощущать какую-то вину в том, что так много времени потратили «ни на что», поскольку интеллектуального оправдания тому, чем они занимались, нет. Но у вернувшегося с рыбалки обычно до странности много сметки -- и обычно это касается тех самых вещей, которые ему до смерти надоели несколько недель назад. Он не тратил времени впустую. Так кажется только с нашей ограниченной культурной точки зрения.

Если собираешься починить мотоцикл, то первый и самый важный инструмент -- достаточный запас сметки. Если у тебя его нет, то с таким же успехом можешь собрать остальные инструменты и убрать их подальше, поскольку пользы они не принесут.

Сметка -- психическое горючее, которое и приводит все в движение. Если ее нет, то нет и никакой возможности починить мотоцикл. Но если она *есть*, и если знаешь, как ее сохранить, то в целом мире нет абсолютно ничего, что *помешало* бы тебе отремонтировать мотоцикл. Это просто обязано случиться. Следовательно, именно за сметкой нужно постоянно следить и беречь ее прежде всего.

Первостепенная важность сметки решает проблему формата нашего Шатокуа. Сама проблема заключалась в том, как слезть с общих мест. Если Шатокуа начинает углубляться в дебри подробностей ремонта одной, частной машины, то, скорее всего, эта машина не будет машиной именно твоего изготовителя и твоей модели, а информация окажется не только бесполезной, но и опасной, поскольку сведения, способные починить одну машину, иногда могут поломать другую. Для получения подробной информации объективного характера нужно пользоваться отдельным руководством для машин конкретного изготовителя и конкретной модели. Помимо этого, пробелы заполняются общими инструкциями -- вроде «Справочника автомобилиста» Одела.

Но существуют иные виды подробностей, в которые не пускается ни один справочник, но они остаются общими для всех машин, и их здесь можно привести. Это подробности отношений Качества, сметки, отношений между машиной и механиком, которые так же сложны, как и сама машина. В процессе починки машины всегда возникает нечто низкого качества -- будь то запывший шарнир или случайно запоротый «незаменимый» узел. Такие вещи истощают сметку, рушат энтузиазм и настолько обламывают, что хочется про все это дело просто скорее забыть. Я называю такие штуки «ловушками сметки».

Существуют сотни различных видов ловушек сметки, а может даже тысячи, а может -- миллионы. Я никогда не смогу выяснить, скольких сам не знаю. Я знаю, что только *кажется*, будто попадаю во все мыслимые ловушки сметки. А не дает мне думать, будто я устранил их все, то, что с каждой новой работой я обнаруживаю их все больше. Уход за мотоциклом начинает расстраивать. Злить. Приводить в ярость. Вот от чего он становится интереснее.

Карта передо мной подсказывает, что скоро впереди появится городок Бейкер. Я вижу, что мы теперь въехали в более обжитую местность. Здесь больше дождей.

У меня в голове сейчас каталог «Ловушки Сметки, Которые Я Знаю». Я хочу основать совершенно новую область знания -- сметковедение, -- в которой все они сортируются, классифицируются, структурируются в иерархии и вступают в отношения между собой в назидание будущим поколениям и для выгоды всего человечества.

Сметковедение 101 -- Исследования аффективных, когнитивных и психомоторных блоков в восприятии отношений Качества. Я хотел бы видеть такую карточку где-нибудь в университетском каталоге.

В традиционном уходе за мотоциклом сметка расценивается как то, с чем рождаешься или что приобретаешь в результате хорошего воспитания. Непреходящее свойство. От недостатка информации о том, как, приобрести эту сметку, можно допустить, что человек безо всякой сметки -- безнадежный случай.

В недуалистическом уходе сметка не является непреходящим свойством. Она переменна, она -- резервуар доброго духа, который можно прибавлять или отнимать. Поскольку она -- результат восприятия Качества, то, следовательно, ловушку сметки можно определить как то, что ведет к потере Качества из виду, а поэтому -- и к утрате энтузиазма по отношению к тому, что делаешь. Как можно догадаться по такому широкому определению, поле это огромно, и здесь можно попытаться дать лишь начальный набросок.

Насколько я вижу, существует два основных типа ловушек сметки. Первый -- те, что отшвыривают с пути Качества условиями, возникающими из внешних обстоятельств, и я называю их «задержками». Второй тип -- ловушки, которые отшвыривают с пути Качества условиями в первую очередь внутри тебя самого. Для этих у меня нет никакого родового имени -- разве что «зависы». Сначала займусь внешне обусловленными задержками. В первый раз, когда делаешь какую-нибудь большую работу, кажется, что самые большие хлопоты приносит непоследовательная повторная сборка. Обычно это происходит в то время, когда думаешь, что уже почти все закончил. После многих дней работы, наконец, все сложено вместе, кроме... что это? *Втулка соединительного стержня?!* Ее как ты мог забыть? О Господи, все надо снова *разбирать!* И уже почти слышишь, как испаряется сметка. *Псссссс.*

Ничего не остается, как вернуться назад и снова все разобрать... после периода отдыха продолжительностью до месяца, который позволяет привыкнуть к этой мысли.

Существует два метода, которыми я пользуюсь, чтобы предотвратить задержку непоследовательной сборкой. В основном, я ими пользуюсь, когда влезая в сложную сборку, о которой ничего не знаю.

Здесь следует сделать отступление и сообщить, что у механиков есть неписаное правило: вообще *не следует влезать* в сложную сборку, о которой ничего не известно. Следует обучиться самому или оставить работу специалисту. Такую механику ради механики я в гробу видал. Это «специалист» сломал ребра воздушного охлаждения блока цилиндров у моей машины. Я редактировал руководства, написанные для обучения специалистов из «Ай-Би-Эм», и то, что они знают по окончании курса, не столь уж велико. При самостоятельной сборке с самого начала преимущество -- не на твоей стороне, и, быть может, тебе это чего-то будет стоить -- из-за тех частей, которые случайно повредишь; и почти несомненно, все это займет намного больше времени, но когда влезешь туда в следующий раз, то уже намного опередишь специалиста. Ты, с помощью сметки, уже изучил сборку труднейшим способом, и у тебя теперь есть полный набор добрых чувств к ней, которые у специалиста вряд ли когда появятся.

Во всяком случае, первый метод предотвращения ловушки непоследовательной сборки -- записная книжка, куда я заново порядок разборки и отмечаю все необычное, что может доставить хлопоты при сборке впоследствии. Эта записная книжка становится довольно засаленной и безобразной на вид. Но несколько раз одно-два слова в ней, при записи казавшиеся незначительными, предотвращали поломку и упрядняли многие часы бесполезной работы. В таких заметках следует обращать особое внимание на ориентацию деталей влево-вправо и вверх-вниз, на цветовое обозначение и расположение проводов. Если какие-то детали случайно выглядят сношенными, поврежденными и незакрепленными, то самое время это отметить, чтобы потом можно было закупать все запчасти сразу.

Второй метод предотвращения ловушки непоследовательной сборки -- газеты, расстеленные на полу гаража, куда выкладываются все детали слева направо и сверху вниз, как прочитываешь страницу книги. Таким образом, когда собираешь их в обратном порядке, маленькие винтики, шайбочки и штифтики, которые можно легко проглядеть, попадают в зону внимания по мере необходимости.

Даже со всеми этими предосторожностями, однако, непоследовательные сборки иногда имеют место, и когда это происходит, ты должен следить за сметкой. Берегись сметочного отчаянья -- когда дико спешишь в попытке восстановить сметку, наверстывая упущенное время. Это только приводит к еще большему числу ошибок. Когда в первый раз замечаешь, что нужно вернуться назад и снова все разобрать, определенно настало время для такого длительного перерыва.

Важно отличать от этих сборок те, что оказались непоследовательными из-за того, что не хватило определенной информации. Часто весь процесс сборки превращается в метод «экспериментального тыка», когда приходится все разбирать, чтобы что-то заменить, а потом опять все собирать, чтобы посмотреть, будет работать или нет. Если замена не работает, то это -- не задержка, поскольку полученная информация -- уже настоящее продвижение вперед.

Но если сделал всего-навсего старую простую тупую ошибку при повторной сборке, то какую-то долю сметки еще можно спасти знанием того, что вторая разборка и сборка, вероятно, пройдут намного быстрее, чем первая. Ты подсознательно выучил все, так что переучиваться не придется.

Из Бейкера мотоцикл повез нас через леса. Лесная дорога повела на перевал и вниз, по лесам уже на другой стороне.

Спускаясь по склону, мы видим, как деревья постепенно редуют -- пока снова не оказываемся в пустыне.

Пульсирующая поломка -- следующая задержка. При такой штуке то, что не работает, внезапно исправляется, как только начинаешь его чинить. К этому типу часто относятся короткие замыкания. Замыкает, когда машину трясет. Только остановишься -- все в порядке. В таком случае починить это почти невозможно. Можно только попытаться заставить его поломаться снова, а если не захочет, то вообще забыть про него.

Пульсары становятся ловушками сметки тогда, когда тебя дурачат, и начинаешь думать, что на самом деле починил машину. При любой работе неплохо приходит к подобному заключению, только подождяв несколько сотен миль. Пульсары обескураживают, когда возникают вновь и вновь, но ты -- не в худшем положении, чем тот, кто идет к платному механику. На самом деле, твое положение даже более выигрышно. Эти штуки -- в большей степени ловушки сметки для того, кто должен везти машину в мастерскую снова и снова и никогда этим не удовлетворяться. На собственной машине ты можешь их изучать долго -- а этого не может себе позволить платный механик, -- и просто возить с собой инструменты, которые могут понадобиться в следующий раз, когда возникнет эта пульсирующая поломка, а когда она возникнет -- остановиться и поработать над ней. Когда пульсары возникают повторно, постарайся соотнести их с другими поступками своего мотоцикла. Например, с переборами зажигания -- они случаются только на выбоинах, только на поворотах, только при

ускорении? Только в жаркие дни? Такие соотнесения -- ключ к гипотезам причины-следствия. При некоторых пульсирующих поломках придется бросать все и отправляться на долгие рыбалки, но какими бы утомительными они ни казались, это не страшнее, чем возить мотоцикл к механику пять раз. У меня сейчас сильное искушение удариться в долгие подробности о «Пульсирующих Поломках, Которые Я Знал» с детальным описанием подвигов, которыми они решались. Но это похоже на рыбацкие байки, интересные только рыболову, который не может до конца уловить, почему все зевают. Ему-то в кайф.

Следующей, наверное, вслед за неверной сборкой и пульсирующей поломкой, пойдет задержка из-за запчастей -- наиболее обычная наружная ловушка сметки. Здесь человек, делающий все сам, может впасть в депрессию несколькими путями. Запчасти ведь никогда не планируешь покупать, приобретая машину в самом начале.

Розничные торговцы любят, чтобы их каталоги были небольшими. Оптовики медлительны, и у них постоянно не хватает персонала по весне, когда все покупают запчасти для мотоциклов.

Цены на запчасти -- вторая половина ловушки. Широко известна промышленная политика оценивать оригинальное оборудование в расчете на конкуренцию, поскольку покупатель всегда может пойти в другое место, но отыгрываться на запчастях. Цена на запчасть не только взвинчена за пределы ее себестоимости; установлена специальная цена еще и для тебя, поскольку ты не являешься платным механиком. Такова хитрая организация, позволяющая механику богатеть, устанавливая детали, вовсе не нужные.

И еще один барьер. Запчасть может не подойти. В списках деталей всегда есть ошибки. Запутывают изменения изготовителей и моделей. Партии изнашивающихся деталей иногда не проходят контроль качества, поскольку на заводе такая проверка просто не предусмотрена. Некоторые детали изготавливаются отдельными цехами, у которых нет доступа к инженерной информации, необходимой для того, чтобы детали выходили как надо.

Иногда *они сами* запутываются в изменениях изготовителей и моделей. Иногда тот специалист, к которому обращаешься, записывает не тот номер. Иногда даешь ему неверное определение. Но всегда в итоге возникает огромная ловушка сметки: дойти до дому и обнаружить, что новая деталь не годится.

Ловушки запчастей можно преодолеть комбинацией нескольких методов. Во-первых, если в городе больше одного магазина запчастей, непременно выбирать тот, где более доброжелательный специалист. Завязать с ним знакомство по первому классу. Часто оказывается, что он сам -- бывший механик, и может снабдить кучей необходимой информации.

Держи всегда в виду тех, кто снижает цены -- у некоторых бывают хорошие предложения. Автомобильные магазины и магазины, высылающие детали по почте, часто запасаются потребительскими деталями по ценам намного ниже тех, что в специализированных. Например, можешь купить роликовую цепь у изготовителей по цене, намного меньшей, чем раздутая цена магазина мотоциклетных принадлежностей.

Всегда бери с собой старую деталь, чтобы не купить чего-нибудь не того. Бери кронциркуль, чтобы сравнить размеры.

Наконец, если ты так же измучен проблемами запчастей, как и я, и обладаешь кое-какими свободными деньгами, то можно заняться весьма увлекательным делом -- самостоятельной механической обработкой деталей. У меня есть маленький токарный станок 6х18 дюймов с фрезеровочным блоком и полный комплект сварочного оборудования: дуга, гелиевая дуга, газ и мини-газ. С их помощью можно наращивать изношенные поверхности металлом лучшего качества, нежели первоначальный, а затем восстанавливать их стойкость карбидными инструментами. По-настоящему не поймешь, насколько универсальна эта комбинация токарного, фрезерного и сварочного оборудования, пока сам не начнешь ею пользоваться. Если не можешь сделать работу непосредственно сам, то всегда можно сделать хоть что-то, что *поможет* ее изготовить. Обработка детали очень медленна, и некоторые, например, шарикоподшипники, обработать не сможешь никогда, но сам изумишься, когда поймешь, как можно модифицировать конструкцию детали, чтобы ее можно было обрабатывать на твоём оборудовании; причем эта работа -- далеко не так медленна и утомительна, как ожидание того, что какой-нибудь специалист по запчастям с ухмылкой пошлет тебя на завод-изготовитель. А работа -- *построение* сметки, а не разрушение ее. Ездить на мотоцикле, в котором есть детали, сделанные тобой, -- особое чувство, которое невозможно получить от запчастей, купленных в магазине.

Мы въехали в полынь и пески пустыни, и двигатель зачихал. Я переключаюсь на запасной бак и изучаю карту. Заправимся в городке под названием Юнити, а пока -- вдоль по черной, горячей дороге, через полынь, дальше.

В общем, все это самые распространенные задержки, что я мог вспомнить: непоследовательная сборка, пульсирующая поломка и проблемы с запчастями. Хотя задержки -- и самые распространенные ловушки, они -- только внешняя причина потери сметки. Теперь пришло время рассмотреть некоторые из *внутренних* ловушек, действующих одновременно с внешними.

Как указано в описании курса сметководения, эту внутреннюю часть области знания можно подразделить на три основных типа внутренних ловушек сметки: те, что блокируют эмоциональное понимание («ценностные ловушки»); те, что блокируют познавательное понимание («ловушки истины»); и те, что блокируют

психомоторное поведение («мышечные ловушки»). Ценностные ловушки -- во многом самая крупная и самая опасная группа.

Из всех ценностных ловушек наиболее широко распространена и пагубна ценностная ригидность: неспособность переоценить то, что видишь, из-за приверженности предшествующим ценностям. В уходе за мотоциклом ты *должен* по мере продвижения открывать заново то, что делаешь. Непоколебимые ценности делают это невозможным.

Типичная ситуация -- мотоцикл не работает. Все факты перед носом, но ты их не видишь. Смотришь прямо на них, но им пока не хватает *ценности*. Об этом говорил Федр. Качество, ценность, *создает* субъекты и объекты мира. Фактов не существует, пока их не создаст ценность. Если ценности твои ригидны, ты не сможешь учиться новым фактам.

Это часто проявляется в преждевременном диагнозе, когда уверен, что знаешь, в чем причина неполадки, а когда потом все оказывается не так, то застреваешь. Приходится искать какие-то новые ключи, но прежде, чем сможешь их найти, придется очистить голову от старых мнений. Если же ты заражен ценностной ригидностью, то сможешь проморгать подлинный ответ, даже когда он смотрит прямо на тебя, поскольку не видишь важности этого нового ответа.

Испытывать рождение нового факта всегда чудесно. Оно дуалистически называется «открытием» из-за предположения, что этот факт обладает существованием независимо от чьего-либо осознания его. Когда он возникает, то поначалу всегда обладает низкой ценностью. Затем, в зависимости от ценностной раскрепощенности наблюдателя и потенциального качества факта, его ценность возрастает -- либо медленно, либо быстро, -- или убывает, и факт таким образом исчезает совсем.

Подавляющее большинство фактов, видов и звуков вокруг нас каждую секунду, отношения между ними и все, что в нашей памяти, -- у всего этого нет Качества, а на самом деле -- есть отрицательное качество. Если бы все они присутствовали в нашем сознании одновременно, оно было бы так загромождено бессмысленной информацией, что мы бы не смогли ни думать, ни действовать. Поэтому мы проводим предварительный отбор, основываясь на Качестве, или, говоря словами Федра, путь Качества предварительно отбирает, какие данные мы собираемся осознать, и совершает этот отбор так, чтобы наилучшим образом гармонизировать то, что мы есть, с тем, чем мы становимся.

Если же попался в ловушку ценностной ригидности, то нужно всего-навсего притормозить (тормозить придется в любом случае, хочется этого или нет), притормозить намеренно и пройти еще раз там, где уже проходил, посмотрев, действительно ли те вещи, которые казались важными, важны, и... ну... посидеть, просто уставившись на машину. В этом ничего такого нет. Просто ненадолго свыкнись с этим состоянием. Посмотри так, как на рыбалке смотришь на леску, и пройдет очень немного времени, прежде -- и это так же верно, как и то, что ты сейчас живешь, -- чем начнет поклевывать: это маленький фактик робко, униженно спрашивает, не заинтересован ли ты в нем. Именно так мир продолжается. Заинтересуйся им.

Сначала постарайся понять этот новый факт не столько в свете своей большой проблемы, сколько ради него самого. Проблема твоя, быть может, не настолько и велика, как ты думаешь. А факт, может быть, не так уж и мал. Может, тебе нужен вовсе не этот факт, но, по крайней мере, ты должен в этом очень хорошо удостовериться прежде, чем отсылать его прочь. Зачастую, прежде чем отошлешь его, обнаруживаешь, что у него есть друзья, сидящие прямо рядом с ним и наблюдающие за твоей реакцией. Среди этих друзей как раз может оказаться тот факт, который ты ищешь.

Через некоторое время можешь прийти к выводу, что этот клев, что у тебя получается, -- гораздо интереснее твоей первоначальной цели починить машину. Когда это случится, считай, что, вроде, приехал. После этого ты уже не строго механик по мотоциклам, а к тому же еще и мотоциклетный ученый, и полностью преодолел ловушку ценностной ригидности.

Дорога снова поднялась к соснам, но по карте я вижу, что это ненадолго. Вдоль трассы -- рекламные щиты каких-то курортов, под ними -- дети, словно часть рекламы, собирают шишки. Они машут нам, а самый маленький мальчик роняет свои шишки.

Я по-прежнему хочу вернуться к той аналогии с выуживанием фактов. Просто вижу, как кто-то раздраженно спрашивает:

-- Да, но что за факты ты ловишь? Здесь должно скрываться нечто большее.

Однако, ответ -- уже в том, что если знаешь, *какие* факты ловить, то больше их неловишь. Поймал. Сейчас попробую придумать какой-нибудь особенный пример...

Можно приводить всякие примеры из области ухода за мотоциклом, но самым показательным образцом ценностной ригидности, пришедшим в голову, все равно будет старая «южноиндийская ловушка для обезьян», эффективность которой зависит как раз от ценностной ригидности. Ловушка состоит из пустого кокосового ореха, привязанного к колышку. Внутри -- немножко риса, который можно достать через маленькую дырочку.

Дырочка велика настолько, чтобы сквозь нее прошла ручка обезьяны, но слишком мала, чтобы прошел ее кулачок с зажатым в нем рисом. Обезьяна засовывает в орех руку -- и вот она уже поймана не чем иным, как собственной ригидностью ценностей. Она не может сделать переоценку риса. Не может увидеть, что свобода без риса ценнее неволи с рисом. Вот уже идут селяне забирать ее. Вот они подходят... ближе... ближе!.. всё! Какой общий совет -- не частный, а именно *общий* -- можно дать бедной обезьянке в таких обстоятельствах? Думаю, ты повторить ей точно то же, что я говорил о ценностной ригидности, -- может, только настойчивее. Существует факт, который этой обезьянке должен быть известен: если она разожмет кулак, она свободна. Но как ей этот факт обнаружить? Исключив ригидность ценностей, ставящую рис выше свободы. Как ей это сделать? Ну, каким-то образом ей следует намеренно притормозить и вернуться туда, где уже побывала, чтобы посмотреть, действительно ли те вещи, которые она считала важными, важны, а потом перестать дергаться и просто посидеть некоторое время, уставившись на кокосовый орех. Пройдет немного времени, и у обезьяны начнет наклеиваться маленький фактик, спрашивая, не заинтересует ли он ее. Она же должна попытаться осознать его не столько в свете своей большой проблемы, сколько ради него самого. Эта проблема может оказаться не такой уж юльшой, как обезьянка думает. А фактик -- не таким уж маленьким. Вот, пожалуй, и вся общая информация, которую ты ей можешь дать.

У Прейри-Сити мы опять выезжаем из горных лесов -- к засушенному городку с широкой главной улицей, которая через центр опять выводит прямо в прерию за городом. Тыкаемся в один ресторан, но он закрыт. Переходим через дорогу и пробуем другой. Дверь открыта, мы садимся и заказываем по солодовому молоку. Ожидая заказа, я достаю план письма, которое Крис собирался писать маме, и отдаю ему. К моему удивлению, он начинает над ним пыхтеть без лишних вопросов. Я откидываюсь на спинку диванчика и не мешаю ему. Не проходит ощущение, что факты, которые я улавливаю в отношении Криса, тоже у меня перед носом, но моя собственная ригидность ценностей не дает их увидеть. Временами кажется, будто мы движемся скорее параллельно, а не совместно, -- а потом, в какие-то случайные моменты, сталкиваемся. Его неприятности дома всегда начинаются, когда он пытается мне подражать, командуя другими, в особенности -- своим младшим братом, так, как я команду им. Естественно, другие его команд не переносят, а он не видит, что они имеют полное право пренебрегать ими, -- тогда-то весь этот кошмар и начинается. Кажется, ему наплевать, популярен он у кого-либо или же нет. Он хочет быть популярным только у меня. Если учитывать все остальное, то это совсем не здорово. Пора бы ему начинать долгий процесс откола. Этот откол должен проходить как можно легче, но он *должен быть*. Пора поставить его на собственные ноги. Чем раньше, тем лучше. И теперь, обдумав все, я этому больше не верю. Я не знаю, в чем причина. Тот сон, который продолжает мне сниться, преследует меня, поскольку я не могу избавиться от его смысла: я -- всегда по другую от него сторону стеклянной двери, которую не открываю. Он хочет, чтобы я ее открыл, а я до этого времени всегда отворачивался. Теперь же там появилась новая фигура, которая мне мешает. Странно. Через некоторое время Крис говорит, что устал писать. Поднимаемся, я расплачиваюсь у стойки, и мы уходим.

Снова на дороге, и снова разговор о ловушках сметки.

Следующая -- весьма важна. Внутренняя ловушка эго. Эго вовсе не отделено от ценностной ригидности, но является одной из многих причин ее.

Если ты себя высоко оцениваешь, твоя способность узнавать новые факты ослаблена. Твое эго изолирует тебя от реальности Качества. Если факты показывают, что ты только что опростоволосился, ты сам не так уж и готов это допустить. Когда ложная информация показывает тебя в хорошем свете, ты, скорее всего, ей поверишь. При любой механической ремонтной работе эго подвергается весьма грубой обработке. Ты постоянно одурачен, постоянно делаешь ошибки, и механик, которому надо защищать свое большое эго, -- всегда в жутко невыгодном положении. Если ты знаешь достаточно механиков, чтобы думать о них как о группе, и если твои наблюдения совпадают с моими, ты, наверное, согласишься, что механики склонны быть довольно скромными и спокойными. Есть исключения, но в общем, если они не скромны и не спокойны с самого начала, то, кажется, сама работа делает их такими. И еще -- скептиками. Внимательными, но скептиками. Но не эгоистами. Невозможно, занимаясь фигней, создать себе доброе имя механика-ремонтника, -- кроме как в глазах тех, кто не знает, чем ты занимаешься.

...Я собирался сказать, что машина не реагирует на твою личность, но *реагирует* на твою личность. Просто та личность, на которую она реагирует, -- твоя *подлинная* личность, которая по-настоящему чувствует, мыслит и поступает, а не какие бы там ни были ложные, раздутые образы личности, которые может выдумать эго. Из этих

ложных образов воздух выходит так быстро и окончательно, что поневоле вскоре оказываешься весьма обескураженным, если развивал свою сметку из этого, а не из Качества.

Если скромность не дается легко или естественно, единственный выход из этой ловушки -- все равно симулировать скромность. Если только намеренно допустишь, что толку в тебе немного, твоя сметка резко увеличится, когда факты докажут, что это допущение верно. Таким путем ты сможешь продолжать до тех пор, пока не настанет время, когда факты докажут, что это допущение *не* верно.

Мандраж, следующая ловушка сметки, -- некая противоположность эго. Ты настолько уверен, что все сделаешь не так, что боишься делать что-либо вообще. Зачастую именно это, а вовсе не «лень» -- подлинная причина того, что трудно что-либо начать. Эта ловушка мандража, возникающая из перемотивации, может привести к любым видам ошибок, связанных с чрезмерной суетой. Чинишь то, что в починке не нуждается, и преследуешь всякие воображаемые неисправности. Приходишь к дичайшим выводам и допускаешь всевозможные ошибки из-за собственной нервозности. Когда эти ошибки сделаны, то они лишь подтверждают первоначальную недооценку себя. Это ведет к еще большим ошибкам, что уводит к большей недооценке, и так далее, по самоподпитывающему циклу.

Лучший способ прорвать этот цикл, я думаю, -- выразить все свои тревоги на бумаге. Прочти по возможности все книги и журналы по своему предмету. Мандраж твой будет этому только способствовать, и чем больше будешь читать, тем более успокаиваться. Следует помнить, что ты добиваешься спокойствия духа, а не просто отремонтированной машины.

Начиная ремонтную работу, можно составить на маленьких листочках бумаги список того, что нужно сделать, а потом организовать их в должной последовательности. Обнаружишь, что чем больше их организовываешь и переорганизовываешь, тем больше идей приходит в голову. Время, истраченное на это занятие, обычно окупается временем, сбереженным на машину, и не допускает никакой суеты, которая впоследствии создаст тебе же проблемы.

Можно как-то уменьшить свою боязнь, принимая тот факт, что в природе не существует механика, который иногда не запарывал бы работу. Главная разница между тобой и платным механиком -- в том, что когда портачит он, ты об этом не подозреваешь, а просто платишь: эти дополнительные расходы пропорционально распределяются по всем твоим счетам. Когда ошибки делаешь ты сам, то, по меньшей мере, у тебя есть преимущество получения некоторого образования.

Скука -- следующая ловушка сметки, приходящая в голову. Она противоположна мандражу и обычно сопровождает проблемы эго. Скука означает, что ты сошел с пути Качества, ничего не видишь свежим взглядом, утратил свой «ум новичка», и твой мотоцикл -- в большой опасности. Скука означает, что твой запас сметки истощился, и его надо восполнить прежде, чем что-то делать дальше.

Когда скучно, *остановись!* Сходи в кино. Включи телевизор. Брось все к чертовой матери. Делай что угодно, только не работай с машиной. Если не остановишься, дальше произойдет Большая Ошибка, и тогда вся твоя скука плюс Большая Ошибка объединятся однажды в воскресенье в единый удар и вышибут из тебя всю сметку, -- и вот тогда действительно застрянешь.

Мое лучшее лекарство от скуки -- сон. Когда скучно, очень легко заснуть, а после долгого отдыха трудно скучать. Следующий мой любимец -- кофе. Работая с машиной, я всегда включаю кофейник. Если ни то, ни другое не срабатывает, значит, более глубокие проблемы Качества беспокоят и отвлекают от того, что у тебя перед носом. Скука -- сигнал к тому, чтобы ты перенес внимание на эти проблемы (ты это и так делаешь) и начал бы их контролировать прежде, чем продолжать работу с мотоциклом.

Для меня самая скучная задача -- чистить машину. Такая пустая трата времени, кажется. Машина пачкается, как только сядишь на нее. Джон всегда поддерживал свой БМВ в образцовом состоянии. На него действительно приятно было смотреть, а мой всегда кажется слегка замызганным. Вот классический ум в работе: внутри работает, как часы, а на поверхности выглядит неопрятно.

Одно из решений проблемы скуки при некоторых работах, например, при смазке, смене масла или регулировке, -- превратить их в какой-нибудь ритуал. Существует своя эстетика при выполнении какой-то незнакомой работы и своя -- при выполнении знакомой. Я слышал, что есть два вида сварщиков: промышленные, которые не любят никаких сложных конструкций и получают удовольствие от делания чего-то одного снова и снова; и ремонтные, которые терпеть не могут делать одну и ту же работу дважды. Весь прикол заключался в том, что, нанимая на работу сварщика, надо удостовериться, к какому типу он относится, поскольку они не взаимозаменяемы. Я отношусь к последнему классу, и, может быть, поэтому получаю гораздо больше кайфа от поиска неполадок, чем от чего бы то ни было другого, и больше, чем что бы то ни было, не люблю чистить машину. Я мою и чищу ее так, как большинство людей ходит в церковь -- не столько ради того, чтобы узнать что-нибудь новенькое, хоть я и восприимчив к новому, сколько, в основном, чтобы вновь познакомиться с окружающим. Иногда приятно пройти по старым тропинкам.

Дзэн кое-что сообщает о скуке. Его основная практика «просто сидения» -- наверное, самая скучная в мире деятельность (если не считать индуистской практики «захоронения заживо»). В общем-то, ты ничего не делаешь: не движешься, не думаешь, ни о чем не беспокоишься. Что может быть скучнее? И все же в центре всей этой скуки -- то самое, чему дзэн-буддизм стремится научить. Что же это такое? Что там, в самом центре скуки, чего не видишь?

Нетерпеливость близка к скуке, но она всегда возникает из одной причины: недооценки количества времени, которое займет работа. На самом деле, никогда не знаешь, что произойдет, и только очень немногие работы

выполняются быстро, как и планировалось. Нетерпеливость -- первая реакция на задержку; она вскоре может превратиться в злость, если не будешь осторожен.

С нетерпеливостью лучше всего справиться, если выделить себе на работу неопределенное время -- в особенности, на какую-нибудь новую работу, требующую применения незнакомых приемов; если увеличивать отведенное время вдвое, когда обстоятельства заставляют планировать именно таким образом; если пропорционально уменьшать размеры всего, что нужно сделать. Общие цели следует уменьшать по важности, а непосредственные задачи -- пропорционально увеличивать в масштабе. Это требует гибкости ценностей, а смена ценностей обычно сопровождается некоторой потерей сметки, но эту жертву следует принести. Она не сравнится с утратой сметки, которая произойдет, если случится Большая Ошибка вследствие нетерпеливости.

Мое любимое упражнение по пропорциональному уменьшению -- чистка гаек, болтов, штифтов и отверстий с внутренней резьбой. У меня просто фобия по поводу сбитых, запоротых, заржавевших или забитых грязью резьб, из-за которых гайки откручиваются медленно или туго; и когда я такую резьбу нахожу, то замеряю ее штангенциркулем и резьбомером, вытаскиваю метчики и головки, снова нарезаю ее, потом проверяю, смазываю, и вот тогда мне открывается целая новая перспектива на терпение. Другое упражнение -- уборка инструментов, бывших в работе и валяющихся по всей мастерской. Это хорошо потому, что один из первых предупредительных знаков нетерпеливости -- раздражение из-за того, что не можешь сразу взять инструмент, который именно сейчас позарез нужен. Если просто остановиться и аккуратно разложить все по местам, то и инструмент найдешь, и нетерпеливость умеришь -- без лишней траты времени и вреда для работы.

Мы въезжаем в Дэйвилль, а мое сиденье уже как бетонное.

Ну, вроде, кажется всё про ловушки сметки. Их, конечно, гораздо больше. На самом деле, я только коснулся этого предмета, чтобы показать, что в нем есть. Почти любой механик мог бы часами вкачивать в тебя информацию о таких ценностных ловушках, про которые я ничего не знаю. Открывать их великое множество при выполнении почти любой работы тебе придется самому. Возможно, лучше всего выучить одно: как узнавать ценностную ловушку, когда попадаешь в нее, и справляться с ней прежде, чем продолжать работу над машиной.

В Дэйвилле -- огромные раскидистые деревья около бензоколонки, где мы ждем работника. Никто не появляется, и мы, не желая снова садиться за мотоцикл, разминаем затекшие ноги под деревьями. Большие кроны почти накрывают дорогу. Странно в такой засушливой местности.

Хозяин по-прежнему не показывается, но его конкурент с заправки напротив, через узкий перекресток, видит все это и вскоре подходит наполнить нам бак.

-- Не знаю, куда Джон девался, -- говорит он.

Когда Джон, наконец, появляется, то благодарит конкурента и гордо произносит:

-- Мы всегда так друг друга выручаем.

Я спрашиваю, есть ли здесь где-нибудь место для отдыха, и он отвечает:

-- Можете отдохнуть у меня на лужайке. -- Показывает на свой дом под тополями через дорогу: лужайка там -- три или четыре фута в диаметре.

Мы так и делаем, растягиваемся в высокой зеленой траве, и я вижу, что трава и деревья орошаются из придорожной канавы, где течет чистая вода.

Должно быть, мы проспали с полчаса, прежде чем увидели Джона в кресле-качалке на травке рядом с нами; он разговаривает с пожарником, сидящим в другом кресле. Я слушаю. Меня интригует ритм разговора. Беседа намеренно ни к чему не приведет, она -- просто так, заполнить время. Я не слышал такого размеренного, медленного разговора годов с тридцатых, когда так говорили мои дедушка, прадедушка, дядя и братья дедушки: дальше, дальше и дальше, безо всякой цели или смысла, если не считать занятия времени, словно покачивание кресла.

Джон замечает, что я проснулся, и мы тоже немного беседуем. Он говорит, что вода для полива поступает из «Канавы Китайца»:

-- Белого ни в жисть не заставишь выкопать такую канаву, -- говорит он. -- Ее прорыли восемьдесят лет назад, когда думали, что тут есть золото. Теперь такой канавы уже нигде не сыщешь.

Он подтверждает, что именно поэтому деревья -- такие большие.

Мы коротко рассказываем, откуда мы и куда едем, а когда собираемся уезжать, Джон говорит, что рад был встрече и надеется, что мы хорошо отдохнули. Выезжая под деревья, Крис оборачивается и машет ему, а тот улыбается и машет в ответ.

Пустынная дорога вьется по горным ущельям и между склонов. Это пока -- самая сухая местность.

Теперь я хочу поговорить о ловушках истины и мускульных ловушках, и на этом Шатокуа сегодня закончить. Ловушки истины касаются постигаемых данных, которые находятся внутри вагонов поезда осознания. По большей части, эти данные должным образом манипулируются привычной дуалистической логикой и научным методом, о которых говорилось раньше, сразу после Майлз-Сити. Но есть одна ловушка истины, которая сюда не попадает -- ловушка логики «да-нет».

Да и нет... это или то... один или ноль. На таком элементарном различии по двум признакам построено все человеческое знание. Это демонстрируется компьютерной памятью, которая хранит все свое знание в форме бинарной информации. Она содержит только единицы и ноли -- и всё.

Поскольку мы к этому не привыкли, то обычно не видим, что существует третий возможный логический термин, равный «да» и «нет», способный расширять наше понимание в непризнанном направлении. У нас даже нет для него названия, поэтому придется пользоваться японским словом *му*.

Му означает «не вещь». Как и «Качество», оно указывает наружу процесса дуалистического различения. *Му* просто говорит: «Нет класса; ни ноль, ни единица, ни да, ни нет.» Оно утверждает, что контекст вопроса таков, что ответы «да» и «нет» ошибочны, и их оба не следует давать. «Не задавай вопроса,» -- вот что оно говорит. *Му* становится уместным, когда контекст вопроса слишком мал для истины ответа. Когда дзэнского монаха Джошу спросили, обладает ли пес природой Будды, тот сказал: «*Му*,» -- в том смысле, что если бы он ответил так или этак, то ответил бы неправильно. Природу Будды нельзя ухватить вопросами, требующими ответа «да» или «нет».

То, что *му* существует в естественном мире, исследуемом наукой, очевидно. Просто мы, как обычно, обучены своим наследием не видеть его. Например, снова и снова утверждается, что контуры компьютера проявляют только два состояния -- напряжение, принимаемое за «единицу», и напряжение, принимаемое за «ноль». Но ведь это же глупо!

Любой техник-радиоэлектронщик знает, что это не так. Попробуй найти напряжение, представляющее единицу или ноль, когда питание отключено! Контуры -- в состоянии *му*. Они -- ни на единице, ни на ноле, они -- в неопределенном состоянии, не имеющем смысла в понятиях единиц и нолей. Во многих случаях вольтметр будет показывать значения «блуждающего заземления», в которых техник читает не характеристики контуров компьютера, а характеристики самого вольтметра. Вот что происходит: состояние отключенного питания -- часть контекста, более широкого, нежели контекст, в котором состояния «один-ноль» считаются универсальными. Вопрос о единице или ноле «не задан». И существует множество иных состояний компьютера, помимо отключенного питания, в которых можно найти ответы *му* из-за контекстов шире универсальности единиц-нолей.

Дуалистический ум склонен думать о явлении *му* в природе как о некоем контекстуальном надувательстве или о неуместности, но *му* обнаруживается во всех научных исследованиях, а природа никого не надувает, и ответы природы никогда не бывают неуместными. Великая ошибка, просто какая-то нечестность -- замечать *му*-ответы природы под ковер. Признание и оценивание этих ответов очень сильно поможет в приведении логической теории ближе к экспериментальной практике. Каждый лабораторный ученый знает, что часто результаты его экспериментов выдают ответы *му* на вопросы «да-нет» -- на которые и рассчитывались эксперименты. В таких случаях он считает эксперимент плохо разработанным, бранит себя за глупость и, в лучшем случае, расценивает «истраченный впустую» эксперимент, выдавший ответ *му*, как некий холостой ход, который сможет помочь предотвратить ошибки в разработке будущих экспериментов по принципу «да-нет».

Низкое оценивание эксперимента, выдавшего ответ *му*, не оправдано. Ответ *му* -- важный ответ. Он сообщил ученому, что контекст его вопроса слишком мал для ответа природы, и что он должен расширить контекст вопроса. Это *очень важный* ответ! Им в огромнейшей степени улучшается понимание природы -- что и было целью эксперимента с самого начала. Можно очень твердо отстаивать утверждение, что наука в *большей* степени развивается своими ответами *му*, нежели своими ответами «да» или «нет». «Да» или «нет» подтверждают или отрицают гипотезу. *Му* говорит, что ответ -- *за пределами* гипотезы. *Му* -- «явление», вдохновляющее на научное исследование в первую очередь! В нем нет ничего мистического или эзотерического. Просто наша культура деформировала нас, и мы выносим низкое ценностное суждение о нем.

В уходе за мотоциклом ответ *му*, даваемый машиной на многие диагностические вопросы, поставленные ей, -- главная причина утраты сметки. Такого *не должно* быть! Когда получаешь неопределенный ответ на свой тест, это означает одно из двух: либо процедуры твоего теста не выполняют того, что ты думаешь, либо твое понимание контекста вопроса требует расширения. Проверь свои тесты и снова изучи вопрос. Не отбрасывай тех ответов *му*! Они так же жизненно необходимы в каждой своей малости, как и ответы «да» или «нет». Они *более* жизненно необходимы. Они -- то, на чем *растешь*!

...Кажется, наш мотоцикл понемногу раскаляется... но это, наверное, просто горячая сухая местность, по которой мы едем... Я оставляю ответ в состоянии *му*... пока не станет лучше или хуже...

Мы надолго останавливаемся в городке Митчелл выпить шоколадного напитка. Городок угнездился среди сухих холмов, которые видно из широкого окна. На грузовике подъезжают какие-то ребята, останавливаются, выгружаются оттуда, заходят в ресторан и как-то в нем всем завладевают. Они достаточно прилично себя ведут - в разумных пределах, -- они просто шумны и энергичны, но можно заметить, что дама, управляющая ресторанчиком, слегка нервничает по их поводу.

Снова пустыня, пески. Мы по ним и едем. День заканчивается: проехали мы очень много. У меня всё уже болит от долгого сидения на мотоцикле. Устал как собака. Крис тоже -- еще в ресторане. К тому же, он подавлен.

Может, он... ну... ладно, не стоит...

Расширение *му* -- единственное, что я хочу сказать сейчас насчет ловушек истины. Пора переключиться на психомоторные ловушки. Это -- царство понимания, наиболее непосредственно связанное с тем, что происходит с машиной.

Здесь во многом самой раздражающей ловушкой сметки являются неадекватные инструменты. Ничто даже приблизительно так не деморализует, как завис с инструментами. Покупай хорошие инструменты, коль скоро можешь себе это позволить, -- и никогда не пожалеешь. Если хочешь сэкономить, не прогляди объявлений о распродажах в газетах. Хорошие инструменты, как правило, не снашиваются, а хорошие инструменты, уже побывавшие в употреблении, намного лучше превосходных новых. Изучай каталоги инструментов. Сможешь много из них почерпнуть.

Если не считать плохих инструментов, основная ловушка сметки -- плохая окружающая обстановка. Обращай внимание на хорошее освещение. Поразительно, какое количество ошибок поможет предотвратить немного света.

Небольшого физического дискомфорта избежать не удастся, но если его много, например, когда слишком жарко или холодно, ты можешь отшвырнуть свои оценки очень далеко, если не будешь осторожен. Если слишком замерз, например, то будешь торопиться и, вероятно, наделаешь ошибок. Если жарко, твой порог злости опускается слишком низко. По возможности избегай неудобного положения при работе. Маленькие табуретки с обеих сторон мотоцикла намного увеличат терпеливость, и ты с меньшей вероятностью запорешь узлы, с которыми работаешь.

За некоторые самые серьезные повреждения отвечает одна психомоторная ловушка сметки -- мускульная нечувствительность. Частично она является результатом недостатка кинестезии, неумения понять, что хотя внешние части мотоцикла и грубы, внутри двигателя -- нежные, точные детали, которые легко повредить мускульной нечувствительностью. Есть такое «чувство механика», очевидное для тех, кто знает, что это такое, но труднообъяснимое для тех, кто этого не знает; и видя, как над машиной работает человек, у которого его нет, будешь страдать вместе с его машиной.

Чувство механика происходит из глубокого внутреннего кинестетического ощущения эластичности материалов. У некоторых материалов, керамики, например, ее очень мало: делая нарезку по фарфору, надо быть осторожнее и не прилагать очень больших усилий. Другие материалы, например, сталь, обладают огромной эластичностью, большей, чем у резины, но в том диапазоне, в котором работаешь (если не применяешь больших механических сил), эластичность эта не проявляется.

С помощью гаек и болтов ты попадаешь в диапазон больших механических сил, и следует понимать, что внутри таких диапазонов металлы эластичны. Затягивая гайку, достигаешь такой точки, когда она «болтается»: контакт есть, а запас эластичности не выбран. Потом гайка «подогнана»: когда выбирается легкая поверхностная эластичность. И, наконец, есть диапазон «тугой» гайки, когда выбрана вся эластичность. Сила, требуемая для достижения этих трех точек, различна для каждого размера гайки и болта, болтов со смазкой и стопорных гаек. Различны силы для стали и кованого железа, меди и алюминия, пластиков и керамики. Однако, человек с чувством механика знает, когда что-то затянуто туго, и вовремя останавливается. Человек без него проходит напрямик мимо этой точки и срывает резьбу или ломает узел.

«Чувство механика» подразумевает понимание не только эластичности металла, но и его мягкости.

Внутренности мотоцикла содержат поверхности, в некоторых случаях точные до одной тысячной дюйма. Если уронишь такую деталь или стукнешь по ней молотком, если на нее попадет грязь или поцарапаешь ее, она утратит точность. Важно понимать, что металл *за* поверхностями обычно выдерживает сильные воздействия и напряжения, сами же поверхности -- нет. Когда дело доходит до застрявших или труднодоступных точных деталей, человек с чувством механика старается не повредить поверхности и, когда возможно, применяет инструменты к непрецизионным поверхностям той же самой детали. Если же ему надо работать на самих таких поверхностях, он всегда будет пользоваться чем-то помягче. Для такой работы имеются латунные, пластиковые, деревянные, резиновые и свинцовые молотки. Пользуйся ими. На тиски можно ставить пластмассовые, медные и

свинцовые прокладки. Ими тоже пользуйся. Обращайся с точными деталями нежно. Никогда об этом не пожалеешь. Если у тебя есть тенденция колотить до всего, с чем работаешь, возьми себе за труд и попытайся не спеша выработать немного уважения к достижению, которым является точная деталь.

Длинные тени в пустыне, через которую мы ехали, оставили после себя какое-то тоскливое, подавленное ощущение...

Может, виновата обычная вечерняя депрессия, но после всех сегодняшних разговоров осталось такое чувство, что я как-то *обошел* то, ради чего все это говорилось. Некоторые могут спросить: «Ну, так если я избежну всех этих ловушек сметки, тогда у меня всё с машиной получится?»

Ответ тут, конечно же: нет; ничего у тебя с машиной не выйдет. Кроме этого надо еще и жить правильно. То, как живешь, предрасполагает избегать ловушек и видеть нужные факты. Знаешь, как написать совершенную картину? Это легко. Сделай себя совершенным, а потом просто пиши ее естественно. Именно так поступают все знающие люди. Создание картины или починка мотоцикла неотделимы от остального существования. Если ты -- неряшливый мыслитель шесть дней в неделю, когда не работаешь над своей машиной, то какие методы избежания ловушек, какие трюки вдруг сделают тебя проницательным на седьмой? Тут все взаимосвязано.

Но если ты -- неряшливый мыслитель шесть дней в неделю, а на седьмой по-настоящему *постараешься* стать проницательным, то, может быть, следующие шесть дней уже не пройдут так неряшливо, как предыдущие. Я, наверное, пытаюсь предложить по части этих ловушек сметки просто срезание углов на пути к тому, чтобы жить правильно.

Подлинный мотоцикл, над которым работаешь, -- мотоцикл под названием «ты сам». Машина, которая кажется «вон там, снаружи», и личность, которая кажется «вот тут, внутри», -- не две разные вещи. Они растут к Качеству или же отпадают от Качества вместе.

Мы приезжаем в Прайнвилл-Джанкшн, когда до захода солнца остается всего несколько часов. Мы сейчас на пересечении с 97-й трассой, откуда повернем на юг; я заправляюсь на перекрестке, а потом вдруг чувствую такую усталость, что захожу за угол станции, сажусь на крашенный желтым цементный бордюр, вытягиваю ноги на гравий, и последние лучи солнца бьют мне в глаза сквозь кроны деревьев. Подходит Крис и тоже садится, и мы оба ничего не говорим, но это пока -- самая худшая депрессия у нас обоих. Столько трепать языком про ловушки сметки -- и вот сам попал в такую. Может, это усталость. Надо где-то поспать.

Некоторое время я наблюдаю, как по трассе едут машины. В них есть что-то одинокое. Нет, не одинокое -- хуже. Ничего в них нет. Как выражение на лице служителя, когда тот наполняет бак. Ничего. Никакая обочина под ногами -- никакой гравий на каком-то перекрестке, на пути никуда.

У водителей этих машин тоже есть что-то такое. Они похожи на нашего служителя с заправки: тарашатся прямо перед собой в каком-то персональном трансе. Я не видел такого с тех пор, как... как Сильвия это заметила в первый день. Все выглядят так, словно едут в похоронной процессии.

Время от времени кто-нибудь бросает быстрый взгляд и безо всякого выражения снова отворачивается, словно не лезет не в свои дела, словно смущен тем, что мы заметили, как он на нас посмотрел. Я теперь это замечаю потому, что мы долгое время с таким не сталкивались. Машину водят тоже по-другому. Они движутся с равномерной максимальной скоростью, допустимой при езде в черте города, будто стремятся куда-то добраться, будто то, что вот сейчас прямо здесь -- через него надо поскорее проехать. Водители, мне кажется, думают скорее о том, где хотят быть, чем о том, где есть.

Понял, в чем дело! Мы приехали на Западное Побережье! Мы снова -- чужие! Толпа, я просто забыл о самой большой ловушке сметки. Похоронная процессия! Та, в которой участвуют все: этот раздутый хайпом, суперсовременный эго-стиль жизни по принципу «да идите вы все на хуй», считающий, что владеет всей этой страной. Мы выпали из него так надолго, что я совсем про него забыл.

Мы вливаемся в поток, текущий на юг, и я чувствую: эта хайповая опасность настигает нас. В зеркальце вижу, как какая-то сволочь садится мне прямо на хвост и не хочет проезжать дальше. Я выхожу на семьдесят пять, но он не отстает. Девяносто пять -- и мы отрываемся. Мне это совсем не нравится.

В Бенде останавливаемся и ужинаем в современном ресторанчике, куда люди тоже заходят и едят, не глядя друг на друга. Обслуживание -- превосходное, но безличное.

Еще дальше на юг находим чахлый лесок, разделенный на смешные участки. Очевидно, проект какого-нибудь «разработчика недвижимости». На одном, подальше от Трассы, расстилаем спальные и обнаруживаем, что слой хвои едва прикрывает должно быть многофутовый слой мягкой, рыхлой пыли. Я никогда ничего подобного не видел. Придется быть осторожнее, чтобы не разворошить ногами хвою, а то пыль будет летать повсюду.

Мы расстилаем брезент, а на него кладем спальные. Кажется, сгодится. Немного разговариваем с Крисом о том, где мы сейчас и куда едем. В сумерках я смотрю на карту, потом зажигаю фонарик. Сегодня проехали 325 миль. Ничего себе. Крис, кажется, устал так же основательно, как и я, и, как и я, готов немедленно заснуть.

ЧАСТЬ 4

27

Почему ты не выходишь из тени? Как ты на самом деле выглядишь? Ты чего-то боишься, да? Чего ты боишься?

За фигурой в тени -- стеклянная дверь. Крис -- за ней, знаками показывает мне, чтобы я открыл ее. Он уже старше, но на лице -- все такое же умоляющее выражение. «Что мне теперь делать?» -- хочет знать он. -- «Что мне делать дальше?» Он ждет, чтобы я объяснил ему.

Время действовать.

Я изучаю фигуру в тени. Она -- не столь всемогуща, как казалось раньше. «Кто ты?» -- спрашиваю я. Нет ответа.

«По какому праву закрыта эта дверь?»

По-прежнему нет ответа. Фигура молчит, но вдобавок еще и ежится. Боится. Меня.

«Есть кое-что похуже, чем прятаться в тени, да? Поэтому ты молчишь?»

Она, кажется, дрожит, отступает, словно чувствуя, что я собираюсь сделать.

Я жду, а потом придвигаюсь ближе. Отвратительная, темная, злая тварь. Ближе, глядя не на нее, а на стеклянную дверь, чтобы не спугнуть. Делаю еще одну паузу, собираюсь и -- бросок!

Мои руки проваливаются во что-то мягкое там, где должна быть шея. Фигура корчится, я сжимаю сильнее, как держат змею. И вот теперь, сжимая все крепче и крепче, мы выйдем на свет. Вот так! А ТЕПЕРЬ ПОСМОТРИМ НА ЛИЦО!

«Папа!»

«Пап!» -- я слышу голос Криса из-за двери?

Да! В первый раз! «Папа! Пап!»

-- Папа! Пап! -- Крис дергает меня за рубашку. -- Папа! Проснись! Пап!

Он плачет, начиная уже всхлипывать:

-- Папа, перестань! Проснись!

-- Хорошо, Крис.

-- Пап, проснись!

-- Я проснулся. -- Едва различаю его лицо в раннем утреннем свете. Мы -- под деревьями где-то на открытом воздухе. Рядом мотоцикл. Наверное, где-то в Орегоне.

-- Со мной уже все в порядке, просто кошмар приснился.

Он продолжает плакать, и я некоторое время тихонько сижу с ним.

-- Все хорошо, -- говорю я, но он не перестает. Очень сильно испугался.

Я тоже.

-- Что тебе снилось?

-- Я пытался увидеть чье-то лицо.
-- Ты кричал, что убьешь меня.
-- Нет, не тебя.
-- Кого?
-- Кого-то во сне.
-- А кто это?
-- Я не уверен.
Плакать Крис перестает, но его все еще трясет от холода.
-- Ты увидел лицо?
-- Да.
-- Как оно выглядело?
-- Это было мое лицо, Крис, я тогда и закричал... Просто плохой сон. -- Я говорю ему, что он весь дрожит, и что он должен залезть обратно в мешок.
Он слушается.
-- Так холодно, -- говорит он.
-- Да. -- В раннем свете я вижу пар от нашего дыхания. Потом он забирается в свой мешок с головой, и я вижу только свой пар.
Я не сплю.
Тот, кому приснилось, -- вовсе не я.
Федр.
Он просыпается.
Ум, разделенный против самого себя... я... Я -- та зловещая фигура в тени. Я -- отвратительный...
Я всегда знал, что он вернется...
Теперь дело в том, чтобы к этому подготовиться...
Небо под деревьями -- такое серое и безнадежное.
Бедный Крис.

Отчаянье нарастает.
Будто растворяешься в одном из таких фильмов: когда знаешь, что ты -- не в реальном мире, но он все равно кажется реальным.
Холодный, беснежный ноябрьский день. Ветер заносит грязь сквозь трещины в закопченных стеклах старого автомобиля, и Крис -- ему шесть -- сидит рядом, закутанный в свитеры, потому что печка не работает, и в грязные окна продуваемого насквозь автомобиля они видят, что движутся вперед, к серому беснежному небу между стен серых и серовато-коричневых зданий с кирпичными фасадами, по осколкам и мусору на улицах.
-- Где мы? -- спрашивает Крис, а Федр отвечает:
-- Я не знаю, -- и он действительно не знает, его разума почти что совсем уже нет. Он потерянно перемещается по серым улицам.
-- Куда мы едем? -- спрашивает Федр.
-- К раскладушникам, -- отвечает Крис.
-- А *они* где? -- спрашивает Федр.
-- Не знаю, -- отвечает Крис. -- Может, если будем просто ехать, то увидим их.
И поэтому эти двое все едут и едут по бесконечным улицам в поисках раскладушников. Федре хочется остановиться, положить голову на руль и просто отдохнуть. Копоть и серость залезли в глаза и почти смазали узнавание у него в мозгу. Одна табличка с названием улицы похожа на другую. Одно серо-коричневое здание -- на следующее. Все дальше и дальше едут они, ища раскладушников. Но раскладушников, знает Федр, он никогда не найдет.
Крис начинает медленно и постепенно соображать: что-то не так, человек, управляющий машиной, -- на самом деле больше ею не управляет капитан мертв а машина беспилотна и он не знает этого а только чувствует и говорит остановись и Федр останавливается.
Сзади сигналил автомобиль, но Федр неподвижен. Сигналят и другие машины, потом еще и еще, и Крис в панике кричит:

-- ПОЕЗЖАЙ! -- и Федр медленно и мучительно давит ногой на сцепление и трогает машину с места. Медленно, как во сне, они движутся по улицам.

-- Где мы живем? -- спрашивает Федр испуганного Криса.

Крис помнит адрес, но не знает, как туда добраться; но размышляет, что если спросить достаточно много людей, дорогу найти можно, поэтому и говорит: «Останови машину», выходит, спрашивает, как проехать, и ведет лишившегося ума Федра меж бесконечных стен из кирпича и битого стекла.

Много часов спустя они приезжают, и мама в ярости, что они так поздно. Она никак не может понять, почему они не нашли раскладушников. Крис объясняет: «Мы искали везде», но при этом бросает на Федра быстрый взгляд, полный страха, ужаса перед чем-то неизвестным. Вот где все это началось для Криса.

Такого больше не произойдет...

Думаю, сейчас нужно спуститься в Сан-Франциско, посадить Криса на автобус домой, а самому продать мотоцикл и сдать в больницу... нет, последнее кажется таким бессмысленным... не знаю, что и делать.

Поездка же не пройдет полностью впустую. По крайней мере, у него обо мне останутся хорошие воспоминания, когда вырастет. От этого тревога спадает. За такую мысль хорошо держаться. Вот я и буду за нее держаться. А тем временем просто продолжим нормальную поездку и будем надеяться, что все станет лучше. Ничего не отбрасывай. Никогда, никогда ничего не отбрасывай.

Ну и холодина! Как зимой! Где это мы, что вокруг так холодно? Должно быть, где-то очень высоко. Я выглядываю из спальника и на этот раз вижу изморозь на мотоцикле. В раннем свете хромовый бензобак переливается искрами. На черной раме, куда попадают лучи солнца, иней превращается в бусинки росы, которые скоро стекут на колесо. Слишком холодно разлеживаться.

Я вспоминаю про пыль под слоем хвои и ставлю ноги на землю очень осторожно, чтобы не потревожить ее. У мотоцикла я все распаковываю, вытаскиваю теплое белье и натягиваю на себя, потом -- одежду, свитер, куртку. Холодно по-прежнему.

Ступая по рыхлой пыли, выхожу на грунтовку между соснами, которая нас сюда привела, и делаю стофуттовый рывок по ней, потом перехожу на размеренный бег и, наконец, останавливаюсь. Вот так лучше. Нет ни звука. Иней небольшими пятнами осел и на дорогу тоже, но он уже тает, и там, куда достают лучи солнца, дорога -- влажная и темная. Такие белые, кружевные и нетронутые пятна инея. И на деревьях. Я тихо возвращаюсь обратно -- словно чтобы не потревожить восхода. Ощущение ранней осени.

Крис еще спит, и мы не сможем никуда ехать, пока воздух не прогреется. Самое время подрегулировать мотоцикл. Я поворачиваю ручку на боковой крышке над воздушным фильтром и из-под фильтра достаю изношенный и грязный сверток с дорожным инструментом. Руки у меня не гнутся от холода, тыльные стороны покрыты морщинами. Хотя эти морщины -- не от мороза. В сорок они -- признак надвигающейся старости. Я укладываю сверток на сиденье и разворачиваю его... вот они все... как со старыми друзьями встречаешься. Я слышу Криса, бросаю взгляд через сиденье и вижу, что он шевелится, но не встает. Наверное, просто ворочается во сне. Через некоторое время солнце становится жарче, и руки у меня уже не так коченеют, как раньше.

Я собирался поговорить немного о народной мудрости при ремонте мотоцикла, о сотнях тех вещей, что узнаешь по мере продвижения, которые обогащают то, что ты делаешь, не только практически, но и эстетически. Хотя это кажется сейчас слишком тривиальным, я бы не сказал, что это так.

Однако, теперь мне хочется повернуть в другую сторону, где можно будет закончить историю о *нем*. Я ее так и не закончил, поскольку не думал, что это окажется необходимо. Теперь же, я считаю, в самый раз ее закончить за то время, что мне осталось.

Железо этих ключей -- такое холодное, что больно рукам. Но это -- хорошая боль. Настоящая, а не воображаемая, и она -- здесь, абсолютно, в моих руках.

...Когда идешь по тропе и замечаешь, что от нее отходит другая тропа под углом, скажем, 30 градусов, немного дальше с той же стороны -- еще одна, под более широким углом, скажем, 45 градусов, а еще дальше -- третья, уже под прямым углом, то начинаешь понимать, что где-то там есть какая-то точка, куда ведут все эти тропы, и

что, возможно, уже многим показалось стоящим идти туда; и начинаешь из простого любопытства сам задаваться вопросом, а не сходить ли и тебе тем путем.

В своей погоне за концепцией Качества Федр снова и снова замечал маленькие тропинки, уводившие в какую-то точку с одной стороны его пути. Он считал, что уже знал об общей идее, к которой все они вели -- к Древней Греции -- но теперь начал сомневаться, не проглядел ли он там чего-нибудь.

Уже много спустя после того, как Сара зашла к нему со своей лейкой и вложила ему в голову идею Качества, он спросил ее, где в английской литературе обучали Качеству как предмету.

-- Господи Боже мой, да не знаю я, я же не английский преподаю, -- отвечала та. -- Я же преподаю классику. Моя область -- греческий.

-- А Качество -- это какая-то часть греческой мысли? -- спросил он.

-- Качество -- это *каждая* часть греческой мысли, -- сказала она, и он задумался. Иногда под ее манерами старой перечницы он замечал некую тайную осмотрительность: будто она, словно дельфийский оракул, произносила вещи со скрытым значением; но он никогда не был в этом уверен.

Древняя Греция. Странно, что для них Качество было всем в то время, как сегодня даже произнести странно, что Качество реально. Что за невидимые перемены произошли?

Вторую тропинку к Древней Греции указало то, что весь этот вопрос -- Что есть Качество? -- внезапно вдвинулся в систематическую философию. Он думал, что уже покончил с этой темой. «Качество» же открыло все вновь. Систематическая философия -- греческое изобретение. Греки, таким образом, поставили на ней свою постоянную печать. Утверждение Уайтхеда⁽¹⁸⁾, что вся философия -- не что иное, как «примечание к Платону», может быть очень хорошо подкреплено. Вся эта неразбериха с реальностью Качества должна была начаться где-то там, в прошлом.

Третья тропа появилась, когда он решил стронуться из Бозмена в сторону докторской степени по философии, которая была ему необходима, чтобы продолжить преподавание в Университете. Он хотел продолжать исследования значения Качества, начатые на уроках английского. Но где? И в какой дисциплине?

Ясно, что термина «Качество» не существовало в рамках ни одной дисциплины, если этой дисциплиной не была философия. А по своему опыту с философией он знал, что дальнейшие изыскания вряд ли откроют ему что-либо, касающееся очевидно мистического термина в английском творческом письме.

Он все больше и больше начинал сознавать возможность того, что программы, по которой он мог бы изучать Качество в понятиях, наминавших бы те, в которых он сам его формулировал, попросту может не существовать. Качество лежало не только за пределами любой академической дисциплины, оно лежало еще и вне досягаемости методов всей Церкви Разума. Вот это будет Университет, которые согласится принять докторскую диссертацию, в которой соискатель отказывается определить свой основной термин.

Он долго рылся в каталогах, пока не обнаружил то, на что и надеялся. Все-таки *существовал* один университет -- Чикагский, -- где преподавалась междисциплинарная программа по «Анализу Идей и Изучению Методов». В экзаменационную комиссию входили профессор английской филологии, профессор философии, профессор китайской филологии и Председатель, профессор древнегреческой филологии. Колокол ударил: это все и решило.

С машиной, вроде, покончено, кроме смены масла. Бужу Криса, все складываем и едем! Он еще сонный, но холодный ветер на дороге освежает его.

Дорога, обсаженная соснами, забирает выше; движение сегодня не особенно сильное. Скалы между сосен -- темные и вулканические. Интересно, это мы что -- в вулканической пыли спали? А вулканическая пыль вообще существует? Крис говорит, что хочет есть; я тоже.

В Ла-Пайне останавливался. Я говорю, чтобы Крис заказал мне на завтрак яичницу с ветчиной, пока я на улице и смену масло.

На заправочной станции рядом с рестораном беру кварту масла и на покрытом гравием заднем дворе ресторана вытаскиваю пробку стока, даю маслу стечь, ставлю пробку на место и заливаю новое; когда заканчиваю, новое масло в уровнемере сверкает на солнце ясно и бесцветно, почти как вода. Ахххх!

Засовываю на место разводной ключ, захожу в ресторан и вижу Криса и на столе рядом с ним -- свой завтрак.

Иду в умывальник, чищусь и возвращаюсь.

-- Я проголодался! -- говорит он.

-- Холодная ночь выдалась, -- отвечаю я, -- и мы сожгли много пищи, только чтобы остаться в живых.

Яичница хороша. Ветчина -- тоже. Крис говорит про мой сон и про то, как он испугался, и с темой завязано.

Похоже, он хочет что-то спросить, потом раздумывает, потом некоторое время смотрит в окно на сосны, а потом все-таки возвращается к нему:

-- Папа?

-- Что?

-- Зачем мы это делаем?

-- Что?

-- Все время едем?

-- Просто страну посмотреть... каникулы.

Ответ его, видимо, не удовлетворяет. Но он, кажется, не видит, *что* в нем не так.

Бьет внезапная волна отчаянья, как тогда, на рассвете. Я ему *легу*. Вот что здесь не так.

-- Мы же просто едем и едем дальше, -- говорит он.

-- Конечно. Что бы ты делал вместо этого?

У него нет ответа.

У меня тоже.

Уже на дороге ответ приходит: мы делаем штуку высочайшего Качества, -- больше ничего в голову не приходит. Но это его удовлетворяет не больше, чем то, что я сказал. Не знаю, что еще можно ему сказать. Рано или поздно, прежде, чем попрощаться, -- если все идет к этому, -- нам придется кое о чем поговорить. Вот так отгораживать его от прошлого -- здесь для него может быть больше вреда, чем пользы. Ему придется услышать про Федра, хотя многого он никогда так и не узнает. Особенно конца.

Федр приехал в Чикагский Университет, уже находясь в мире мыслей, настолько отличном от того, который понимаем мы с тобой, что его было бы трудно описать, если бы я даже помнил все. Я знаю, что во время отсутствия Председателя заместитель допустил его на основании его преподавательского опыта и очевидной способности разумно выражать свои мысли. Что он сказал в действительности, утрачено. После этого он несколько недель ждал возвращения Председателя в надежде получить стипендию, но когда Председатель, наконец, объявился, то поимело место интервью, состоявшее, в сущности, из одного вопроса и ни одного ответа. Председатель спросил:

-- Какова ваша субстантивная область?

Федр ответил:

-- Творческое письмо.

Председатель взревел:

-- Это методологическая область! -- и по всем практическим намерениям интервью закончилось. После некоторого разговора, все равно ни к чему бы не приведшему, Федр запнулся, засомневался, извинился и уехал обратно в горы. Такова была его характерная черта, провалившая его в Университете до этого. Он застревал на вопросе и не мог думать ни о чем другом в то время, как класс двигался дальше без него. На этот раз, однако, на раздумья о том, почему его область должна быть субстантивной или методологической, у него было целое лето, и все лето он только этим и занимался.

В горах у границы лесов он ел швейцарский сыр, спал на постели из сосновых веток, пил воду из горных ручьев и думал о Качестве и о субстантивной и методологической областях.

Субстанция не изменяется. Метод не содержит постоянства. Субстанция относится к форме атома. Метод относится к тому, что этот атом делает. В техническом письме подобное разграничение проводится между физическим описанием и функциональным описанием. Сложный узел наилучшим способом описывается сначала в понятиях своих субстанций: подузлов и деталей. А дальше уже -- в понятиях своих методов: функций в их последовательности. Если смешаешь физическое и функциональное описания, субстанцию и метод, то все запутаешь -- и читателя в том числе.

Но применить эти классификации к целой области знания -- такой, как творческое письмо в английском языке, -- казалось произвольным и непрактичным. Нет ни одной академической дисциплины без как субстантивного, так и методологического аспектов. А у Качества, насколько он мог видеть, не было связи ни с тем, ни с другим.

Качество -- не субстанция. И не метод тоже. Оно вне их обоих. Если кто-то строит дом и пользуется методами отвеса и ватерпаса, то делает так потому, что прямая вертикальная стена менее склонна упасть и, следовательно, обладает более высоким Качеством, нежели кривая. Качество -- не метод. Это цель, на которую метод направлен. «Субстанция» и «субстантивный», на самом деле, соответствовали «объекту» и «объективности», что он отрицал для того, чтобы прийти к недуалистической концепции Качества. Когда все разделено на субстанцию и метод -- так же, как на субъект и объект, -- в действительности, места для Качества не остается вообще. Его диссертация не могла стать частью субстантивной области, поскольку допустить раскол на субстантивное и методологическое означало бы отрицать существование Качества. Если же Качество должно остаться, то следует отбросить концепцию субстанции и метода. Это означало бы ссору с комиссией -- а ссориться ему вовсе не хотелось. Но злился на то, что им понадобилось полностью уничтожить значение того, что он говорил, первым же своим вопросом. Субстантивная область? В какое прокрустово ложе они пытаются его впихнуть?

Он решил поближе познакомиться с комиссией и с этой целью провел кое-какие библиотечные раскопки. Он чувствовал: мыслительная структура комиссии полностью чужда ему. Он не видел, где эта структура и крупная структура его собственной мысли пересекаются.

Особенно его тревожило качество объяснений целей комиссии. Они представлялись очень смутными. Полное описание работы комиссии было странным узором достаточно ординарных слов, состыкованных вместе самым неординарным способом -- так, что объяснение казалось гораздо сложнее, чем то, объяснения чего ему хотелось добиться. Это уже не тот колокол, звон которого он слышал прежде.

Он изучил все, что смог найти из написанного самим Председателем, и здесь опять обнаружил тот странный языковой узор, который заметил в описании комиссии. Этот стиль озадачивал, поскольку совершенно не походил на того Председателя, которого видел он сам. Председатель в том коротком интервью произвел на

Федра впечатление своим очень быстрым умом и равно быстрым нравом. Сейчас же перед ним лежал образец одного из самых двусмысленных и непостижимых стилей, какие ему приходилось когда-либо читать.

Энциклопедические предложения, ставившие подлежащие намного за пределы расстояния крика от сказуемого. Вводные элементы совершенно необъяснимо вводились в другие вводные элементы, столь же необъяснимо введенные в предложения, чье отношение к предыдущим предложениям в уме читателя уже умерло, было похоронено и успело разложиться задолго до того, как наступил этот период.

Но самым замечательным оказалось удивительное и необъяснимое изобилие абстрактных категорий, казавшихся тяжело нагруженными особыми значениями, которые никогда не формулировались, и о чем содержании можно было только догадываться; они громоздились одно на другое так быстро и так тесно, что Федр знал: ему никак не понять, что перед ним находится, и еще меньше удастся все это оспорить.

Вначале Федр допустил, что причина трудности -- в том, что это все выше его понимания. Статьи предполагали наличие у читателя какого-то основного образования, чего у него не было. Затем, однако, он подметил, что некоторые статьи написаны для аудитории, такого образования иметь не могущей, и эта гипотеза развалилась. Вторая гипотеза заключалась в том, что Председатель был «техником» -- такое определение он давал писателю, настолько глубоко ушедшему в свою область знания, что тот терял способность вступать в коммуникацию с людьми из внешнего мира. Но если так, то почему комиссии дали такое общее, не техническое название -- «Анализ Идей и Изучение Методов»? К тому же, Председатель не походил на техническую личность. Так что и эта гипотеза оказалась слабенькой.

Со временем Федр оставил усилия по биению головой в риторику Председателя и попытался отыскать что-то побольше о комиссии, надеясь, что *это* объяснит ему, к чему оно все. Как оказалось, это и был правильный подход. Он начал понимать, в чем все дело.

Утверждения Председателя тщательно охранялись -- огромными лабиринтами фортификационных сооружений, которые тянулись и тянулись дальше, настолько сложные и массивные, что почти невозможно было обнаружить, что за мир располагался внутри, что за мир они охраняли. Непостижимость всего этого была сродни той, с которой сталкиваешься, входя в комнату, где только что закончился яростный спор. Все спокойны. Никто не говорит.

У меня есть только один крохотный фрагмент: Федр стоит в каменном коридоре здания, очевидно, где-то внутри Чикагского Университета, говоря ассистенту Председателя комиссии, словно детектив в конце фильма:

-- В вашем описании комиссии вы упустили одно важное имя.

-- Да? -- переспрашивает ассистент Председателя.

-- Да, -- отвечает всезнающе Федр. -- ...Аристотель...

Ассистент Председателя на секунду потрясен, а затем -- почти как преступник, чье преступление открыто, но он не чувствует за собой вины, -- смеется громко и долго.

-- А-а, я понимаю, -- произносит он. -- Вы не знали... ничего про... -- Затем передумывает и не говорит больше ничего.

Мы подъезжаем к повороту на озеро Кратер и поднимаемся по аккуратной дороге в Национальный Парк -- чистый, прибранный и охраняемый. Он другим и не должен быть, но это нисколько не говорит в пользу Качества. Он превращается в музей. Так было до появления белого человека: течет прекрасная лава, высохшие деревья, нигде не валяются банки из-под пива, -- теперь же, с приходом белого человека, все это выглядит липой. Может, Службе Национальных Парков следует нагромоздить посреди этой лавы всего лишь одну груду банок, чтобы все оживить. Отсутствие пивных банок отвлекает.

У озера мы останавливаемся, разминаемся и дружелюбно смешиваемся с небольшой толпой туристов, держащих фотокамеры и детей с криками «Не подходи слишком близко!», видим машины с номерами разных штатов, видим озеро с чувством «Ну, вот оно» -- точно такое же, как на картинках. Я наблюдаю за другими туристами: все они тоже кажутся здесь неуместными. У меня нет к ним никакого презрения -- просто чувство, что все это нереально, и что качество озера удушается тем, что на него так обращают внимание. Стоит обратить внимание на что-то как на имеющее Качество, и Качество уйдет. Качество видишь уголком глаза, поэтому я гляжу на озеро внизу, но ощущаю странное качество знобящего, почти холодного солнечного света за спиной и почти неподвижного ветра.

-- Зачем мы сюда приехали? -- спрашивает Крис.

-- Озеро посмотреть.

Ему это не нравится. Он чувствует фальшь и хмурится, пытаясь отыскать правильный вопрос, чтобы обнаружить ее.

-- Я этого терпеть не могу, -- говорит он.

Дама-туристка смотрит на него с удивлением, потом -- с презрением.

-- Ну, а что мы можем сделать, Крис? -- спрашиваю я. -- Нам просто нужно ехать, пока не обнаружим, *что* здесь не так, или почему мы не знаем, что именно здесь не так. Ты это понимаешь?

Он не отвечает. Дама делает вид, что не слушает, но неподвижность выдает ее. Мы идем к мотоциклу, и я пытаюсь что-то придумать, но ничего не выходит. Я вижу, что он немножко плачет и смотрит в сторону, чтобы я не увидел.

Мы выезжаем из парка на юг.

Я сказал, что ассистент Председателя Комиссии по Анализу Идей и Изучению Методов был шокирован. А шокирован он был тем, что Федр, сам того не зная, попал в эпицентр, вероятно, самой знаменитой академическое контрверзы этого века, которую президент Калифорнийского Университета назвал последней попыткой в истории изменения направления всего высшего образования.

Чтение Федра принесло плоды в виде краткой истории этого знаменитого бунта против эмпирического образования, происшедшего в начале тридцатых годов. Комиссия по Анализу Идей и Изучению Методов была остатком той попытки. Вождями бунта были Роберт Мэйнард Хатчинс, ставший президентом Чикагского Университета; Мортимер Адлер, чья работа по психологическим основам закона очевидности в некоторой степени походила на то, чем в Йельском Университете занимался Хатчинс; Скотт Бьюкэнон, философ и математик; и, наиболее важный для Федра из них всех, нынешний Председатель Комиссии, в то время бывший специалистом по Спинозе и медиевистом Колумбийского Университета.

Адлеровское исследование очевидности, оплодотворенное чтением классиков западного мира, привело к убеждению, что человеческая мудрость в последнее время развивалась сравнительно слабо. Адлер последовательно внимал Св. Фоме Аквинскому, который взял Платона с Аристотелем и сделал их частью своего средневекового синтеза греческой философии и христианской веры. Работы Аквинского и греков, интерпретированных Аквинским, были для Адлера краеугольным камнем западного интеллектуального наследия. Они, следовательно, служили мерой любому, кто стремился попасть на хороший счет.

В аристотелевской традиции, как ее переосмыслили средневековые схоласты, человек считается рациональным животным, способным искать и определять хорошую жизнь и добиваться ее. Когда этот «первый принцип», касающийся природы человека, принял президент Чикагского Университета, неизбежными стали и его последствия в сфере образования. Знаменитая программа Чикагского Университета «Великие Книги», реорганизация университетской структуры по Аристотелю и основание «Колледжа», где классику начинали читать пятнадцатилетним учащимся, -- лишь некоторые результаты.

Хатчинс отрицал идею того, что эмпирическое научное образование может автоматически привести к «хорошему» образованию. Наука «свободна от ценностей». Неспособность науки уловить Качество как объект исследования делает для нее невозможным обеспечение шкалы ценностей.

Адлер и Хатчинс в фундаментальном отношении имели дело с императивами жизни, с ценностями, с Качеством и с основаниями Качества в теоретической философии. Таким образом очевидно, что они двигались в том же направлении, что и Федр, но каким-то образом дошли до Аристотеля и остановились.

В этом и заключалось столкновение.

Даже те, кто желал признать озабоченность Хатчинса Качеством, не хотели отдавать всю власть в определении ценностей аристотелевской традиции. Они настаивали на том, что никакая ценность не может быть раз и навсегда закреплена, и что полноценной современной философии не нужно считаться с идеями в той форме, в какой они выражались в книгах древнего времени и Средневековья. Многим из них все это дело представлялось просто ни к чему не обязывающей лапшой на ушах, только на новом и претенциозном жаргоне.

Федр не совсем понимал, что делать с этим столкновением. Но оно определенно казалось близким к той области, в которой он желал работать. Он тоже чувствовал, что никакие ценности не могут быть закреплены, но это -- не причина для того, чтобы они игнорировались или не существовали как реальность. Он также испытывал антагонистические чувства к аристотелевской традиции как определителю ценностей, но вовсе не думал, что с ней не следует считаться. Ответ на все это был как-то глубоко запутан внутри, а он хотел узнать больше.

Из той четверки, которая произвела такой фурор, теперь остался только нынешний Председатель Комиссии. Может быть, вследствие такого понижения в звании, а может и по другим причинам, его репутация среди тех, с кем Федр разговаривал, была не очень сердечной. Его сердечность никем не подтверждалась, а двоими была даже резко оспорена: один был главой крупного отделения Университета и назвал его «святым ужасом», а другой, выпускник Чикагского Университета, защищавшийся по философии, сказал, что Председатель хорошо известен тем, что выпускает только копии самого себя под копирку. Никто из советчиков Федра не был мстительным по натуре, и он чувствовал: все, что ему сказали, -- правда. Это в дальнейшем подтвердилось открытием, которое он сделал на кафедре отделения. Он хотел узнать про все это у пары выпускников этой комиссии, и ему сказали, что комиссия за всю свою историю удостоила докторскими степенями по философии только двоих. Очевидно, чтобы найти для реальности Качества место под солнцем, ему придется сражаться и преодолевать главу собственной комиссии, чьи про-аристотелевские взгляды не давали Федру возможности даже начать, и чей характер казался крайне нетерпимым к противоположному мнению. Все это вместе рисовало очень мрачную картину.

Он тогда сел и написал Председателю Комиссии по Анализу Идей и Изучению Методов при Чикагском Университете письмо, которое может быть расценено только как провокация к отчислению; автор в нем отказывается тихонько красться к задней двери, а вместо этого закатывает сцену таких размеров, что оппозиция вынуждена вышвырнуть его через *парадную* дверь, таким образом придавая провокации вес, которого она раньше не имела. После чего он встает с тротуара и, убедившись, что дверь плотно закрыта, грозит ей кулаком, отряхивается и говорит: «Ну что ж, я *попытался*»; и таким образом очищает свою совесть.

Провокация Федра информировала Председателя, что теперь его субстантивной областью является философия, а не творческое письмо. Тем не менее, говорилось там, разделение исследования на субстантивную и методологическую области -- продукт аристотелевой дихотомии формы и сущности, которая не-дуалистам ни к чему, поскольку они идентичны.

Он писал, что не уверен, но диссертация по Качеству оказывается превращенной в анти-аристотелевскую диссертацию. Если это правда, то он избрал правильное место для ее защиты. Великие Университеты следовали Гегелю, и любая школа, которая не могла принять диссертацию, противоречившую ее фундаментальным догматам, шла по проторенной дорожке. Это, как утверждал Федр, была диссертация, которую только и ждал Чикагский Университет.

Он признавал, что его заявка грандиозна, и что для него, в действительности, не является возможным выносить ценностные суждения, поскольку ни единый человек не может быть беспристрастным судьей при слушании собственного дела. Но если бы кто-то другой произвел на свет диссертацию, которая бы знаменовала собой фундаментальный прорыв на стыках восточной и западной философий, религиозного мистицизма и научного позитивизма, он бы расценивал ее как важное историческое событие, способное продвинуть Университет на много вперед. В любом случае, писал он, в Чикаго никого, на самом деле, до конца не принимают, пока он кого-нибудь не уничтожит. Пора Аристотелю получить свое.

Просто неслыханно.

И, к тому же, не просто провокация к отчислению. Еще сильнее здесь выступает на поверхность мегаломания, мания величия, полная утрата способности понимать воздействие его высказываний на окружающих. Он настолько запутался в собственном мире метафизики Качества, что уже не мог ничего увидеть за его пределами, и, поскольку никто больше этого мира не понимал, то он был обречен.

Должно быть, он чувствовал в то время, что его слова были истинной, и неважно, возмутительна ли его манера презентации или нет. В этом так много всего заключалось, что у него не оставалось времени ничего подчищать.

Если Чикагский Университет больше интересовала эстетика того, что он говорил, а не рациональное содержание, то они не отвечали своему принципиальному назначению Университета.

Вот оно. Он действительно *верил*. Это не было для него просто еще одной интересной идеей, которую надо проверить существующими рациональными методами. То была модификация самих существующих рациональных методов. Обычно, когда появляется новая идея, которую надо показать в академическом окружении, предполагается, что ты должен быть объективным и незаинтересованным в ней. Но сама идея Качества оспаривала предположение об объективности и незаинтересованности. Такое манерничанье подходило только дуалистическому разуму. Дуалистическое превосходство достигается объективностью, творческое же превосходство -- *нет*.

У него была вера в то, что он разрешил громадную загадку вселенной, разрубил гордиев узел дуалистической мысли одним словом -- Качество, -- и он не собирался позволять кому бы то ни было связать это слово опять. И, веря в это, он не мог увидеть, сколь вопиюще мегаломаниакально звучали для других его слова. Или, если он это и видел, ему было наплевать. То, что он говорил, -- мегаломания, но предположим, что это -- *правда*? Если он не прав, то кому какое дело? Но предположим, что он *прав*? Быть правым и все отбросить в угоду предпочтениям своих учителей -- *вот что* было бы чудовищно!

Поэтому он просто плевал на то, как звучали его слова для остальных. Полный фанатизм. В те дни он жил в одиночной вселенной речи. Никто его не понимал. И чем больше людей показывало, что они не могут его понять, и что им не нравится то, что они понимают, тем более фанатичным и неприятным он становился. Его провокация к отчислению встретила ожидаемый прием. Поскольку его субстантивной областью оказалась философия, ему следовало обращаться на отделение философии, а не в Комиссию.

Федр послушно это исполнил, а потом они с семьей погрузили в машину и прицеп все, чем владели, попрощались с друзьями и уже приготовились выезжать. Как раз когда он в последний раз запирает двери дома, появился почтальон с письмом. Из Чикагского Университета. Там говорилось, что он не допущен. Больше ничего.

Очевидно, на решение повлиял Председатель Комиссии по Анализу Идей и Изучению Методов.

Федр занял у соседей ручку, листок бумаги и конверт и снова написал Председателю, что, поскольку он *уже был допущен* Комиссией по Анализу Идей и Изучению Методов, ему придется там *остаться*. Довольно буквоедский маневр, но у Федра к тому времени выработалась какая-то боевая осмотрительность. Эта хитрость, быстрая перетасовка и подстановка философской двери, казалось, указывали на *неспособность* Председателя в силу каких-то причин вышвырнуть его из парадной двери Комиссии даже с этим возмутительным письмом в руке, и это придавало Федру уверенности. Никаких черных ходов, пожалуйста. Они либо вышвырнут его из парадного, либо не вышвырнут вообще. Может быть, не смогут. Хорошо. Он не хотел этой своей диссертацией быть кому-то чем-то должным.

Мы едем по восточному берегу озера Клатат, по трехполосному шоссе, в котором есть много от двадцатых годов. Все эти трехполоски строились тогда. Останавливаемся пообедать в ресторанчике, который тоже целиком принадлежит тому времени. Деревянный каркас уже давно плачет по краске, неоновые вывески пива в окнах, гравий и пятна от машин на площадке перед входом.

Внутри унитаз весь в трещинах, раковина в грязных потеках, но на пути к нашей кабинке я еще раз обращаю внимание на лицо владельца за стойкой бара. Лицо двадцатых годов. Простое, неприятное и нестигаемое. Это его крепость. Мы -- его гости. И если нам не нравятся его гамбургеры, то нам лучше заткнуться.

Когда их приносят, эти гамбургеры с громадными сырыми луковичками оказываются вкусными, бутылочное пиво -- прекрасно. Целый обед стоит гораздо меньше, чем в этих заведениях для пожилых дев с пластмассовыми цветами на окнах. Пока мы едим, я смотрю по карте, что мы не там повернули и могли бы добраться до океана гораздо быстрее другим путем. Уже жарко: липкая жара Западного Побережья, которая очень гнетет после жара Западной Пустыни. Ей-богу, вся эта сцена просто перенесена с Востока; мне бы хотелось как можно скорее добраться до океана, где прохладно.

Я думаю об этом всю дорогу вокруг южной части озера Клатат. Липкая жара и ублюдочность двадцатых годов... Таким было и ощущение от Чикаго тем летом.

Когда Федр с семьей приехали в Чикаго, то поселились недалеко от Университета и, поскольку стипендии ему не платили, он начал на полной ставке преподавать риторику в Университете Иллинойса, который тогда находился в центре города на Военно-Морском Пирсе в мусорном и горячем месте, выступавшем прямо в озеро.

Уроки отличались от тех, что он давал в Монтане. Все сливки лучших студентов сняли и разместили в кампусах Шампэйн и Урбана, а почти все оставшиеся, которых учил он, были твердыми и монотонными троечниками.

Когда в классе их работы оценивались на предмет Качества, то сложно было отличить одну от другой. В других условиях Федр бы, возможно, придумал что-нибудь, чтобы такое положение как-то обойти, но теперь этим он просто зарабатывал на хлеб с маслом и не мог растрчивать свою творческую энергию. Его интересы располагались южнее, в другом Университете.

Он встал в очередь на регистрацию в Чикагский Университет, сообщил свое имя регистратору -- профессору философии -- и заметил, как глаза того сосредоточились на нем. Профессор философии сказал, что ах, да, Председатель просил, чтобы его записали на курс «Идеи и Методы», который вел сам Председатель, и вручил ему расписание курса. Федр отметил, что расписание перекрывалось с его расписанием на Военно-Морском Пирсе, и вместо этого выбрал другой курс -- «Идеи и Методы 251, Риторика». Поскольку риторика была все-таки его областью, так он чувствовал себя немного увереннее. И лектором там был не Председатель. Лектором там был профессор философии, который его сейчас записывал. Глаза его, ранее остановившиеся на Федре, теперь расширились.

Федр вернулся к преподаванию на Военно-Морском Пирсе и к подготовке своих первых уроков. Теперь ему было совершенно необходимо заниматься так, как он никогда не занимался прежде, чтобы изучить мысль Классической Греции в общем и одного грека-классика в частности -- Аристотеля.

Весьма сомнительно, чтобы из всех тысяч студентов, обучавшихся в Чикагском Университете древней классике, нашелся кто-нибудь более усердный. Основным пунктом борьбы университетской программы «Великие Книги» было современное поверье, что классика не имеет, на самом деле, никакого значения для, скажем, общества двадцатого века. Конечно же, большинство студентов классических курсов, должно быть, принимало правила игры в хорошие манеры со своими преподавателями и, в целях понимания, принимало заранее требуемое верование, что древним было что важного сказать. Федр же, не игравший вообще ни в какие игры, не просто *принял* эту идею. Он страстно и фанатично *знал* это. Он начал яростно их *ненавидеть*, обрушиваться на них со всеми возможными инвективами, какие только мог придумать: не потому, что они не имели значения, а как раз наоборот. Чем больше он учился, тем более убеждался, что никто еще не определил тот нанесенный миру ущерб, который стал результатом бессознательного принятия мысли древних.

По южному берегу озера Клатат мы проезжаем через какое-то пригородное строительство, а потом начинаем удаляться от озера в сторону побережья. Дорога поднимается к лесам с огромными деревьями, совсем не похожим на истосковавшиеся по дождю леса, через которые едем. Огромные дугласовы ели по обеим сторонам дороги. Проезжая между ними на мотоцикле, можно смотреть прямо вверх вдоль стволов на много сотен футов. Крис хочет остановиться и побродить между ними, поэтому мы останавливаемся.

Пока он гуляет, я очень осторожно откидываюсь на большой кусок коры дугласовой ели, смотрю вверх и пытаюсь вспомнить...

Подробности того, чему он учился, теперь утрачены, но из последовавших событий я знаю, что он впитал невообразимое количество информации. Он способен был делать это на почти фотографическом уровне. Чтобы понять, как он пришел к проклятию классических греков, необходимо кратко обозреть суть аргумента «мифос

над логосом», хорошо известного всем изучающим греческую философию и часто являющегося причиной очарованности этой сферой знания.

Термин *logos*, корневое слово «логики», относится к общей сумме нашего рационального понимания мира. *Mythos* -- общая сумма ранних исторических и доисторических мифов, которые предшествовали логосу. Мифос включает в себя не только греческие мифы, но и Ветхий Завет, Ведические Гимны и ранние легенды всех культур, которые внесли вклад в наше нынешнее понимание мира. Аргумент «мифос над логосом» утверждает, что наша рациональность сформирована этими легендами, наше знание сегодня находится в таком отношении к этим легендам, как дерево -- к маленькому ростку, каким оно когда-то было. Можно замечательно понять общую сложную структуру дерева, изучая гораздо более простую форму ростка. Между ними не существует различия в виде или даже в их тождественности -- есть только различия в размере.

Таким образом, в культурах, чья родословная включает в себя Древнюю Грецию, можно неизменно найти сильную дифференциацию субъект-объект, поскольку грамматика старого греческого мифоса подразумевала резкое естественное деление на субъекты и предикаты. В таких культурах, как китайская, где отношения субъект-предикат грамматикой не так строго определяются, можно отыскать и соответствующее отсутствие строгой философии субъекта-объекта. В иудео-христианской культуре, где ветхозаветное «Слово» обладало собственной присущей ему святостью, оказывается, люди желали жить, жертвовать собой и умирать во имя слов. В этой культуре юридический суд может просить свидетеля говорить «правду, всю правду и ничего, кроме правды, и да поможет мне Бог» и ожидать, что правда и будет сказана. Но можно перенести этот суд в Индию, как это сделали британцы, -- и не добиться никакого успеха в искоренении лжесвидетельства, поскольку индийский мифос отличен, и эта святость слов *так* не воспринимается и не чувствуется. Сходные проблемы возникали и в этой стране среди малых групп населения с различной культурной историей. Существует бесконечное множество примеров того, как различия в мифосе управляют различиями в поведении, -- и все они очаровательны.

Аргумент «мифос над логосом» указывает на тот факт, что каждый ребенок рождается таким же невежественным, как и пещерный человек. А не дает миру превращаться в Неандерталь с каждым новым поколением продолжающийся, возрождающийся мифос, трансформированный в логос, но по-прежнему мифос -- огромный объем простого знания, объединяющий наши разумы подобно клеткам, объединенным в теле человека. Чувствовать, что ты не так уж объединен, что ты можешь принимать или не принимать этот мифос по своему желанию, -- не означает понимать, что такое мифос.

Есть только один тип человека, говорил Федр, который принимает или отрицает мифос, в котором живет. И определяется такой человек после того, как он отказался от мифоса, говорил Федр, как «безумный». Выйти за пределы мифоса -- значит, стать безумцем...

Боже мой, это только что пришло мне в голову. Прежде я этого никогда не знал.

Он знал! Должно быть, он знал, что случится. Все начинает приоткрываться.

У тебя есть все эти фрагменты, как кусочки головоломки, и ты можешь сочетать их в большие группы, но группы не сходятся вместе, как бы ни старался, а потом вдруг появляется один фрагмент, который подходит к двум разным группам, и внезапно эти две большие группы становятся одной. Отношение мифоса к безумию. Вот ключевой фрагмент. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь говорил об этом прежде. Безумие -- *terra incognita*⁽¹⁹⁾, окружающая мифос. А он знал! Он знал, что Качество, о котором говорил, лежит за пределами мифоса. Вот оно! Потому что Качество -- *генератор* мифоса. Вот так. Вот что он имел в виду, когда говорил: «Качество - продолжающийся стимул, понуждающий нас творить мир, в котором мы живем. Полностью. Каждую мельчайшую часть его.» Религия не изобретена человеком. Человек изобретен религией. Человек изобретает *реакции* на Качество, и среди этих реакций -- понимание того, чем сам человек является. Ты что-то знаешь, а потом бьет стимул Качества, и ты пытаешься определить этот стимул Качества, но для такой работы у тебя есть всего лишь то, что ты знаешь. *Иначе* не может быть. И мифос растет вот таким образом. Аналогиями к тому, что уже известно. Мифос -- построение аналогий на аналогиях на аналогии. Они заполняют товарные вагоны поезда сознания. Мифос -- целый поезд коллективного сознания всего человечества, вступающего друг с другом в связь. Каждой мельчайшей части человечества. Качество -- путь, направляющий поезд. То, что за пределами поезда, по обе его стороны -- это и есть *terra incognita* безумного. Он знал: для того, чтобы понять Качество, придется оставить мифос. Вот почему он ощущал этот юз. Он знал: что-то должно случиться.

Я вижу, как Крис возвращается между деревьев. Он выглядит успокоенным и счастливым. Показывает мне кусок коры и спрашивает, можно ли его оставить на память. Мне не очень нравится загружать мотоцикл этой ерундой, которую он подбирает и, возможно, выбросит по приезде домой, но сейчас все равно с этим все в порядке! Через несколько минут дорога выходит на вершину и круто опускается в долину, становящуюся все более изысканной по мере нашего продвижения. Никогда не думал, что буду называть так долину -- изысканной, -- но в этой прибрежной местности есть что-то такое, от чего она не похожа на все остальные горные районы Америки и что вызывает именно это слово. Отсюда -- немного южнее -- происходит все хорошее вино. Холмы все в сборках и в складках как-то по-другому -- изысканно. Дорога, опускаясь, изгибается, выписывает виражи и завитушки, и мотоцикл гладко катится по ней, следуя поворотам со своей особой грацией, почти касаясь вошечных листочков кустарника и спускающихся сверху ветвей. Ели и скалы горной страны остались за нами, и

теперь вокруг -- мягкие холмы, виноградники, пурпурные и красные цветы, аромат, смешивающийся с древесным дымом снизу, из далекого тумана на дне долины, и из-за него, невидимый -- смутный запах океана...
...Как могу я любить все это так сильно и быть безумным?...
...Я не *верю* этому!

Мифос. Безумен мифос. Вот во что он верил. Мифос, утверждающий, что формы этого мира реальны, но Качество этого мира -- нереально, -- вот что безумно!

И он верил, что в Аристотеле и древних греках отыскал тех негодяев, которые сформировали мифос таким, чтобы мы принимали это безумие за реальность.

Вот. Вот сейчас. Вот это связывает все вместе. Когда это случается, оно приносит облегчение. Иногда так трудно вызывать это все в уме, что за этим наступает какое-то странное изнеможение. Иногда я думаю, что сам все это просто придумываю. Иногда я не уверен. А иногда знаю, что это не так. Но мифос и безумие -- как и центральность его, -- я уверен: от *него*.

Выехав из складок холмов, мы сразу въезжаем в Медфорд и попадаем прямо на трассу к Грантс-Пасс, и уже почти наступает вечер. Сильный лобовой ветер едва позволяет нам держаться вровень с движением на подъемах даже с открытым дросселем. При въезде в Пасс мы слышим ужасающе громкий лязг, останавливаемся и обнаруживаем, что кожух цепи как-то попал в саму цепь и теперь почти совсем оторвался. Не слишком серьезно, но на некоторое время придется задержаться. Возможно, возиться с этим и глупо, если мотоцикл через несколько дней будет продан.

Грантс-Пасс выглядит достаточно большим городком, чтобы в нем на следующее утро открылась мотомастерская, и я ищу в нем мотель.

Мы не видели кровати с Бозмена, Монтана.

Находим мотель с цветным телевизором, бассейном с подогревом, кофейным автоматом на следующее утро, мылом, белыми полотенцами, полностью кафельным душем и чистыми постелями.

Мы валяемся на чистые постели, и Крис немного подпрыгивает на своей. Прыгать на постелях -- помню по собственному детству -- замечательное средство от депрессии.

Завтра как-нибудь все это можно будет решить, может быть. Не сейчас. Крис отправляется поплавать в подогревом бассейне, пока я спокойно лежу на чистой постели и выкидываю все из головы.

В процессе вытаскивания вещей из седельных сумок и засовывания их потом обратно, начиная с Бозмена, а также проделывая то же самое с рюкзаками, мы приобрели исключительно избитое обмундирование. Разложенное по всему полу в утреннем свете, оно похоже на мусор. Пластиковый мешок с маслом порвался, и масло попало на рулон туалетной бумаги. Одежда так сплюснулась, что складки на ней кажутся встроенными. Мягкий металлический тубик с мазью для загара лопнул, оставив по всем ножнам от мачете беловатую гадость и провоняв все своим благоуханием. Тубик со смазкой тоже лопнул. Какой бардак. В своем блокнотике из нагрудного кармана я записываю: «Купить коробку для тубиков», и добавляю: «Постирать». Затем: «Купить маникюрные ножницы, крем для загара, смазку, кожух для цепи, туалетную бумагу». Это все надо успеть до выписки из мотеля, поэтому я бужу Криса и говорю ему, что нам надо постирать.

В прачечной-автомате я инструктирую его, что делать с сушилкой, как включать стиральные машины, и ухожу по остальным делам.

Достаю все, кроме кожуха цепи. Продавец запчастей говорит, что у них нет и не предвидится. Подумываю о том, чтобы остаток пути ехать без кожуха, но повсюду будет лететь грязь; к тому же, это может быть опасно. Кроме этого, мне не хочется ничего делать с таким допущением. Придется быть последовательным.

Дальше по улице нахожу вывеску сварщика и вхожу.

Самая чистая сварочная мастерская, которую я видел. Высоченные деревья и трава чуть ли не в рост человека обрамляют открытое пространство за домом, придавая мастерской вид деревенской кузницы. Все инструменты аккуратно развешаны по стенам, все прибрано, но дома никого нет. Зайду попозже.

Еду назад и останавливаюсь подобрать Криса, проверяю белье, которое он засунул в сушилку, и мы стрекочем по веселеньким улочкам в поисках ресторана. Движение есть везде, напряженное, по большинству -- хорошо ухоженные автомобили. Западное Побережье. Рассеянный, чистый солнечный свет городка за пределами угледобычи.

На окраине находим ресторан, садимся и ждем за столом, накрытым красно-белой скатертью. Крис разворачивает номер «Мотоциклетных Новостей», который я купил в мотомагазине, и вслух читает, кто победил во всех заездах, и заметку о мотокроссах по пересеченной местности. Официантка смотрит на него с легким любопытством -- потом на меня, на мои мотоциклетные башмаки, потом записывает заказ. Уходит обратно на кухню, снова выходит и смотрит на нас. Наверное, она обращает на нас столько внимания потому, что мы здесь одни. Пока мы ждем, она закладывает несколько монет в музыкальный автомат, а потом приходит наш завтрак -- вафли, сироп, сардельки, ах -- и с ними музыка. Мы с Крисом болтаем про то, что он видит в «Мотоциклетных Новостях» и голосами перекрываем шум пластинки так расслабленно, как разговаривают люди, проводившие вместе много дней в пути; а краем глаза я вижу, что эта сцена безотрывно наблюдается. Через некоторое время Крису приходится переспрашивать одно и то же дважды, поскольку этот пристальный взгляд несколько сбивает меня, и трудно обдумывать то, что он говорит. Пластика -- с каким-то кантри про водителя грузовика... Я заканчиваю разговор с Крисом.

Когда мы уже уходим, и я завожу мотор, она -- вот, в дверях, смотрит на нас. Одинокая. Вероятно, не знает, что с таким взглядом ей недолго ходить одинокой. Жму на стартер слишком резко, слишком раздраженный чем-то, и на пути к сварщику требуется некоторое время на то, чтобы отключиться.

Сварщик дома, старик за шестьдесят или за семьдесят, смотрит на меня пренебрежительно: полная противоположность официантке. Я объясняю ситуацию с кожухом цепи, и через некоторое время он произносит: -- Я не собираюсь снимать его за вас. Снимайте сами.

Я слушаюсь, показываю кожух ему, и он говорит:

-- Он весь в смазке.

На заднем дворе под каштаном нахожу палку, соскабливаю смазку в мусорную бочку. Издали он произносит:

-- Там, в кастрюльке немного растворителя есть.

Я вижу плоскую кастрюльку и стираю остаток смазки какими-то листьями и растворителем.

Когда я показываю ему свою работу, он кивает, медленно подходит и устанавливает регуляторы газовой горелки. Потом смотрит на мундштук и выбирает другой. Абсолютно никакой спешки. Он берет стержень стального наполнителя, и я задаю себе вопрос, действительно ли он собирается *варить* такой тонкий металл? Я никогда не варю листовой металл, я его паяю латунным стержнем. Когда я пытаюсь его приварить, только прожигаю дырки, и потом приходится латать их большими кляксами наполнителя.

-- А вы разве не будете его паять? -- спрашиваю я.

-- Нет, -- отвечает он.

Разговорчивый мужик.

Он зажигает горелку, устанавливает крохотное голубое пламя, а потом -- это трудно описать -- действительно начинает танцевать горелкой и стержнем в разных маленьких ритмах над тонкой поверхностью металла, и все это место превращается в равномерное желто-оранжевое сияние; он опускает горелку и стержень именно в тот момент, когда нужно, и быстро убирает их. Никаких дырок. Шов едва виден.

-- Это прекрасно, -- не выдерживаю я.

-- Один доллар, -- отвечает он без улыбки. И я улавливаю в его взгляде смешной вопрос. О чем он думает? Не запросил ли слишком много? Нет, тут что-то другое... одиночество, такое же, как у официантки. Вероятно, думает, что я прикалываюсь. Кто еще способен сейчас оценить такую работу?

Мы складываемся и выезжаем из мотеля почти со временем выписки -- и вскоре углубляемся в прибрежные мамонтовые леса на пути из Орегона в Калифорнию. Движение такое сильное, что не хватает времени даже оглядеться. Становится холодно и серо, и мы останавливаемся надеть свитеры и куртки. По-прежнему холодно, где-то около пятидесяти, и нам в голову лезут зимние мысли.

Одинокие люди там, в городе. Я это видел в супермаркете, и в прачечной, и когда мы выписывались из мотеля. Эти туристские автостоянки в мамонтовых лесах, с пикапами, полными пенсионеров, глазающих на деревья на пути к тому, чтобы поглазеть на океан. Улавливаешь его в первую долю взгляда какого-нибудь нового лица -- это искательное выражение -- и оно тут же пропадает.

Теперь заметно больше такого одиночества. Парадоксально, что там, где люди толпятся наиболее тесно -- в больших городах на побережьях Востока и Запада, -- одиночество самое сильное. Там, где мы были, -- в западном Орегоне, Айдахо, Монтане, в Дакотах, где люди так рассеяны, -- там, казалось бы, одиночества должно быть гораздо больше, но мы его не замечали.

Объяснение, я полагаю, в том, что физическое расстояние между людьми не имеет ничего общего с одиночеством. Здесь главное -- психическое расстояние, а в Монтане и Айдахо физические расстояния велики, а психические, между людьми -- малы; здесь же как раз наоборот.

Мы теперь -- в первичной Америке. Это наступило позапрошлой ночью в Прайнвилл-Джанкшн, и с тех пор нас не покидало. Вот она -- первичная Америка скоростных автотрасс, реактивных полетов, телевидения и кинозрелищ. И люди, пойманные этой первичной Америкой, кажется, проходят огромные порции своей жизни, не особенно сознавая, что же находится непосредственно вокруг них. Средства массовой коммуникации убедили их: то, что вокруг них, не важно. Поэтому они одиноки. По лицам видно. Сначала -- легкий проблеск поиска, а затем, когда они смотрят на тебя, ты для них -- просто какой-то объект. Ты не считаешься. Ты -- не то, что они ищут. Ты -- не в телевизоре.

Во вторичной же Америке, через которую мы тоже ехали, в Америке старых дорог, Канав Китайца, аппалузских лошадей, плавных горных хребтов, медитативных мыслей, ребятишек с сосновыми шишками, шмелей, открытого неба над головой -- миля за милей за милей, -- через всю эту Америку то, что реально, то, что *вокруг* -- доминирует. Поэтому там не было такого чувства одиночества. Так наверное было сто или двести лет назад. Едва ли были люди, едва ли было и одиночество. Я, несомненно, сверхобобщаю, но если ввести сюда должные квалификации, то это окажется правдой.

За многое в этом одиночестве обвиняют технологию, поскольку одиночество определенно ассоциируется с новейшими технологическими приспособлениями -- телевидением, реактивными самолетами, скоростными трассами и так далее, -- но я надеюсь, достаточно ясно было сказано: подлинное зло -- не объекты технологии, а тенденция технологии замыкать людей в одиноких отношениях объективности. Это объективность, дуалистический способ смотреть на вещи, лежащие в основе технологии, производит на свет зло. Вот поэтому я потратил столько сил на то, чтобы показать, как технологию можно использовать для уничтожения зла. У человека, который знает, как чинить мотоциклы -- с Качеством, -- меньше вероятности потерять друзей, чем у того, который не знает. И они вовсе не будут рассматривать его как *объект*. Качество каждый раз уничтожает объективность.

Или, если человек принимается за какую бы то ни было тупую работу, на которой застрял -- а все занятия становятся рано или поздно тупыми -- и, только ради собственного развлечения начинает искать возможности для Качества и тайно следует этим возможностям, просто ради них самих, тем самым творя искусство из того, что делает, -- то он, вероятнее всего, обнаружит, что становится все более интересной личностью и все менее объектом для окружающих его людей, поскольку его решения, связанные с Качеством, изменяют и *его самого* тоже. И не только его работу и его самого, но и остальных, поскольку Качество склонно расходиться в стороны, как круги на воде. Качественная работа, которую никто, как он считал, не увидит, все-таки *видима*, и человек, видящий ее, чувствует себя немного лучше из-за нее, и больше вероятность того, что он передаст это свое ощущение дальше, другим. Вот таким способом Качество имеет тенденцию продолжать движение.

Мое внутреннее чувство таково, что именно так мир и будет улучшаться: личностями, принимающими решения Качества, вот и все. Господи, не хочу я больше никакого энтузиазма по поводу больших программ, полных социального планирования для огромных масс людей, выбрасывающих вон индивидуальное Качество. Их можно пока оставить в стороне. Для них тоже есть место, но их надо строить на основании Качества внутри вовлеченных в это дело личностей. В прошлом у нас это индивидуальное Качество было; его эксплуатировали как естественный запас, не зная об этом, а теперь оно почти полностью истощилось. У всех почти что кончилась сметка. И я думаю, настала пора возвращаться к восстановлению *этого* американского запаса -- индивидуальной ценности. Есть политические реакционеры, которые говорят что-то подобное уже многие годы. Я не из их числа, но до той степени, пока они говорят об истинной индивидуальной ценности, а не используют ее как предлог для того, чтоб давать богатым больше денег, они правы. Нам *действительно* нужно вернуться к индивидуальной цельности, самонадежности и старомодной сметке. Действительно нужно. Надеюсь, в этом Шатокуа некоторые направления показаны.

От идеи индивидуальных, личных решений Качества Федр отправился другой тропой. Думаю, она была неверной, но, возможно, окажись я в его обстоятельствах, я бы тоже по ней пошел. Он чувствовал, что решение начинается с новой философии (или же расценивал это еще шире -- как новую духовную *рациональность*), в которой безобразие, одиночество и духовная бессодержательность дуалистического технологического разума стали бы алогичными. Разум больше не «свободен от ценностей». Разуму суждено быть логически подчиненным Качеству, и Федр верил, что найдет причину того, что это не так, среди древних греков, чей мифос одарил нашу культуру тенденцией *делать то, что «разумно», даже если от этого нет никакой пользы*. Вот в чем корень всего. Прямо здесь. Я уже давно сказал, что он гнался за призраком разума. Вот это я и имел в виду. Разум и Качество стали разделенными и враждебными друг другу, и Качество оказалось подавлено, а Разум вытянут вверх когда-то очень давно.

Начался легкий дождик. Совсем небольшой, не стоит и останавливаться. Слабые потуги на морось. Дорога выводит из высоких лесов к серому небу. Вдоль трассы -- множество рекламных щитов. Реклама «Шенли», написанная теплыми красками, тянется бесконечно, но остается ощущение, что «Ирма» производит что-то усталое и посредственное из-за того, что краска на ее щитах потрескалась.

Я с тех пор перечел Аристотеля в поисках того массивного зла, которое появляется во фрагментах, оставшихся от Федра, но ничего не обнаружил. В Аристотеле я нахожу, главным образом, достаточно скучную подборку обобщений, многие из которых, кажется, невозможно оправдать в свете современного знания; их организация выглядит очень бедной, и они кажутся столь же примитивными, сколь примитивны старые греческие горшки в музеях. Уверен, что, зная я об этом намного больше, я бы и видел в этом намного больше и вовсе не находил бы их примитивными. Но без знания всего этого я не могу увидеть, живет ли оно сообразно неистовствам группы «Великих Книг» или сообразно неистовству Федра. Я определенно не расцениваю труды Аристотеля как основной источник ни позитивных, ни негативных ценностей. Но неистовства группы «Великих Книг» хорошо известны и опубликованы. Неистовство же Федра -- нет, и отчасти мое обязательство по отношению к нему -- остановиться на этом поподробнее.

Риторика -- это искусство, начинается Аристотель, поскольку ее можно свести к рациональной системе порядка. Это просто ошеломило Федра. Остановило. Он был готов расшифровывать послания необыкновенной тонкости, системы громадной сложности с тем, чтобы постичь глубинное, внутреннее значение Аристотеля, бывшего, по заявлениям многих, величайшим философом всех времен. И вот на тебе! -- чтоб тебе в лицо с самого начала шарахнули таким ослиным замечанием! Это его по-настоящему потрясло.

Он читал дальше:

Риторика может быть подразделена на частные доказательства и темы с одной стороны, и общие доказательства -- с другой. Частные доказательства могут подразделяться на методы доказательства и виды доказательства.

Методы доказательства -- это искусственные доказательства и неискусственные доказательства. Среди искусственных доказательств есть: этические, эмоциональные и логические. Среди этических доказательств: практическая мудрость, добродетель и добрая воля. Частные методы, использующие искусственные доказательства этического вида, включающие в себя добрую волю, требуют знания эмоций, а для тех, кто забыл, что это такое, Аристотель приводит список. Они таковы: гнев, пренебрежение (подразделяющееся на презрение, неприязнь и надменность), кротость, любовь или дружба, страх, уверенность, стыд, бесстыдство, благосклонность, добросердечие, жалость, праведное негодование, зависть, ревность и презрение.

Помнишь описание мотоцикла, данное еще тогда, в Южной Дакоте? То, где тщательно перечислены все детали и функции? Узнаешь сходство? Вот, был убежден Федр, это и есть родоначальник такого стиля речи. Ибо страницу за страницей Аристотель продолжал точно так же. Будто какой-нибудь третьеразрядный технический инструктор -- называя все, показывая взаимоотношения между названным, временами хитро изобретая новые отношения между называемыми вещами, а потом ожидая звонка, чтобы продолжать повторять ту же лекцию для следующего класса.

Между строк Федр не читал ни сомнений, ни благоговения, а одно лишь вечное самодовольство профессионального академика. Выходит, Аристотель в самом деле считал, что его ученики станут лучшими риториками, если выучат все эти бесконечные названия и взаимоотношения? А если нет, то неужели он действительно думал, что учит риторике? Федр считал, что это действительно так. В его стиле ничего не указывало на то, что Аристотель когда-либо сомневался в Аристотеле. Федр видел, что Аристотеля в огромной степени удовлетворял этот чистенький трючок по называнию и классифицированию всего. Его мир начинался и заканчивался этим трючком. Он бы с радостью уничтожил его, не будь Аристотель больше двух тысяч лет как покойником, поскольку расценивал его как прототип для многих миллионов самодовольных и истинно невежественных учителей в течение всей истории, которые самоуверенно и бесчувственно убивали творческий дух своих студентов этим тупым ритуалом анализа, этим слепым, механическим, вечным называнием вещей. Зайди сегодня в любой из сотен тысяч классов, и услышишь, как учителя разделяют, подразделяют, определяют взаимоотношения, устанавливают «принципы» и изучают «методы» -- то, что ты услышишь, и будет призраком Аристотеля, говорящего через века, иссушающий безжизненный голос дуалистического разума.

Семинары по Аристотелю проходили за огромным деревянным круглым столом в сумрачной комнате, напротив которой, через дорогу, стояла больница, и куда склонявшееся к закату солнце едва проникало из-за больничной крыши через оконную грязь и отравленный городской воздух. Тускло, бледно и давяще. В середине занятия он заметил, что в этом громадном столе была огромная трещина по всей длине, почти через самую середину. Похоже было, что ей уже очень много лет, но никто и не думал чинить стол. В конце часа он все-таки спросил:

-- Можно задавать вопросы по риторике Аристотеля?

-- Если вы прочли материал, -- ответили ему. Он заметил в глазах профессора философии ту же самую сосредоточенность, что и в первый день на регистрации. По этому предупреждению он понял, что ему лучше читать материал очень тщательно; так он и сделал.

Дождь усиливается, и мы останавливаемся прикрепить к шлемам стекла. Потом едем дальше на умеренной скорости. Я слежу за выбоинами, песком и нефтяными пятнами.

К следующей неделе Федр прочитал материал и был готов разобрать положение о том, что риторика -- это искусство, поскольку ее можно свести к рациональной системе порядка. По этому критерию «Дженерал Моторз» производили чистое искусство, в то время как Пикассо -- нет. Если у Аристотеля имелись более глубокие значения, нежели доставал глаз, то почему бы в этом месте им не выйти на поверхность?

Но этот вопрос так никогда и не затронули. Федр поднял руку, чтобы это сделать, поймал микросекундную вспышку злобы в глазах преподавателя, как вдруг другой студент, почти перебив его, произнес:

-- Я думаю, здесь видны очень сомнительные утверждения.

-- Сэр, мы здесь не для того, чтобы *учить* то, что *вы* думаете! -- прошипел профессор философии. Как кислота. --

Мы здесь для того, чтобы учить то, что думал *Аристотель*! -- Прямо в лицо. -- Когда мы пожелаем узнать, что думаете вы, мы предоставим вам курс по этому предмету!

Тишина. Студент ошарашен. Все остальные -- тоже.

Но профессор философии еще не закончил. Он тычет в студента пальцем и вопрошает:

-- По Аристотелю: каковы три вида частной риторики согласно обсуждаемой сути предмета?

Опять тишина. Студент не знает.

-- Значит, вы не *читали*, не так ли?

И теперь, блеснув глазами, что выдает его намерение с самого начала, профессор философии переводит свой палец на Федра:

-- Вы, сэр: каковы три вида частной риторики согласно обсуждаемой сути предмета?

Но Федр готов:

-- Форенсическая, делиберативная и эпидейктическая⁽²⁰⁾, -- спокойно отвечает он.

-- Каковы эпидейктические приемы?

-- Прием идентифицирования подобий, прием восхваления, в том числе панегирик, и усиление.

-- Да-а-а... -- произносит профессор философии. Потом все затихает.

Другие студенты в шоке. Что же произошло? Знает только Федр -- и еще, может быть, профессор философии.

Невинный студизус получил то, что предназначалось Федру.

Теперь лица всех тщательно сосредотачиваются, защищаясь от дальнейших допросов такого рода. Профессор философии совершил ошибку. Он истратил свою дисциплинарную власть на невинного студента, в то время как Федр, виновный, враждебный, по-прежнему на свободе. И становится все свободнее и свободнее. Коль скоро он не задавал вопросов, его никак нельзя и срезать. И теперь, когда он видит, как будет отвечено на его вопросы, он, конечно же, не станет их задавать.

Невинный студент смотрит в стол, лицо покраснело, руки козырьком прикрывают глаза, его стыд становится гневом Федра. Ни в одном из своих классов он так не разговаривал с учащимся. Так вот как учат классике в Чикагском Университете. Теперь Федр знает профессора философии. Но профессор философии не знает Федра.

Серые дождливые небеса и усеянная знаками дорога опускаются в Креснт-Сити, Калифорния, тоже серый, холодный и мокрый, и мы с Крисом смотрим и видим воду -- океан -- вдалеке, между пирсами и зданиями. Я помню: все эти дни он был нашей великой целью. Мы заходим в ресторан с причудливым красным ковром, причудливым меню и крайне высокими ценами. Мы здесь -- единственные посетители. Едим молча, рассчитываемся и снова пускаемся в путь, теперь на юг, холодный и туманный.

На следующих семинарах опозоренного студента уже нет. Неудивительно. Класс абсолютно заморожен, -- что неизбежно, когда такие инциденты имеют место. На каждом семинаре говорит только один человек -- профессор философии, -- и он говорит, говорит и говорит лицам, обратившимся в маски безразличия.

Профессор философии, кажется, вполне осознает, что произошло. Его предыдущий взгляд, полный злобы и направленный на Федра, теперь полон страха. Он, кажется, понимает, что в этой ситуации в классе, когда придет время, с ним могут обойтись так же, и ни от кого сочувствия он не дожидается. Он отбросил свое право на вежливость. Ему никак не предотвратить ответного удара -- если не оставаться прикрытым.

Но чтобы не подставляться, он должен усердно работать и говорить точно и верно. Федр и это понимает.

Сохраняя молчание, он теперь поймет, когда возникнут выгодные обстоятельства.

В этот период Федр прилежно занимался, схватывал все крайне быстро и держал рот на замке, но неверно было бы даже отдаленно назвать его хоть чуточку хорошим студентом. Хороший студент ищет знаний честно и беспристрастно. Федр этого не делал. Он прятал топор, который надо было точить, и имелись средства сваливать все, что мешало ему его точить. У него не было ни времени, ни заинтересованности в Великих Книгах других людей. Он сидел в классе с единственной целью -- написать собственную Великую Книгу. Его отношение к

Аристотелю было грубо несправедливым по той же причине, по которой Аристотель был несправедлив к *своим* предшественникам. Те погнали то, что он хотел сказать.

Аристотель расстроил то, что хотел сказать Федр, поместив риторику в безобразно незначительную категорию своего иерархического порядка вещей. Она являлась ветвью Практической Науки и находилась в каком-то придатковом отношении к *другой* категории, Теоретической Науке, которой, в основном, и занимался Аристотель. Будучи ветвью Практической Науки, она изолирована от любого касательства к Истине, Хорошему или Красоте, если не считать их использования в качестве орудий спора. Таким образом, Качество в системе Аристотеля полностью отлучено от риторики. Это презрение к риторике вместе с *собственным* аристотелевым ужасным качеством риторики способствовали столь полному отчуждению Федра, что он не мог читать ничего сказанного Аристотелем без того, чтобы не презирать это и не нападать на это.

Проблемы тут не было. Аристотель всегда, всю историю был в высшем смысле подвержен нападкам и в высшем смысле нападал сам, и охотиться на аристотелевы патентованные глупости, как и ловить рыбу в бочке, не приносило особенного удовлетворения. Не будь Федр столь пристрастен, он бы научился некоторым ценным приемам Аристотеля для втягивания себя в новые сферы знания -- для каковой цели и основали, на самом деле, Комиссию. Но не будь он столь пристрастен в своем поиске места, где можно было бы начать работу по Качеству, его не было бы там с самого начала, поэтому в действительности и ничего бы не было.

Профессор философии читал лекции, а Федр слушал как классическую форму, так и романтическую поверхность того, что говорилось. Профессор философии, кажется, неувереннее всего чувствовал себя на предмет «диалектического». Хотя Федр и не мог понять, почему -- в понятиях классической формы, его возрастающая романтическая чувствительность подсказывала, что он шел по следу чего-то -- добычи.

Диалектика, а?

С нее начиналась книга Аристотеля -- удовлетворительнее некуда. Риторика -- неотъемлемая часть диалектики, говорилось там, словно бы это имело величайшую важность, и все же почему это так важно, никто никак не объяснял. Это замечание сопровождалось рядом других разрозненных утверждений, производивших впечатление, что многое осталось несказанным -- или материал неверно собран, или наборщик что-то пропустил, потому что сколько бы он ни читал, ничего не выкристаллизовывалось. Единственно ясным оставалось то, что Аристотеля очень беспокоило отношение риторики к диалектике. Для слуха Федра в этом звучала та же самая неуверенность, что и у профессора философии.

Профессор философии определил диалектику, и Федр слушал очень внимательно, но в одно ухо у него влетало, а из другого вылетало, -- что часто свойственно философским утверждениям, когда в них что-то упущено.

Позднее, на другом занятии другой студент, у которого, повидимому, были те же проблемы, попросил профессора философии дать определение диалектики еще раз; и на этот раз профессор взглянул на Федра с быстрым проблеском страха и ответил *очень* раздраженно. Федр даже начал задаваться вопросом, а не имеет ли «диалектика» какого-то особого значения, которое бы делало это слово опорным: так, чтобы оно смещало равновесие спора в зависимости от того, куда помещено. Так и оказалось.

Диалектический в общем означает «диалогической природы», то есть относящийся к разговору двух человек.

Нынче же диалектика обозначает логическую аргументацию. Она включает в себя приемы перекрестного допроса, путем которого достигается истина. Таков речевой режим Сократа в «Диалогах» Платона. Платон верил, что диалектика -- единственный метод достижения истины. Один-единственный.

Потому-то она и есть опорное слово. Аристотель нападал на это убеждение, говоря, что диалектика пригодна для достижения лишь некоторых целей -- выяснить убеждения человека, достичь истин, касающихся вечных форм того, что известно как *Идеи*, закрепленные раз и навсегда, не менявшиеся и составлявшие для Платона реальность. Аристотель говорил, что, кроме этого, существует метод науки -- или «физический» метод, -- наблюдающий физические факты и приходящий к истинам о субстанциях, претерпевающих изменения. Эта дуальность формы и субстанции -- и научный метод достижения фактов о субстанциях -- были в философии Аристотеля центральными. Таким образом, низвержение диалектики с того места, на которое ее воздвигли Сократ и Платон, являлось абсолютно существенным для Аристотеля, и «диалектика» по-прежнему служила опорным словом.

Федр догадывался, что преуменьшение Аристотелем диалектики -- от платонова единственного метода достижения истины до «составной части риторики» -- может приводить в ярость современных платонистов так же, как и самого Платона. Поскольку профессор философии не знал «позиции» Федра, то именно это его раздражало. Он мог бояться, что Федр-платонист способен против него выступить. Если так, то ему, конечно, не о чем было беспокоиться. Федра не оскорбляло то, что диалектика низведена до уровня риторики. Его приводило в ярость то, что риторику низвели до уровня диалектики. Таково было смятение в то время.

Разъяснить это все мог бы, конечно, только Платон, и, к счастью, именно он должен был появиться следующим за круглым столом с трещиной через всю середину в тусклой, мрачной комнате через дорогу от больницы в Южном Чикаго.

Теперь мы едем по побережью, замерзшие, промокшие и подавленные. Дождь прекратился -- временно, -- но небо не дает никакой надежды. В одном месте я вижу пляж и каких-то людей, идущих по мокрому песку. Я устал и поэтому останавливаюсь.

Слезая, Крис спрашивает:

-- Зачем мы остановились?

-- Я устал, -- отвечаю я.

С океана дует холодный ветер, и там, где он наделал дюн, сейчас влажных и темных от дождя, который здесь, видимо, только что кончился, я нахожу местечко, чтобы прилечь, и так немного согреваюсь.

Однако, я не сплю. На верхушке дюны появляется маленькая девочка и смотрит на меня так, словно хочет, чтобы я пошел с нею поиграть. Через некоторое время она уходит.

Потом возвращается Крис; он хочет ехать. Он говорит, что нашел на камнях какие-то смешные растения с усиками, которые втягиваются, если их потрогать. Я иду с ним и между накатами волн вижу на камнях морские анемоны; они не растения, а животные. Я говорю ему, что их щупальца способны парализовать маленькую рыбешку. Должно быть, отлив -- в своей крайней точке, иначе мы бы их не увидели, говорю я. Краем глаза вижу, что девочка по другую сторону камней подобрала морскую звезду. Ее родители тоже несут морских звезд. Мы садимся на мотоцикл и едем на юг. Иногда дождь припускает сильнее, и я пристегиваю защитное стекло, чтобы он не жалил лицо, но мне не нравится, и я его снимаю, когда дождь стихает. Мы должны доехать до Аркаты засветло, но я не хочу гнать слишком быстро по такой мокрой дороге.

Мне кажется, это Кольридж сказал, что все -- либо платонисты, либо аристотелевцы. Люди, которые терпеть не могут аристотелевой бесконечной специфичности деталей, -- естественным образом любят платановы парящие обобщения. Люди, не переносящие вечного высокопарного идеализма Платона, приветствуют приземленные факты Аристотеля. Платон, в сущности, -- искатель Будды, вновь и вновь возникающий в каждом поколении, продвигаясь вперед и вверх, к «одному». Аристотель -- вечный механик по мотоциклам, предпочитающий «много». Сам я в этом смысле достаточно аристотелевец: предпочитаю находить Будду в качестве фактов вокруг меня; Федр же был явным платонистом по темпераменту, и когда занятия переключились на Платона, он испытал громадное облегчение. Его Качество и платоновое Хорошее были так схожи, что если бы от Федре не осталось нескольких заметок, то я бы думал, что они идентичны. Но он это отрицал, и со временем я начал понимать, насколько важно это отрицание.

Тем не менее, курс по Анализу Идей и Изучению Методов не касался платонова понятия Хорошего; он касался платонова понятия риторики. Риторика, очень ясно пишет Платон, никак не связана с Хорошим; риторика -- «Плохое». Люди, которых Платон больше всех ненавидит -- после тиранов -- риторы.

Первый из заданных «Диалогов» Платона -- «Горгий», и Федр как будто домой возвращается. Наконец, вот то, где ему хочется быть.

Все время его не оставляло чувство, что его влекут вперед силы, которых он не понимает, -- мессианические силы. Октябрь пришел и ушел. Дни стали фантазмическими и неразборчивыми -- если не применять понятий Качества. Ничего не имеет значения, кроме того, что у него собирается родиться новая ошеломляющая и потрясающая мир истина, и, вне зависимости от того, понравится она миру или нет, моральный долг мира -- принять ее.

В диалоге Горгий -- имя софиста, которого Сократ подвергает перекрестному допросу. Сократ очень хорошо знает, чем Горгий зарабатывает себе на жизнь и как он это делает, но он начинает свою диалектику «двадцати вопросов», спросив Горгия, чего касается риторика. Горгий отвечает, что риторика касается речи. В ответ на другой вопрос он говорит, что ее задача -- убедить. В ответ на третий вопрос он утверждает, что ее место -- в судах и на других собраниях. И в ответ на еще один вопрос он говорит, что ее предмет -- справедливое и несправедливое. Все это, простое описание того, чем, как говорили люди, солисты склонны заниматься, теперь тонко преобразуется сократовой диалектикой в нечто иное. Риторика становится объектом, и, как объект, обладает частями. И эти части как-то соотносятся друг с другом, и эти соотношения непреложны. В диалоге достаточно ясно видно, как аналитический нож Сократа изрубает искусство Горгия в куски. Еще важнее: видно, что эти куски -- основа аристотелева искусства риторики.

Сократ был одним из героев детства Федре, и теперь Федре потрясло и разгневало то, что диалог вообще имеет место. Он покрывал поля текста собственными ответами. Должно быть, ответы сильно удручали его, поскольку нельзя было узнать, какое течение принимал бы диалог, если бы такие ответы давались в действительности. В одном месте Сократ спрашивает, к какому классу вещей относятся слова, которыми пользуется Риторика. Горгий отвечает: «К Величайшему и Наилучшему». Федр, без сомнения признавший в этом ответе Качество, пишет на полях: «Истинно!» Сократ же отвечает, что ответ двусмысленен. Он по-прежнему остается в темноте. «Лжец!» -- пишет Федр на полях и дает сноску на страницу другого диалога, где Сократ совершенно ясно заявляет о том, что он никак не мог пребывать «в темноте».

Сократ не пользуется диалектикой для понимания риторики, он пользуется ею, чтобы риторику уничтожить или, по крайней мере, скомпрометировать, а поэтому его вопросы -- на самом деле, вовсе не вопросы: просто словесные ловушки, в которые попадают Горгий и его собратья-риторы. Федр загорается всем этим: хотел бы он там оказаться.

В классе профессор философии, заметив очевидное хорошее поведение и прилежание Федре, решил, что тот, в конце концов, -- может, и не такой уж плохой студент. Это -- вторая ошибка. Он решил сыграть с Федром в небольшую игру, спросив его, что тот думает о приготовлении пищи. Сократ продемонстрировал Горгию, что и

риторика, и приготовление пищи -- разновидности угождения, сводничества, поскольку обращаются скорее к эмоциям, нежели к истинному знанию.

На вопрос профессора Федр дает ответ Сократа, что приготовление пищи -- разновидность угождения.

Одна из барышень в классе хихикает, что Федру не нравится, поскольку он знает: профессор пытается поставить ему диалектический захват, похожий на те, что Сократ ставил своим оппонентам, и его ответ вовсе не рассчитан на чей-либо смех, а дан для того, чтобы сбросить этот диалектический захват. Федр вполне готов к тому, чтобы на память точно процитировать все аргументы, используемые Сократом для утверждения своей точки зрения.

Но не этого хочет профессор. Он хочет диалектической дискуссии в классе, в которой он, Федр, -- ритор, и его, Федра, низвергает сила диалектики. Профессор хмурится и делает еще одну попытку:

-- Нет. Я имею в виду, действительно ли вы считаете, что хорошо приготовленная еда, подаваемая в лучшем ресторане, -- действительно то, что нам следует отвергнуть?

Федр спрашивает:

-- Вы имеете в виду мое *личное* мнение?

Вот уже многие месяцы -- с тех пор, как исчез невинный студизус, -- в этом классе никто не осмеливался высказывать личное мнение.

-- Да-а-а, -- произносит профессор.

Федр молчит и пытается выработать ответ. Все ждут. Его мысли доходят до скорости света, просеивая диалектику, разыгрывая один аргументационный шахматный дебют за другим, видя, что каждый проигрывает, и переходя к следующему, все быстрее и быстрее, -- класс же наблюдает только молчание. Наконец, обескураженный профессор оставляет этот вопрос и переходит к лекции.

Но Федр лекции не слышит. Его ум спешит дальше и дальше, сквозь перестановки диалектики, дальше и дальше, сталкиваясь с вещами, находя новые ветви и под-ветви, взрываясь гневом при каждом новом открытии порочности, мерзости и низости этого «искусства», называемого диалектикой. Профессор, заметив выражение его лица, начинает довольно сильно беспокоиться и продолжает лекцию в какой-то панике. Ум Федра спешит все дальше и дальше, видя, наконец, нечто злое -- зло, глубоко окопавшееся в нем самом, оно только *делает вид*, что пытается понимать любовь, красоту, истину и мудрость, но его подлинная цель -- никогда их не понимать, всегда узурпировать их и возводить на трон себя. Диалектика -- узурпатор. Вот что он видит. Высочка, силой привязывающаяся к тому, что Хорошо, стремящаяся удерживать и контролировать его. Зло. Профессор заканчивает лекцию раньше обычного и в спешке покидает класс.

После того, как студенты молча уходят, Федр остается сидеть один за огромным круглым столом, пока солнце в прокопченном воздухе за окном не исчезает, и комната не становится серой, а потом и темной.

На следующий день он ждет, когда откроется библиотека, и начинает яростно вчитываться в Платона, *за* Платона, впервые выискивая то небольшое, что известно о риторах, которых тот так презирал. И обнаруживает то, что подтверждает уже нащупанное интуитивно прошлым вечером.

Проклятие Платоном софистов уже многие ученые восприняли с немалым опасением. Сам председатель Комиссии предположил, что критики, не уверенные в том, что имел в виду Платон, в равной же степени не должны быть уверены в том, что имели в виду противники Сократа в диалогах. Когда станет известно, что Платон вложил в уста Сократа собственные слова (так говорит Аристотель), тогда не будет причин сомневаться, что он мог вложить собственные слова и в другие уста тоже.

Отрывки из других древних, казалось, приводили к иным оценкам софистов. Многих софистов постарше избирали «послами» их города -- определенно, такая должность не свидетельствовала о неуважении. Имя «софист» применялось без уничижения даже к самим Сократу и Платону. Более поздними историками даже высказывалось предположение, что Платон так ненавидел софистов потому, что они не могли сравниться с его хозяином, Сократом -- в действительности, величайшим софистом из них всех. Это последнее объяснение, думает Федр, интересно, но неудовлетворительно. Не питаешь отвращения к той школе, к которой принадлежит твой хозяин. Какова во всем этом была *подлинная* цель Платона? Федр глубже и глубже вчитывается в досократовскую греческую мысль, чтобы найти это, и, в конце концов, приходит к выводу, что ненависть Платона к риторам являлась частью гораздо более объемной борьбы, где реальность Хорошего, представленная софистами, и реальность Истинного, представленная диалектиками, участвовали в огромной битве за будущий ум человека. Истинное победило. Хорошее проиграло, и поэтому сегодня нам так нетрудно принять реальность истины и так трудно принять реальность Качества, даже если согласия в одной области -- не больше, чем в другой.

Чтобы понять, как Федр к этому приходит, потребуется некоторое разъяснение:

Сначала нужно преодолеть представление о том, что период времени между последним пещерным человеком и первым греческим философом был короток. Отсутствие какой бы то ни было истории этого периода иногда внушает такую иллюзию. Но прежде, чем на сцене появились греческие философы, в течение времени, по крайней мере, *в пять раз* большего, чем вся наша записанная история со времен греческих философов, существовали цивилизации на весьма продвинутой ступени развития. Были деревни и города, средства передвижения, дома, рынки, огороженные поля, сельскохозяйственные орудия и домашние животные, а люди вели жизнь, столь же богатую и разнообразную, как и в большинстве сельских районов мира сегодня. И, подобно людям в таких районах сегодня, они не видели смысла все это записывать, а если и видели, то делали это на материалах, до сих пор не найденных. Поэтому мы ничего о них не знаем. «Темные Века» были просто возвращением к естественному способу жизни, который был внезапно прерван греками.

Ранняя греческая философия представляла собой первый сознательный поиск нетленного в делах людей. До того времени все нетленное находилось в царстве Богов, в мифах. Но теперь, в результате растущей пристрастности греков к миру вокруг них, всё возрастала сила абстракции, которая позволяла им расценивать старый греческий мифос не как явленную истину, а как воображительные творения искусства. Это сознание, никогда нигде в мире прежде не существовавшее, выразило целый новый уровень трансцендентности для греческой цивилизации. Но мифос продолжается, и то, что уничтожает старый мифос, становится новым, а новый мифос при первых ионийских философах трансмутировал в философию, которая заново начала бережно сохранять в себе постоянство. Постоянство больше не являлось исключительной прерогативой Бессмертных Богов. Оно еще заключалось в Бессмертных Принципах, из которых наш нынешний закон тяготения стал одним.

Бессмертный Принцип впервые Фалесом был назван водой. Анаксимен назвал его воздухом. Пифагорейцы назвали его числом и, таким образом, стали первыми, кто увидел Бессмертный Принцип чем-то нематериальным. Гераклит назвал Бессмертный Принцип огнем и ввел «изменение» как часть Принципа. Он сказал, что мир существует как конфликт и напряжение противоположностей. Он сказал, что есть Один и есть Много, и что Один -- это универсальный закон, внутренне присущий всем вещам. Анаксагор первым определил Один как *nous*, то есть «разум».

Парменид впервые прояснил, что Бессмертный Принцип, Один, Истина, Бог отделен от внешности и от мнения, и важность этого отделения и действие его на последующую историю трудно переоценить. Именно здесь классический ум в первый раз отбросил свое романтическое происхождение, сказал: «Хорошее и Истинное -- не обязательно одно и то же», и пошел своим путем. У Анаксагора и Парменида имелся слушатель по имени Сократ, который привел их идеи к полному расцвету.

В этом месте понять, в сущности, надо одно: до этого не существовало таких вещей, как разум и материя, субъект и объект, форма и сущность. Эти разделения -- изобретения диалектики, которые проявились позже.

Современный ум иногда склонен сачковать при мысли о том, что эти дихотомии -- изобретения, и говорит:

-- Ну, эти разделения *уже* существовали, и греки их просто открыли, -- и ты должен на это сказать:

-- *Где* существовали? Покажи? -- и современный ум слегка сконфузится и задастся вопросом, что вообще всё это означает, *но все равно* он верит в то, что разделения эти существовали.

Однако их не было, как сказал Федр. Они -- просто призраки, бессмертные боги современного мифоса, которые кажутся нам реальными, поскольку мы -- в *самом* этом мифосе. В реальности они -- настолько же художественные творения, насколько и антропоморфные Боги, которых они заменили.

Все до-сократовские философы, упоминавшиеся до сих пор, стремились установить во внешнем мире, который находили вокруг себя, универсальный Бессмертный Принцип. Общее усилие объединяло их в группу, которую можно назвать «космологи». Все они соглашались в том, что такой принцип существует, их разногласия же о том, чем он является, казались неразрешимыми. Последователи Гераклита настаивали на том, что Бессмертным Принципом являлось изменение и движение. Однако ученик Парменида Зенон серией парадоксов доказал, что любое восприятие движения и изменения иллюзорно. Реальность должна быть неподвижна.

Споры космологов разрешились с совершенно новой стороны, от группы, члены которой, казалось Феду, были ранними гуманистами, учителями, но стремились учить они не принципам, а верованиям людей. Целью их была не единственная абсолютная истина, а улучшение человечества. Все принципы, все истины относительны, говорили они. «Человек -- вот мера всех вещей.» То были знаменитые учителя «мудрости», софисты Древней Греции.

Для Федра эта история конфликта софистов и космологов сообщила совершенно новое направление «Диалогам» Платона. Сократ не просто излагает в вакууме благородные идеи. Он замешан в войне между теми, кто думает, что истина абсолютна, и теми, кто думает, что истина относительна. Он сражается в этой войне всем, что у него есть. Софисты -- враги.

Теперь ненависть Платона к софистам имеет какой-то смысл. Они с Сократом защищают Бессмертный Принцип космологов от того, что полагают разложением софистов. Истина. Знание. Нечто независимое от того, что все об этом думают. Идеал, за который умер Сократ. Идеал, которым обладает одна лишь Греция, -- впервые в истории мира. По-прежнему хрупкая вещь. Он может полностью исчезнуть. Платон ненавидит и проклинает софистов без удержу не потому, что они -- низкие и аморальные люди: очевидно, что в Греции есть типы гораздо более низкие и аморальные, которых он совершенно не замечает. Он проклинает их потому, что они угрожают первому начинающемуся схватыванию человечеством понятия истины. Вот что все это означает.

Результаты мученичества Сократа и непревзойденной прозы Платона, последовавшие за ним, -- никак не меньше, чем весь мир западного человека, каким мы его знаем. Если бы понятию истины позволили кануть, и Возрождение бы ее не переоткрыло, маловероятно, что мы бы сегодня поднялись хоть сколько-нибудь выше уровня доисторического человека. Понятия науки, технологии и других систематически организованных усилий человека намертво зацентрированы на ней. Она -- ядро всего.

И все же, понимает Федр, то, что он говорит о Качестве, как-то противоположно всему этому. Это, кажется, гораздо больше согласуется с софистами.

«Человек -- мера всех вещей.» Да, именно это он говорит о Качестве. Человек -- не *источник* всех вещей, как сказали бы субъективные идеалисты. И не пассивный наблюдатель всех вещей, как сказали бы объективные идеалисты и материалисты. Качество, создающее мир, возникает как *отношение* между человеком и его опытом. Человек -- *участник* создания всех вещей. *Мера* всех вещей -- как раз подходит. А они учили риторике -- это подходит.

Единственное, что не подходит к тому, что говорит он, и к тому, что сказал Платон о софистах, -- это их профессия преподавателей *добродетели*. Все свидетельства указывают на то, что это было в их учении абсолютно существенным, но как станешь обучать добродетели, если сам же учишь относительности всех этических идей? Добродетель, если она вообще что-то означает, равняется этическому абсолюту. Человеком, чье понятие того, что должно, меняется изо дня в день, можно восхищаться за широту взглядов, но не за *добродетель*. По крайней мере, в том смысле этого слова, как его понимает Федр. А как можно получить *добродетель* из риторики? Это нигде не объясняется. Чего-то не хватает.

Поиск ведет его через несколько историй Древней Греции, которые он, как обычно, читает в детективном стиле, ища только фактов, которые могут помочь, и отбрасывая те, которые не подходят. И вот он читает «Греков» Г.Д.Ф.Китто, сине-белую книжку в мягкой обложке, купленную за пятьдесят центов, и доходит до абзаца, в котором описывается «сама душа гомеровского героя», легендарной фигуры предекадентской, досократовской Греции. Вспышка его просветления, сопровождавшая те страницы, так интенсивна, что герои не стираются из памяти и стоят у меня перед глазами, как живые.

«Илиада» -- это история осады Трои, которая обратится во прах, и ее защитников, которые будут убиты в битве. Жена Гектора, вождя, говорит ему: «Сила твоя будет тебе напастью; и нет у тебя или к несчастной жене, которая вскоре станет твоею вдовой. Ибо вскоре ахейцы нападут и убьют тебя; и если я тебя потеряю, то мне лучше будет умереть.»

Ее муж отвечает:

«Да, я знаю это и уверен в этом; грядет тот день, когда священный город Троя погибнет, а с ним -- Приам и богатый народ Приама. Но моя скорбь -- не столько по троянцам, ни по самой Гекубе, ни по Приаму-Царю, ни по многим моим благородным братьям, которые будут убиты недругом и лягут во прах, сколько по тебе, когда один из облаченных в бронзу ахейцев унесет тебя, в слезах, и закончит твои дни свободы. Потом ты, быть может, станешь жить в Аргосе и работать за ткацким станком в доме другой женщины, или же носить воду для женщины из Мессены или Гиперии, в горести против своей воли: но тяжкое принуждение лежать будет на тебе. И тогда человек скажет, глядя на тебя, плачущую: "Это была жена Гектара, благороднейшего в битве из всех троянцев -- укротителей коней, когда те сражались вокруг Илиона". Вот то, что они скажут: и это станет для тебя свежей скорбью -- сражаться с рабством, лишенной такого мужа. Но пусть я умру, пусть землю навалит мне на могилу прежде, чем я услышу твои крики, прежде, чем услышу о насилии, причиненном тебе.»

Так говорил блистательный Гектор и протягивал руки к сыну своему. Но дитя вскрикнуло и прижалось к пышной груди няньки, ибо испугалось вида своего дорогого отца -- бронзы и гребня из конского волоса, ужасно развевавшегося на вершине шлема. Его отец громко рассмеялся, и мать тоже. Немедленно блистательный Гектор снял шлем свой с головы и положил наземь, и когда он целовал своего сына и качал его на руках, то молился Зевсу и другим Богам: Зевс и вы, другие Боги, сделайте так, чтобы сын мой был таким, как я: наиславнейшим из всех троянцев, человеком силы и власти великой в Илионе. И пусть говорят, когда он возвратится с войны: «Он гораздо лучше, чем был его отец».

«На героические дела греческого воина подвигает,» -- комментирует Китто, -- «не чувство долга в том смысле, в каком мы его понимаем: долг по отношению к другим -- это, скорее, долг по отношению к самому себе. Он стремится к тому, что мы переводим как "добродетель", но по-гречески звучит как *areté*, "совершенство"... мы еще много будем говорить об *arete*. Оно проходит через всю жизнь греков.»

Вот, думает Федр, определение Качества, которое существовало за тысячу лет до того, как диалектики только помыслили заключить его в слова-ловушки. Любой, кто не может понять этого значения без логических *definiens, definendum* и *differentia*, -- либо лжет, либо настолько утратил всякую связь с обычной частью человечества, что вообще не достоин никакого ответа. Федр тоже очарован описанием мотива «долга по отношению к самому себе» -- это почти точный перевод санскритского слова *дхарма*, о котором иногда говорят как об «Одном» индусов. Могут ли «дхарма» индусов и «добродетель» греков быть одним и тем же?

Тогда Федр испытывает желание прочесть этот абзац снова, читает и тогда... что это?!... «К тому, что мы переводим как "добродетель", но по-гречески звучит как "совершенство".»

Удар молнии?

Качество! Добродетель? Дхарма! Вот чему учили софисты! Не этическому релятивизму. Не пуританской «добродетели». Но arete. Совершенству. Дхарме! До Церкви Разума. До субстанций. До формы. До разума и материи. До самой диалектики. Качество было абсолютным. Те первые учителя Западного мира учили Качеству, и средством для этого они избрали риторику. Он все время все делал правильно.

Дождь приостановился, и мы смогли увидеть горизонт -- четкую линию, разделяющую светло-серое небо и темно-серую воду.

У Китто еще было что сказать об этом *arete* древних греков. «Когда мы встречаем *arete* у Платона,» -- говорил он, -- «мы переводим его как "добродетель" и, следовательно, пропускаем всю его прелесть. "Добродетель", по крайней мере, в современном английском, -- слово, почти полностью относящееся к морали; с другой стороны, *arete* используется неопределенно во всех категориях и просто означает совершенство.»

Таким образом, герой «Одиссеи» -- великий воин, лукавый интриган, всегда готовый оратор, человек мужественного сердца и обширных познаний, который знает, что без лишних жалоб он должен вытерпеть то, что посылают ему боги; он может и строить, и управлять судном, может пропахать борозду так же прямо, как любой, может победить молодого хвастуна в метании дисков, вызвать феакийского юношу на кулачный поединок, борьбу или бег, освежать, разделать и поджарить быка и растрогаться до слез песней. Фактически, он -- превосходный мастер на все руки; у него превосходное *arete*.

Aret подразумевает уважение к цельности и единости жизни и последовательную нелюбовь к специализации. Оно подразумевает презрение к эффективности -- или, скорее, гораздо более высокое понятие об эффективности, которая существует не в одном отделении жизни, а в самой жизни.

Федр вспомнил строчку из Торо: «Ты никогда не обретишь чего-то кроме того, что теряешь». Теперь он начал впервые осознавать невероятное величие того, что человек утратил, когда обрел силу понимать и управлять миром в понятиях диалектических истин. Человек строил империи научных способностей, чтобы манипулировать явлениями природы и превращать их в гигантские проявления собственных мечтаний о власти и богатстве, -- но на это променял империю понимания равных масштабов: понимания того, что означает быть частью мира, а не его врагом.

Просто разглядывая линию горизонта, можно достичь какого-то спокойствия духа. Линия геометра... совершенно плоская, постоянная и известная. Возможно, эта линия впервые дала Эвклиду понимание линейности; линия отсчета, от которой развивались первоначальные вычисления первых астрономов, наносивших звезды на карту.

Федр знал с той же самой математической уверенностью, которую чувствовал Пуанкаре, когда решал Фуксианские уравнения, что это греческое *arete* было той самой недостающей частью, завершавшей узор, но теперь читал дальше для полноты ощущения.

Нимбы над головами Платона и Сократа исчезли. Он видит, что они последовательно делают то, в чем обвиняют софистов: используют эмоционально убедительный язык с конечной целью заставить слабый аргумент -- защиту диалектики -- звучать сильно. Мы больше всего осуждаем в других то, думал он, чего больше всего боимся в себе.

Но почему? -- задавался вопросом Федр. Зачем уничтожать *arete*? И не успел он задать вопрос, как ответ сам пришел к нему. Платон *не пытался* уничтожить *arete*. Он *инкансулировал* его; делал из него постоянную, закрепленную Идею; *обращал* его в жесткую, неподвижную Бессмертную Истину. Он сделал *arete* Хорошим, высшей формой, высшей Идеей всего. Оно подчинилось только самой Истине в синтезе всего, что произошло раньше.

Вот почему то Качество, к которому Федр пришел в классе, казалось столь близким Хорошему Платона. Хорошее Платона было *взято* от риториков. Федр искал, но не мог найти предшествовавших космологов, говоривших о Хорошем. Это шло от софистов. Разница заключалась в том, что Хорошее Платона было закрепленной, вечной и недвижимой идеей, в то время как для риториков оно вовсе не являлось Идеей. Хорошее не было *формой* реальности. Оно было самой реальностью, вечно изменяющейся, не познаваемой окончательно никаким закрепленным жестким способом.

Почему Платон это сделал? Федр рассматривал философию Платона как результат *двух* синтезов. Первый синтез пытался разрешить различия между последователями Гераклита и Парменида. Обе космологические школы утверждали Бессмертную Истину. Для того, чтобы выиграть битву за истину, в которой *arete* играет подчиненную роль, битву против своих врагов, которые будут обучать *arete*, в котором истина играет подчиненную роль, Платон должен сначала разрешить внутренний конфликт между верующими в Истину. Для этого он говорит, что Бессмертная Истина -- не просто изменение, как считали последователи Гераклита. Не просто сущность без изменений, как считали последователи Парменида. Обе эти Бессмертные Истины сосуществуют как неизменные Идеи и изменчивая Наружность. Вот почему Платон находит нужным отделять, например, «лошадность» от «лошади» и говорить, что лошадность реальна, закреплена, истинна и неподвижна, в то время как лошадь -- простое, незначительное, преходящее явление. Лошадность -- Идея. Лошадь, которую можно видеть, -- собрание меняющихся Наружностей, лошадь, которая может проистекать, двигаться там, где ей захочется и даже умереть на этом самом месте, не потревожив лошадности -- Бессмертного Принципа, который может длиться вечно вслед за Богами старины.

Второй синтез Платона -- включение *arete* софистов в эту дихотомию Идеи и Наружностей. Он помещает его на самое почетное место, подчиненное только самой Истине и методу, которым к Истине приходят, диалектике. Но

в этой попытке объединить Хорошее и Истинное путем превращения Хорошего в высочайшую Идею всего Платон, тем не менее, узурпирует место *arete* и возводит на него диалектически определенную истину. Поскольку Хорошее содержалось как диалектическая идея, для другого философа не составит труда прийти и продемонстрировать диалектическими методами, что *arete*, Хорошее, может быть более выгодно смещено на более низкую позицию в «истинном» порядке вещей, более совместимом со внутренней деятельностью диалектики. Такой философ не заставил себя долго ждать. Его имя было Аристотель. Аристотель чувствовал, что смертная лошадь Наружности, которая ест траву, возит людей и производит на свет маленьких лошадей, заслуживает гораздо больше внимания, нежели ей уделял Платон. Он говорил, что лошадь - не просто наружность. Наружности принакают к чему-то более независимому от них, к чему-то более неизменяемому -- напримет, к Идеям. Это «что-то», к чему принакают Наружности, он назвал «субстанцией». И именно в этот момент -- а не *до* него -- родилось наше современное научное понимание реальности. При Аристотеле -- «Читателе», чьих познаний в троянском *arete*, кажется, подозрительно недостает, -- формы и субстанции превалируют над всем. Хорошее -- сравнительно незначительная ветвь знания, называемая этикой; разум, логика, знание -- вот что его заботит в первую очередь. *Aret* мертво, а науке, логике и Университету, каким мы знаем его сейчас, выдана их утверждающая грамота: найти и изобрести бесконечный количественный рост форм, касающихся субстантивных элементов мира, назвать эти формы знанием и передать их будущим поколениям в виде «системы».

И еще риторика. Бедная риторика, некогда «изучавшая» самое себя, теперь низводится к преподаванию манер и форм -- аристотелевых форм -- письма, как будто они имеют хоть какое-то значение. Пять ошибок в правописании, вспомнил Федр, *или* одна ошибка в построении предложения, *или* три не там расположенных определения, *или*... и так далее, без конца. Любой было достаточно, чтобы проинформировать студента, что он не знает риторики. В конце концов, это и есть риторика, не так ли? Конечно, существует «пустая риторика», то есть риторика, способная привлечь эмоционально без должного подчинения диалектической истине, но нам *такая* не нужна, правда? Она сделает нас похожими на тех лжецов, жуликов и пачкунов Древней Греции, на тех софистов -- помните *их*? Истине мы научимся на других наших академических курсах, а потом немного поучимся риторике, чтобы уметь мило это все записывать и производить впечатление на начальство, которое продвинет нас на более высокие должности.

Формы и маннеризмы -- ненавидимые лучшими и любимые худшими. Год за годом, десятилетие за десятилетием маленькие «читатели» с передних парт, имитаторы с милыми улыбками и аккуратными авторучками выходят получать свои аристотелевские пятерки, а те, кто обладает подлинным *arete*, молча сидят позади, недоумевая, что с ними происходит, и почему им так не нравится этот предмет.

И сегодня, в тех немногих Университетах, которые почитают за труд преподавать классическую этику, студенты, вслед за Аристотелем и Платоном, бесконечно возятся с вопросом, который в Древней Греции вообще не было необходимости задавать: «Что есть Хорошее? И как нам его определить? Поскольку разные люди определяли его по-разному, как мы можем *знать*, что хорошее вообще есть? Некоторые утверждают, что хорошее -- в счастье, но откуда нам знать, в чем счастье? И как можно определить счастье? Счастье и хорошее -- не объективные термины. Мы не можем научно иметь с ними дела. А коль скоро они не объективны, то существуют просто у нас в уме. Поэтому, если хочешь быть счастливым, просто передумай. Ха-ха, ха-ха.» Аристотелева этика, аристотелевы определения, аристотелева логика, аристотелевы формы, аристотелевы субстанции, аристотелева риторика, аристотелев смех... ха-ха, ха-ха.

А кости софистов давным-давно обратились в прах, и то, что они сказали, обратилось в прах вместе с ними, а прах погребался под бульжником приходивших в упадок Афин в течение всего их падения и Македонии в течение ее упадка и падения. В течение упадка и смерти Древнего Рима, Византии, Оттоманской Империи и современных государств -- погребались так глубоко, с такой церемонностью, с таким смаком и с такой злобой, что только безумец многие века спустя мог обнаружить ключи, необходимые для того, чтобы их открыть и с ужасом увидеть, *что* натворили...

Дорога так потемнела, что приходится включить фару, чтобы пробраться сквозь здешние туманы и дождь.

В Аркате мы заходим в маленькую столовку, сырую и холодную, едим чили с бобами и пьем кофе.

Потом снова выезжаем на дорогу -- теперь уже это скоростная трасса, быстрая и мокрая. Будем ехать, пока до Сан-Франциско не останется легкого однодневного перехода, и тогда остановимся.

Фары встречных машин странно отражаются в мокрой осевой линии, капли бьют в стекло шлема, как дробинки, преломляя свет фар странными волнами кругов и полукругов. Двадцатый век. Он уже окружил нас со всех сторон, этот двадцатый век. Пора кончать с федровой одиссеей двадцатого века и больше к ней не возвращаться. Когда класс по «Идеям и Методам 251, Риторике» собрался в следующий раз за большим круглым столом в Южном Чикаго, секретарь отделения объявила, что профессор философии заболел. Он болел всю следующую неделю. Несколько озадаченные остатки класса, который к тому времени уменьшился до трети, сами по себе пошли через дорогу выпить кофе.

За столиком один студент, которого Федр отметил как способного сноба-интеллектуала, сказал:

-- Я расцениваю этот класс как один из самых неприятных, в которых мне довелось заниматься.

Казалось, он смотрел на Федра свысока с какой-то бабьей сварливостью, как обломщик того, что должно повлечь приятные переживания.

-- Полностью согласен, -- ответил Федр. Он ждал какого-нибудь повторного нападения, но его не последовало.

Другие студенты, казалось, думали, что это все произошло из-за Федра, но им не за что было зацепиться. Затем женщина постарше на другом краю столика спросила, зачем он вообще ходит на занятия.

-- Я сам как раз сейчас пытаюсь это понять, -- ответил Федр.

-- А вы ходите на занятия полный день? -- спросила она.

-- Нет, полный день я преподаю на Военно-Морском Пирсе.

-- Что вы преподаете?

-- Риторiku.

Она замолчала, и все, кто сидели за столом, посмотрели на него и тоже смолкли.

Ноябрь подходил к концу. Листья, солнечно-оранжевые в октябре, опали, оставив голые ветви встречать холодные ветра с севера. Выпал первый снег, потом растаял; коричневатогрязный город ждал прихода зимы.

В отсутствие профессора философии задали еще один диалог Платона. Он назывался «Федр», что для *нашего* Федра не значило ничего, поскольку сам он не называл себя этим именем. Греческий Федр -- не софист, а молодой оратор, который в этом диалоге только оттеняет Сократа. Диалог -- о природе любви и возможности философской риторики. Федр кажется не очень сообразительным и обладает ужасным чувством риторического Качества, поскольку цитирует по памяти на самом деле очень плохую речь оратора Лисия. Но вскоре понимаешь, что эта плохая речь и была задумана как легкая добыча для Сократа, чтобы тот мог сопроводить ее гораздо лучшей *своей* речью, а ее -- еще лучшей, одной из прекраснейших речей во всех «Диалогах» Платона.

Помимо этого, единственная замечательная вещь в Федре -- это его личность. Платон часто дает имена оппонентам Сократа согласно их личностным характеристикам. Молодой, свержразговорчивый, невинный и добродушный оппонент в «Горгии» зовется Пол, что по-гречески означает «жеребенок». Федр не таков. Он не присоединяется ни к одной определенной группе. Он предпочитает городу уединение деревни. Он агрессивен до крайности и даже может быть опасным. В одном месте он даже угрожает Сократу насилием. *Phaedrus* по-гречески -- «волк». В этом диалоге его увлекает речь Сократа о любви, и он -- укрошен.

Наш Федр читает диалог, и на него огромное впечатление производит великолепная поэтическая образность. Но он им не укрошен, поскольку ощущает в нем к тому же слабый запах лжи. Речь -- не самоцель; она используется для осуждения того же аффективного царства понимания, к которому сама риторически апеллирует. Страсти характеризуются как разрушители понимания, и Федру интересно, не отсюда ли получило начало это осуждение страстей, так глубоко укоренившееся в западной мысли. Вероятно, нет. Напряженность между древнегреческой мыслью и эмоцией в других местах описана как основа греческого характера и культуры. Хотя и интересно.

На следующей неделе профессор философии снова не появляется, и Федр использует это время, чтобы подтянуть свою работу в Университете Иллинойса.

Еще через неделю в книжном магазине Чикагского Университета, куда Федр зашел по пути на занятия, он видит два темных глаза, пристально смотрящих на него между книг на полке. Когда лицо появляется целиком, он узнает невинного студента, которого словесно избили в начале четверти и который исчез. Похоже, он знает что-то такое, чего не знает Федр. Федр подходит к нему поговорить, но тот отступает и исчезает за дверью, оставляя Федра в недоумении. И на грани. Может, он просто устал и нервничает. Измождение от преподавания на Пирсе сверх усилий превзойти сразу всю западную академическую мысль в Чикагском Университете заставляют его работать и заниматься по двадцать часов в сутки без должного внимания к питанию и упражнениям. Может, просто усталость заставляет его думать, что в этом лице что-то не так.

Но когда он переходит дорогу, чтобы зайти в здание, это лицо следует за ним, отстав на двадцать шагов. Что-то готовится.

Федр входит в класс и ждет. Вскоре появляется и студент -- после многонедельного отсутствия. Не может же он считать, что ему *сейчас* поставят зачет. Студент смотрит на Федра с полуулыбкой. Он чему-то улыбается, хорошо.

В коридоре раздаются шаги -- и тут Федр *понимает*; ноги его становятся резиновыми, а руки начинают трястись. Милостиво улыбаясь, в дверях стоит не кто иной, как сам Председатель Комиссии по Анализу Идей и Изучению Методов при Чикагском Университете. Он берет класс себе.

Вот оно что. Вот где они вышвырнут Федра через парадный вход.

Изысканный, величественный, с имперским великодушием, Председатель на минуту озадачивается в дверях, затем обращается к студенту, который, кажется, его знает. Он улыбается, отводя от студента взгляд, охватывая весь класс, словно хочет найти еще какое-нибудь знакомое лицо, кивает с коротким смешком, ожидая звонка. Вот почему этот пацан здесь. Ему объяснили, почему его случайно избили, и только ради того, чтобы показать, какие они хорошие парни, ему позволят занять место за кругом, когда будут избивать Федра. Как они собираются это делать? Федр уже знает. Сначала уничтожат его статус диалектически перед всем классом, показав, насколько мало он знает о Платоне и Аристотеле. С этим хлопот не будет. Очевидно, что они знают о Платоне и Аристотеле в сотни раз больше, чем он когда-либо будет знать. Они занимались этим всю жизнь.

Затем, когда они тщательно препарируют его диалектически, ему предложат либо принять определенную форму, либо убираться вон. Потом позададут еще вопросов, и он и на них не будет знать ответов. Потом предложат, чтобы он, раз его успеваемость настолько отвратительна, не беспокоился по поводу посещения занятий, а, наоборот, покинул бы класс незамедлительно. Возможны варианты, но это -- основной формат. Так легко. Что ж, он многому научился -- за этим сюда и пришел. Он может написать диссертацию и как-нибудь по-другому. С такой мыслью резиновое ощущение покидает его, и он успокаивается.

С тех пор, как они с Председателем виделись в последний раз, Федр отпустил бороду, поэтому пока не опознан. Преимущество ненадолго. Председатель засечет его достаточно скоро.

Председатель аккуратно складывает пальто, берет стул по другую сторону круглого стола, садится, потом достает старую трубку и набивает ее, должно быть, с полминуты. Можно заметить, что он проделывал это множество раз.

Обратив внимание на класс, он изучает лица, гипнотически улыбаясь, ощущая настроение, но чувствуя, что что-то немножко не так. Набивает трубку еще некоторое время, но без спешки.

Вскоре момент наступает, он зажигает трубку, и немного спустя класс наполняется запахом табачного дыма. Наконец он произносит:

-- Насколько я понимаю, сегодня мы должны начать обсуждение бессмертного «Федра».

Он смотрит на каждого студента в отдельности.

-- Верно?

Учащиеся робко заверяют его, что так и есть. Его личность ошеломляет.

Председатель затем извиняется за отсутствие предыдущего преподавателя и сообщает, *что* последует дальше.

Поскольку сам он уже знает этот диалог, то будет добиваться от класса ответов, которые покажут, насколько хорошо поняли его они.

Самый лучший способ, думает Федр. Так можно узнать лично каждого студента. К счастью, Федр штудировал диалог так тщательно, что почти выучил наизусть.

Председатель прав. Это бессмертный диалог, поначалу он странен и озадачивает, но потом бьет сильнее и сильнее, как сама истина. То, о чем Федр говорил как о Качестве, Сократ, повидимому, описал как душу, самодвижение, источник всех вещей. Здесь нет противоречия. Его в действительности никогда и быть не может между центральными понятиями монистических философий. Одно в Индии должно быть тем же самым, что и Одно в Греции. Если это не так, то получается два. Единственное разногласие между монистами касается определений Одного, а не самого Одного. Поскольку Одно -- источник всех вещей и включает все вещи в себя, оно не может быть определено в понятиях этих вещей, коль скоро какую бы вещь ни использовал для определения его, эта вещь всегда будет описывать нечто меньшее, нежели само Одно. Одно может быть описано только аллегорически, путем аналогий, фигур воображения и речи. Сократ избирает аналогию неба и земли, показывая, как личности притягиваются к Одному колесницей, запряженной двумя лошадьми...

Но вот Председатель адресует вопрос студенту, сидящему рядом с Федром. Подбрасывает небольшую наживку, провоцирует его на нападение.

Студент, к которому обратились по ошибке, не нападает, и Председатель с огромным отвращением и раздражением в конце концов оставляет его в покое, сделав выговор, что материал следовало читать лучше.

Очередь Федра. Он совершенно успокоился. Он теперь должен объяснить диалог.

-- Если мне будет позволено начать по-своему, -- говорит он, отчасти -- чтобы скрыть тот факт, что не слышал, о чем говорил предыдущий студент.

Председатель, рассматривая это как продолжение выговора студенту, сидящему рядом, улыбается и высокомерно произносит, что это, конечно же, хорошая мысль.

Федр продолжает:

-- Я полагаю, что в этом диалоге личность Федра характеризуется словом «волк».

Он произносит это довольно громко, со вспышкой гнева, и Председатель почти подскакивает на месте. Счет открыт!

-- Да, -- говорит Председатель, и блеск в его глазах показывает, что он уже узнал, кто этот его бородатый противник. -- *Phaedrus* по-гречески действительно означает «волк». Это очень точное наблюдение. -- К нему начинает возвращаться самообладание. -- Продолжайте.

-- Федр встречает Сократа, *который знает только городские пути*, и ведет его в деревню, где начинает цитировать речь оратора Лисия, которого обожает. Сократ просит прочесть ее, и Федр читает.

-- Стоп! -- говорит Председатель, уже полностью обретший самообладание. -- Вы пересказываете нам сюжет, а не объясняете диалог.

Он вызывает следующего студента.

Кажется, никто из студентов не знает, о чем этот диалог, до той степени, какая могла бы удовлетворить Председателя. Поэтому с насмешливой грустью он говорит, что всем следует прочесть его более тщательно, но на этот раз он им поможет, взяв на себя труд самому объяснить диалог. Это вызывает невероятную разрядку той напряженности, которую он так тщательно выстроил, -- и весь класс уже у него в кулаке.

Председатель продолжает, открывая им значение диалога, в атмосфере абсолютного внимания. Федр слушает с глубокой вдумчивостью.

Через некоторое время что-то понемногу начинает его отвлекать. Вкралась какая-то фальшивая нота. Сначала он не видит, в чем дело, но потом осознает, что Председатель полностью пропустил сократово описание Одного и перепрыгнул вперед, к аллегории колесницы и лошадей.

В этой аллессии ищущий, пытающийся достичь Одного, влеком двумя лошадьюми: один конь бел, благороден и кроток, другой -- зол, упрям, страстен и черен. Один всегда помогает в его подъеме к вратам небес, второй всегда препятствует ему. Председатель этого еще не сказал, но он уже на пороге того, чтобы объявить, что белый конь -- это умеренный разум, а черный -- темная страсть, эмоции. Он подходит к той точке, где их нужно описать, и фальшивая нота превращается в целый хор.

Он сдает назад и снова утверждает, что «теперь Сократ поклялся богам, что говорит Истину. Он дал клятву говорить Истину, и если то, что последует, не будет Истиной, то он запятнает свою душу.»

ЛОВУШКА! Он *использует* диалог, чтобы доказать святость разума! Коль скоро это будет установлено, он сможет пуститься в исследования того, что такое разум, а потом -- внемлите же! -- мы снова окажемся в царстве Аристотеля!

Федр поднимает руку ладонью вперед, локоть на столе. Раньше эта рука тряслась, теперь она смертельно спокойна. Федр чувствует, что сейчас формально подписывает себе смертный приговор, но знает, что подпишет себе другой смертный приговор, если руку сейчас опустит.

Председатель видит поднятую руку, он удивлен и встревожен, но разрешает. И вот слова произнесены.

Федр говорит:

-- Все это -- только аналогия.

Молчание. Потом на лице Председателя отражается смятение.

-- Что? -- говорит он. Чары его выступления разбиты.

-- Все это описание колесницы и двух лошадей -- всего лишь аналогия.

-- Что? -- переспрашивает он, а потом громче: -- Это *истина*! Сократ поклялся Богам, что это истина!

Федр отвечает:

-- Сократ сам говорит, что это -- аналогия.

-- Если вы прочтете диалог, то обнаружите, что Сократ особенно подчеркивает, что это Истина!

-- Да, но *до* этого... я полагаю, в двух параграфах... он утверждает, что это -- *аналогия*.

Текст -- на столе, можно сверить, но у Председателя хватает здравого смысла не делать этого. Если он сверится, и Федр окажется прав, то его лицо перед классом будет полностью уничтожено. Он сказал классу, что книгу никто тщательно не читал.

Риторика -- 1; Диалектика -- 0.

Фантастика, думает Федр, что он это запомнил. Это просто вдребезги разносит всю диалектическую позицию. В этом, как раз, может быть, и заключается весь спектакль. Конечно, это аналогия. Всё -- аналогия. Но диалектики этого не знают. Вот почему Председатель пропустил это утверждение Сократа. Федр уловил его и запомнил, потому что если бы Сократ этого не утверждал, то он бы не говорил «Истину».

Пока этого никто не видит, но увидят они достаточно скоро. Председателя Комиссии по Анализу Идей и Изучению Методов только что застрелили в его собственном классе.

Он теперь лишился дара речи. Не может придумать, что сказать. Ни слова. Молчание, которое так хорошо выстраивало его имидж в начале занятия, теперь уничтожает его. Он не понимает, откуда прозвучал выстрел. Он никогда не сталкивался с живым софистом. Только с мертвыми.

Теперь он пытается за что-то ухватиться, но хвататься не за что. Собственная инерция увлекает его вперед, в бездну, и когда он, наконец, находит слова, то это слова совершенно другого человека: школьника, забывшего свой урок, все перепутавшего, но все равно желавшего бы нашего снисхождения.

Он пытается блефовать, снова утверждая, что никто в классе хорошо не занимался, но студент справа от Федра качает головой: очевидно, кто-то все-таки занимался.

Председатель запинаясь и раздумывает, словно боится класса, ничем по-настоящему не занимая их. Федру интересно, какими будут последствия всего этого.

Потом он видит, как происходит плохая штука. Избитый невинный студент, которые наблюдал за ним раньше, теперь не так уж и невинен. Он ухмыляется Председателю и задает ему саркастические и полные намеков вопросы. Председателя, уже изувеченного, убивают... но затем Федр осознает, что это было уготовано ему.

Он не чувствует жалости -- только отвращение. Когда пастух идет убивать волка и берет с собой пса, чтобы тот развлекался, ему следует тщательно избегать ошибок. Пес имеет к волку определенное отношение, о котором пастух, быть может, забыл.

Девушка спасает Председателя, задавая легкие вопросы. Он принимает их с благодарностью, отвечает на каждый очень пространно и медленно набирает самообладание.

Потом ему задают вопрос:

-- Что такое диалектика?

Он раздумывает над этим, а потом, клянусь Богом, поворачивается к Федру и спрашивает, не хотел бы тот ответить на вопрос.

-- Вы имеете в виду мое *личное* мнение? -- переспрашивает Федр.

-- Нет... скажем, мнение Аристотеля.

Уже не до тонкостей. Он просто собирается завлечь Федра на свою территорию и уже там проучить.

-- Насколько я знаю... -- произносит Федр и делает паузу.

-- Да? -- Председатель весь расплывается в улыбке. Ловушка готова.

-- Насколько я знаю, мнение Аристотеля заключается в том, что диалектика идет *прежде* всего остального.

Выражение на лице Председателя за полсекунды из елейного становится потрясенным и разъяренным. Да, это *так!* -- кричит его лицо, но он не произносит ни слова. Ловец снова попал в ловушку. Он не может сразить Федра на утверждении, взятом из его собственной статьи в «Энциклопедии Британике».

Риторика -- 2; Диалектика -- 0.

-- А из диалектики происходят формы, -- продолжает Федр, -- а из...

Но Председатель прерывает его. Он видит, что так, как хочется ему, не получится, и оставляет этот вопрос.

Не следовало ему мен используемый для достижения истины, идет прежде всего остального, у нас есть? Вообще никакого свидетельства нет. А когда это утверждение изолировано и само становится предметом изучения, то становится оно заведомо смешным. Вот она, эта диалектика, как ньютонов закон тяготения, сидит вот тут, прямо в середине нигде, рожая вселенную -- каково? Ослиная глупость.

Диалектика, родитель логики, сама родилась из риторики. Риторика, в свою очередь, -- дитя мифов и поэзии Древней Греции. Исторически это так и есть -- так же, как и по всем применениям здравого смысла. Поэзия и мифы -- реакция доисторических людей на вселенную вокруг них, основанная на Качестве. Это Качество, а не диалектика -- генератор всего, что мы знаем.

Занятие заканчивается. Председатель стоит в дверях, отвечая на вопросы, и Федр почти подходит к нему что-то сказать, но передумывает. Жизнь, полная ударов, может лишить человека желания вступать в любые ненужные обмены, которые могут привести к новым ударам. Ничего дружелюбного сказано не было, ни даже намека, продемонстрировалось только много враждебности.

Федр-волк. Подходит. Легкой поступью направляясь к своей квартире, он видит, как это подступает все ближе и ближе. Он не будет счастлив, если они возрадутся его диссертации. Враждебность -- это действительно его элемент. Действительно. Федр-волк, да, спустившийся с гор охотиться на бедных невинных граждан этой интеллектуальной общины. Как раз подходит.

Церковь Разума, как и все институты Системы, основана не на индивидуальной силе, а на индивидуальной слабости. На самом деле требуется в Церкви Разума не способность, а *неспособность*. Вот тогда ты считаешься годным к обучению. Подлинно способная личность -- всегда угроза. Федр видит, что он отбросил шанс интегрироваться в организацию, подчинившись какой угодно аристотелевой вещи, которой должен был подчиниться. Но такая возможность едва ли стоит всех поклонов, пресмыкания и интеллектуального унижения, необходимых для ее поддержания. Это низкокачественная форма жизни.

Ему Качество лучше видится у границы лесов, чем здесь, затянутое дымчатыми окнами и погруженное в океаны слов, и он видит, что все, о чем он говорит, здесь никогда не смогут принять, поскольку для того, чтобы увидеть его, надо быть свободным от социального авторитета, а тут -- институт социального авторитета. Качество для баранов -- вот что говорит пастух. А если взять барана и поднять его к границе лесов ночью, когда ревет ветер, этот баран перепугается до полусмерти, начнет звать и орать, пока не явится пастух -- или же волк.

На следующем занятии он делает одну последнюю попытку быть милым, но Председатель и знать ничего не хочет. Федр просит его объяснить один пункт: не смог-де понять его. Он-то понял, но лучше немножко пойти на попятный.

Ответом на это служит: «Может быть, вы устали?» -- как можно более уничтожающе; но не уничтожает.

Председатель просто уличает в Федре то, чего боится в самом себе. Занятие продолжается, а Федр сидит, глядя в окно и жалея этого старого пастуха и его классных баранов и псов, жалея себя, что никогда не станет одним из них. Когда звенит звонок, он уходит навсегда.

Занятия на Воено-Морском Пирсе, напротив, проходят как пожар; студенты напряженно слушают эту странную бородатую фигуру с гор, которая говорит им, что в этой вселенной когда-то была такая вещь, как Качество, и что они знают, что это такое. Они не знают, как к этому относиться, они неуверенны, некоторые боятся его. Они видят, что он как-то опасен, но все очарованы и хотят слушать дальше.

Но Федр -- тоже не пастух, и напряжение от того, что приходится вести себя по-пастушьи, убивает его. Снова происходит то странное, что всегда случалось в классах, когда непокорные и дикие студенты в последних рядах сопереживали ему и становились любимцами, в то время как более бараньеголовые и послушные в первых рядах всегда впадали от него в ужас и навсегда становились объектами презрения, даже если в конце бараны сдавали экзамен, а его неуправляемые друзья на задних партах -- нет. И Федр видит -- хотя не хочет признаваться в этом самому себе и посейчас -- тем не менее, видит интуитивно, чт и дни его собственного пастушества подходят к концу. И он снова и снова задает себе вопрос, что же будет дальше.

Он всегда боялся тишины в классе, той тишины, что уничтожила Председателя. Не в его натуре говорить, говорить и говорить, часами, непрерывно, его это истощает, и теперь, когда не на чем больше сосредоточиться, он сосредотачивается на этом страхе.

Он входит в класс, звенит звонок, а он сидит и не говорит. Весь час он хранит молчание. Некоторые студенты заговаривают с ним, пытаются своим вызовом хоть как-то расшевелить его, но и они потом смолкают. Другие

просто с ума сходят от внутренней паники. В конце часа весь класс буквально ломается и бросается к двери. Тогда он идет в свой следующий класс, и там происходит то же самое. И в следующем классе, и в следующем. Затем Федр идет домой. И все больше и больше задается вопросом: что дальше? Наступает День Благодарения.

Его четыре часа сна сократились до двух, а потом и совсем пропали. Все кончено. Он не вернется к изучению риторики Аристотеля. Не вернется к преподаванию ее. С этим покончено. Он начинает ходить по улицам, его ум кружится в вихре.

Город теперь смыкается на нем и становится в его странной перспективе антитезой тому, во что он верит. Цитадель не Качества, но цитадель формы и субстанции. Субстанция в форме стальных листов и балок, субстанция в форме бетонных столб

«И что написано хорошо, и что написано плохо, -- надо ли нам просить Лисия или любого другого поэта или оратора, который когда-либо писал или когда-нибудь напишет либо политическую, либо какую-то другую работу, в размере или без размера, поэта или писателя прозы, научить нас этому?»

Что хорошо, Федр, и что не хорошо -- надо ли просить кого-то рассказать нам об этом?

Вот что он говорил за много месяцев до этого, в Монтане, в классной комнате -- тот смысл, который Платон и каждый диалектик со времен Платона пропускал мимо, поскольку все стремились определить Хорошее в его интеллектуальном отношении к вещам. Но сейчас он видит, насколько далеко ушел он от этого. Он сам делает те же самые плохие вещи. Его первоначальной целью было сохранить Качество не определенным, но в процессе сражений с диалектиками он делал утверждения, и каждое становилось кирпичом в стене определения, которую он сам строил вокруг Качества. Любая попытка развить вокруг неопределенного Качества организованный разум разбивает собственный смысл существования. Сама организация разума разбивает Качество. С самого начала все, что он делал, было занятием идиота.

На третий день он сворачивает за угол на перекрестке незнакомых улиц, и в глазах у него темнеет. Когда он начинает видеть снова, то обнаруживает, что лежит на тротуаре, и люди обходят его, будто его здесь нет. Он устало поднимается и безжалостно подгоняет мысли, чтобы вспомнить дорогу к своей квартире. А мысли тормозят. Замедляются. Примерно в это время они с Крисом пытаются найти продавцов раскладушек, чтобы на них могли спать дети. После этого он уже не выходит из квартиры.

Он неотрывно смотрит на стену, сидя по-турецки на ватном одеяле, брошенном на пол спальни без кроватей. Все мосты сожжены. Назад пути нет. А теперь и вперед пути нет тоже.

Три дня и три ночи Федр смотрит на стену спальни, его мысли не движутся ни вперед, ни назад, остановившись только на этом мгновении. Жена спрашивает, не заболел ли он, и он не отвечает. Жена злится, но Федр слушает, не реагируя. Он осознает, *что* она говорит, но больше не способен чувствовать в ее словах никакой необходимости. Замедляются не только мысли, но и желания. Все медленнее и медленнее, словно набирая невесомую массу. Так тяжело, так устал, но сон не приходит. Он чувствует себя гигантом в миллионы миль ростом. Он чувствует, как расширяется на всю вселенную без конца.

Он начинает отвергать те вещи, то бремя, которое нес на себе всю свою жизнь. Он говорит жене, чтобы та уходила с детьми, чтобы считала их в разводе. Страх собственной омерзительности и стыда исчезает, когда его моча -- не намеренно, а естественно -- стекает на пол комнаты. Страх боли, боли мучеников преодолен, когда сигареты догорают -- не намеренно, а естественно -- до самых пальцев, пока волдыри, образованные их же жаром, не гасят их. Жена видит его искалеченные руки и мочу на полу и вызывает скорую помощь.

Но прежде, чем помощь приходит, медленно, сначала незаметно, все сознание Федра начинает распадаться... растворяться и таять. Постепенно он прекращает задаваться вопросом, что произойдет дальше. Он знает, что произойдет дальше -- и слезы текут, слезы по его семье, и по нему самому, и по этому миру. Возникает и остается в мозгу строчка старого христианского гимна: «Ты должен пересечь долину». Она влечет его все дальше. «Ты должен сделать это сам». Кажется, это Западный гимн, ему место в Монтане.

-- Никто за тебя ее не пересечет, -- говорит он. Кажется, он предлагает что-то за, что-то кроме: -- Ты должен сделать это сам.

Он пересекает эту долину одиночества, из мифоса, и возникает, словно из сна, видя, что все его сознание, мифос, было сном, не чьим-нибудь сном, а его собственным, который теперь он должен поддерживать собственными усилиями. Затем даже «он» исчезает, и только сон о нем остается с ним самим внутри.

А Качество, *aret*, за которое он так трудно сражался, ради которого шел на жертву, которое *никогда* не предавал, но которое за все это время так никогда и не понял, теперь становится явным ему, и его душа успокаивается.

Поток машин поредел и почти полностью исчез, а дорога -- такая черная, что фара, кажется, едва-едва прорубается своим светом сквозь дождь, чтоб высветить ее, убийственно. Может случиться все, что угодно, -- внезапная выбоина, масляное пятно, труп животного... Но если будешь ехать слишком медленно, убьют сзади. Не знаю, почему мы до сих пор едем. Давно пора остановиться. Я уже не знаю, что делаю. Наверное, я искал вывеску какого-нибудь мотеля, но не думал об этом и пропускал их. Если мы и дальше так будем, они все закроются.

Мы сворачиваем на ближайшем выезде с трассы, надеясь, что дорога нас куда-нибудь выведет, и вскоре оказываемся на бугристом асфальте с выбоинами и рассыпанным гравием. Еду медленно. Фонари над головой

бросают в потоки дождя раскачивающиеся дуги натриевого света. Мы выезжаем из света во тьму, на свет во тьму снова и снова, без единой вывески «Добро пожаловать» где бы то ни было. Знак слева объявляет «СТОП», но не говорит, куда сворачивать. Одна дорога выглядит такой же темной, как и другая. По этим улицам мы могли бы ездить до бесконечности и ничего не найти, и даже на трассу опять не наткнуться.

-- Где мы? -- кричит Крис.

-- Не знаю. -- Мой мозг устал и работает медленно. Кажется, я даже не могу придумать правильный ответ... или что нам делать дальше.

Вот я вижу впереди белое сияние и яркую вывеску заправочной станции на другом конце улицы.

Она открыта. Мы останавливаемся и заходим. Служитель, которому на вид столько же, сколько и Крису, странно смотрит на нас. Не знает он ни о каком мотеле. Я иду к телефонному справочнику, нахожу несколько и читаю ему адреса, а он пытается рассказать, как до них добраться, но у него плохо получается. Я звоню в мотель, который, как он объясняет, ближе всех, заказываю комнату и переспрашиваю, как доехать.

При таком дожде и уличной темноте даже зная, куда ехать, мы почти промахиваемся. Они выключили свет, и когда я записываюсь в книгу постояльцев, не произносится ни слова.

Комната -- остаток от серости тридцатых годов, грязная, отремонтированная человеком, не знавшим столярного дела, но сухая, в ней есть обогреватель и постели, и нам больше ничего не нужно. Я включаю обогреватель, мы садимся перед ним, вскоре дрожь и озноб прекращаются, и сырость начинает выходить из наших костей.

Крис не поднимает глаз, а просто смотрит в решетку нагревателя в углу. Через некоторое время произносит:

-- Когда мы поедем обратно домой?

Провал.

-- Когда доберемся до Сан-Франциско, -- отвечаю я. -- А что?

-- Я так устал просто сидеть и... -- Его голос замирает.

-- И что?

-- И... не знаю. Просто сидеть... как будто мы по-настоящему никуда не едем.

-- Куда мы должны ехать?

-- Не знаю. Откуда я знаю?

-- И я не знаю, -- отвечаю я.

-- Ну а почему ты *не знаешь*? -- спрашивает он. И начинает плакать.

-- В чем дело, Крис? -- говорю я.

Он не отвечает. Потом опускает голову на руки и начинает раскачиваться взад и вперед. То, как он это делает, вызывает во мне жуткое чувство. Потом он останавливается и говорит:

-- Когда я был маленьким, было по-другому.

-- Как?

-- Не знаю. Мы всегда все *делали*. Что я хотел делать. Теперь я *ничего* не хочу делать.

Он продолжает так же жутко раскачиваться, спрятав лицо в руках, а я не знаю, что делать. Странное качающееся движение, не от мира сего, самозакрытие зародыша, которое как бы отторгает меня, отторгает все. Возврат в то место, о котором я ничего не знаю... дно океана.

Теперь я знаю, где видел это раньше, -- на полу больницы, вот где.

Я вообще не знаю, что мне делать.

Немного спустя мы укладываемся в постели, и я пытаюсь заснуть.

Потом спрашиваю Криса:

-- А перед тем, как мы уехали из Чикаго, было лучше?

-- Да.

-- Как? Что ты помнишь?

-- Было весело.

-- *Весело?*

-- Да, -- говорит он и затихает. Потом произносит:

-- Помнишь, как мы поехали искать кровати?

-- Это было *весело*?

-- Конечно, -- отвечает он и затихает надолго. Потом говорит:

-- Ты разве не помнишь? Ты заставлял меня искать дорогу домой... Ты раньше играл с нами в игры. Ты рассказывал нам разные истории, и мы ездили делать разные вещи, а теперь ты не делаешь ничего.

-- Делаю.

-- Нет, не *делаешь*! Ты просто сидишь и смотришь, и *ничего не делаешь*!

Я слышу, как он опять начинает плакать.

Дождь снаружи шквалами налетает на окно, и я чувствую, как на меня опускается что-то тяжелое -- какая-то машина. Он плачет по *нему*. Это по *нему* он скушает. Вот о чем весь этот сон. Во сне...

Кажется, очень долго я лежу и слушаю потрескивание обогревателя, шум ветра и дождя о крышу и стекло. Потом дождь замирает вдали, и не остается ничего, кроме нескольких капель, падающих с деревьев при случайном порыве ветра.

31

Утром я останавливаюсь перед зеленым слизнем на земле. Около шести дюймов в длину, три четверти дюйма в ширину, мягкий и почти резиновый, покрытый слизью, как какой-нибудь внутренний орган животного. Все вокруг меня влажно, сыро, туманно и холодно, но достаточно ясно, и я вижу, что наш мотель стоит на склоне с яблоневыми деревьями внизу; под ними -- трава и мелкие кустики, покрытые росой или еще не сошедшим дождем. Я вижу еще одного слизня, потом еще -- Боже мой, да все это место просто кишит ими. Когда Крис выходит на улицу, я показываю ему одного: он медленно, как улитка, движется по листу. Крису нечего сказать.

Мы уезжаем и завтракаем в придорожном городке под названием Веотт; там я замечаю, что Крис по-прежнему в отдаленном расположении духа. При таком настроении смотрят в сторону, не разговаривают, и я оставляю его в покое.

Дальше, в Леггетте, мы видим пруд с утками для туристов, покупаем «Крекер-Джеков» и кидаем их уткам, и он продерывает это с таким несчастным видом, какого мне никогда не приходилось наблюдать раньше. Потом мы выезжаем на извилистую дорогу, ведущую по прибрежному хребту и вдруг попадаем в плотный туман.

Температура падает, и я знаю, что мы -- опять у моря.

Когда туман поднимается, мы видим океан с высокого утеса, такой распростертый, синий и далекий. Пока мы едем, мне становится холодно, пронизывающе холодно.

Мы останавливаемся, я вытаскиваю куртку и надеваю. Вижу, что Крис подошел слишком близко к краю утеса.

До камней внизу -- по меньшей мере сотня футов. Слишком близко!

-- КРИС! -- ору я. Он не отвечает.

Я поднимаюсь, хватаю его за рубашку и стаскиваю вниз.

-- Не делай так, -- говорю я.

Он смотрит на меня со странным прищуром.

Я вытаскиваю его одежду. Он берет, но волнуется и не одевается.

Торопить его нет смысла. Если он в таком настроении, что хочет выждать, то пускай выжидает.

Ждет. Проходит десять минут, потом пятнадцать.

У нас будут соревнования по выжиданию.

Через полчаса на холодном ветру с океана он спрашивает:

-- Куда мы едем?

-- Сейчас -- на юг, вдоль побережья.

-- Поехали назад.

-- Куда?

-- Где теплее.

Лишних сотню миль.

-- Нам сейчас нужно ехать на юг, -- говорю я.

-- Зачем?

-- Потому что ехать назад -- слишком большой крюк.

-- Поехали назад.

-- Нет. Надень теплее.

Он не надевает и просто сидит на земле.

Еще через пятнадцать минут произносит:

-- Поехали обратно.

-- Крис, не ты ведешь мотоцикл. Я его веду. Мы едем на юг.

-- Зачем?

-- Потому что слишком далеко и потому что я так сказал.

-- А почему нам тогда просто не поехать обратно?

Злость достает меня:

-- Ты ведь не хочешь на самом деле это узнать, да?

-- Я хочу обратно. Ты мне просто скажи, почему мы не можем поехать обратно.

Я уже умерил свою несдержанность.

-- На самом деле, ты не хочешь возвращаться, Крис. На самом деле ты добиваешься только одного -- разозлить меня. Еще немного -- и у тебя это получится!

Страх в глазах. Вот чего он хотел. Ненавидеть меня. Потому что я -- не он.

Крис тоскливо смотрит в землю и надевает теплую одежду. Потом мы снова садимся на машину и едем вдоль побережья.

Я могу имитировать отца, который, как предполагается, у него есть, но подсознательно, на уровне Качества, он видит меня насквозь и знает, что его настоящего отца здесь нет. Во всех этих разговорах о Шатокуа было больше чем чуть-чуть лжи. Снова и снова высказывалось пожелание уничтожить дуальность субъекта-объекта, когда самая большая дуальность, дуальность между мной и им, осталась обойденной. Ум разделенный и направленный против самого себя.

Но кто же это сделал? Не я же *сам*. И переделать никак нельзя... Я продолжаю спрашивать себя, насколько глубоко до дна того океана вон там...

Я -- еретик, покаявшийся и тем в глазах всех остальных спасший свою душу. В глазах всех, кроме одного, который глубоко внутри знает, что спас я только собственную шкуру.

Я выживаю главным образом благодаря тому, что угождаю другим. Делается это, чтобы выкарабкаться, вычисляется, чего они хотят, а потом говорится то, чего им хочется, мастерски и оригинально, как только можно, и если убедишь их, то выкарабкаешься. Если б я на него не наорал, то по-прежнему оставался бы там; он же был верен тому, во что верил, до самого конца. Вот в чем разница между нами, и Крис это знает. И вот почему иногда мне кажется, что он -- реальность, а я -- призрак.

Мы теперь -- на побережье округа Мендосино, и здесь все дико, прекрасно и открыто. Холмы, в основном, покрыты травой, но под прикрытием скал и в горных складках растут странные текучие кустарники, изваянные постоянными ветрами с океана. Мы проезжаем мимо старых деревянных заборов, поседевших от времени. Вдалеке -- старая, избитая непогодой серая ферма. Как можно здесь что-то разводить? Забор во многих местах сломан. Нищета.

Там, где дорога начинает опускаться с высоких утесов к берегу, мы останавливаемся отдохнуть. Когда я выключаю мотор, Крис спрашивает:

-- Для чего мы здесь остановились?

-- Я устал.

-- А я нет. Поехали дальше.

Он все еще злится. Я тоже.

-- Спустись на пляж и бегай там кругами, пока я не отдохну, -- говорю я.

-- Поехали дальше, -- бурчит он, но я отхожу и не обращаю на это внимания. Он садится на обочину дороги рядом с мотоциклом.

Здесь густ морской запах гниющей органической материи, а холодный ветер не дает хорошо расслабиться. Но я нахожу большую кучу серых камней, где нет ветра, а теплом от солнца можно по-прежнему наслаждаться. Я сосредотачиваюсь на солнечном тепле и благодарен за то небольшое, что есть.

Мы снова едем, и у меня в голове постепенно оформляется мысль о том, что он -- еще один Федр; думает так же, как он, поступает так же, как он, ищет неприятностей на свою голову, увлекаемый силами, которые всего лишь смутно сознает и совсем не понимает... Вопросы... те же самые вопросы... ему надо знать все.

А если он не добивается ответа, то просто едет и едет дальше, пока его не получит, и это ведет его к следующему вопросу, и он снова едет в поисках ответа на него... в бесконечной погоне за вопросами, так и не видя и никак не понимая, что вопросы никогда не кончатся. Чего-то не хватает, и он это знает, и он убьет себя, пытаясь это обнаружить.

Мы делаем резкий поворот на вершине крутого утеса. Океан простирается бесконечно: холодный и синий, он вызывает странное отчаянье. Живущие на берегу никогда по-настоящему не знают, что олицетворяет океан для тех, кто живет внутри замкнутой со всех сторон суши, -- какая это далекая мечта, присутствующая, но невидимая в глубочайших пластах подсознательного; а когда они приезжают к океану, и образы сознания сравниваются с подсознательной мечтой, возникает чувство поражения: приехали в такую даль и вдруг остановились перед такой тайной, которой никогда не постичь. Перед источником всего.

Гораздо позже мы въезжаем в город, где сияющая дымка, казавшаяся такой естественной над океаном, теперь висит на улицах, окутывая их некой аурой, туманным, солнечным свечением, которое пропитывает все ностальгией, словно вспоминаешь давно прошедшее.

Мы останавливаемся у переполненного ресторана и находим последний свободный столик у окна, выходящего на сияющую улицу. Крис не поднимает глаз и не разговаривает. Может, он как-то чувствует, что ехать нам осталось недолго.

-- Я не хочу есть, -- говорит он.

-- Ты не возражаешь тогда, если я поем?

-- Поехали дальше. Я не голоден.

-- Зато я голоден.

-- А я нет. У меня живот болит.

Странный симптом.

Я ем свой обед посреди разговоров, звяканья тарелок и ложек, доносящегося с других столов, а в окно вижу, как проезжает мотоцикл и человек на нем. Такое чувство, что прибыли к концу света.

Я перевожу взгляд и вижу, что Крис плачет.

-- Ну, что? -- спрашиваю я.

-- Живот. Больно.

-- Это всё?

-- Нет. Я ненавижу все это... Жалко, что я поехал... Ненавижу это путешествие... Я думал, будет весело, а оно не весело... Жалко, что я поехал.

Он правдивый -- как Федр. И, как Федр, смотрит на меня сейчас со всевозрастающей ненавистью. Время пришло.

-- Я думаю, Крис, о том, чтобы посадить тебя здесь на автобус с билетом до дому.

На его лице нет совершенно никакого выражения, потом появляется удивление пополам с растерянностью. Я добавляю:

-- Я один поеду дальше на мотоцикле, и мы встретимся через неделю или две. Нет смысла заставлять тебя продолжать каникулы, которые ты ненавидишь.

Теперь моя очередь удивляться. Да его лице вовсе не видно облегчения. Растерянность только усугубляется, он смотрит вниз и ничего не говорит.

Кажется, это застигло его врасплох, и он испугался.

Он поднимает на меня глаза:

-- Где я буду жить?

-- Ну, в нашем доме ты жить не сможешь -- там сейчас другие люди. Можешь пожить у бабушки с бабушкой.

-- Я не хочу с ними жить.

-- Можешь пожить у своей тети.

-- Она меня не любит. И я ее не люблю.

-- Тогда поживи с другими бабушкой и дедушкой.

-- Я там тоже не хочу жить.

Я перечисляю еще кого-то, но он качает головой.

-- Ну, а *кто* тогда?

-- Не знаю.

-- Крис, я думаю, ты сам видишь, в чем проблема. Ты не хочешь ехать дальше. Ты ненавидишь эту поездку. Но ты не хочешь ни жить ни у кого, ни куда-нибудь ехать. Все, кого я перечислил, либо не любят тебя, либо не нравятся тебе.

Он молчит, но в глазах набухают слезы.

Женщина за соседним столиком зло смотрит на меня. Она открывает рот, словно хочет что-то сказать. Я направляю на нее долгий тяжелый взгляд, и она закрывает рот и продолжает есть.

Теперь Крис горько плачет, и на нас оглядываются из-за других столиков.

-- Давай пойдем погуляем, -- говорю я и встаю, не дожидаясь чека.

Официантка за кассой говорит:

-- Простите, но ваш мальчик не очень хорошо себя чувствует.

Я киваю, расплачиваюсь, и мы выходим наружу.

Я ищу скамейку где-нибудь в этой сияющей дымке, но скамеек нет. Вместо этого мы взбираемся на мотоцикл и медленно едем на юг, смотря по сторонам в поисках удобного места для отдыха.

Дорога снова выводит к океану и там взбирается на вершину, которая, очевидно, выдается в море, но сейчас окружена плотным туманом. В какой-то миг я в разрыве тумана вижу, что далеко, на песке, отдыхают какие-то люди, но туман сейчас же накатывает снова, и опять никого не видно.

Я смотрю на Криса и встречаю его озадаченный, пустой взгляд, но как только прошу его сесть, утренние злость и ненависть снова вспыхивают у него в глазах.

-- Зачем? -- спрашивает он.

-- Мне кажется, нам пора поговорить.

-- Ну, говори, -- произносит он.

Вернулась его прежняя воинственность. Он терпеть не может этот мой образ «доброго папочки». Он знает, что вся эта «хорошесть» фальшива.

-- Как по части будущего? -- спрашиваю я. Очень глупый вопрос.

-- Как?

-- Я хотел спросить, что ты собираешься делать со своим будущим.

-- Я собираюсь ничего с ним не делать.

В глазах появляется презрение.

Туман ненадолго приподнимается, оголяя утес, на котором мы сидим, и меня охватывает чувство неизбежности того, что происходит. Меня подталкивает к чему-то, и предметы по краям поля зрения и в центре его -- все они сейчас равной интенсивности, все они в одном и я говорю:

-- Крис, я думаю, нам пора поговорить о некоторых вещах, про которые ты ничего не знаешь.

Он немного прислушивается. Он чувствует, как что-то надвигается.

-- Крис, ты сейчас смотришь на своего отца, который долгое время был безумен; и сейчас он снова близок к безумию.

И уже не только близок. Оно здесь. Дно океана.

-- Я отсылаю тебя домой не потому, что на тебя сержусь, а потому, что боюсь того, что может произойти, если я буду продолжать нести за тебя ответственность.

В его лице не видно никаких перемен. Он еще не понимает, что я говорю.

-- Поэтому сейчас мы с тобой прощаемся, Крис, и я не уверен, встретимся ли мы когда-нибудь с тобой еще.

Вот оно. Готово. Теперь остальное пойдет естественно.

Он так странно смотрит на меня. Думаю, все еще ничего не понимает. Этот взгляд... я его где-то видел... где-то... где-то...

В раннем утреннем тумане, на болотах, была маленькая утка, чирок, который смотрел так же... Я подбил ему крыло, и он не мог улететь, а я подбежал к нему, схватил за шею и, перед тем, как убить, остановился и из какого-то чувства таинственности вселенной посмотрел в его глаза: он смотрел точно так же... так спокойно и непонимающе... и в то же время так осознанно. Тогда я закрыл ему глаза руками и повернул ему шею; она сломалась, и я под пальцами ощутил, как она рвется.

Тогда я разжал руку. Глаза все так же смотрели на меня, но теперь они смотрели в ничто и больше не следили за моими движениями.

-- Крис, они говорят это о тебе.

Он смотрит на меня.

-- Что все эти нарушения -- в твоём уме.

Он отрицательно качает головой.

-- Они кажутся настоящими и ощущаются как реальность, но это не так.

Его глаза расширяются. Он продолжает качать головой, но понимание завладевает им.

-- Все становилось хуже и хуже. Неприятности в школе, неприятности с соседями, неприятности в семье, неприятности с друзьями... неприятности везде, куда ни повернешься. Крис, я один осаживал их всех, говоря: «С ним все в порядке», а теперь у тебя никого не будет. Ты понимаешь?

Он с ошеломлением смотрит на меня. Его взгляд еще осмысленно следит за мной, но уже начинает подаваться. Я не даю ему силы. И никогда не давал. Я его убиваю.

-- Это не твоя вина, Крис. Ты никогда не был в этом виноват. Пожалуйста, пойми это.

Его взгляд проваливается внезапной внутренней вспышкой. Затем его глаза закрываются, и изо рта вылетает странный крик, как будто что-то завопило вдалеке. Он отворачивается и спотыкается, падает на землю, складывается вдвое и, оставаясь на коленях, раскачивается взад и вперед, уткнувшись головой в землю. Траву вокруг него шевелит слабый туманный ветерок. Невдалеке вспархивает чайка.

В тумане я слышу визг тормозов грузовика, он приводит меня в ужас.

-- Надо встать, Крис.

Вой высокий и нечеловеческий, как сирена где-то далеко.

-- Ты должен встать!

Он продолжает раскачиваться и выть на земле.

Я сейчас не знаю, что делать. У меня нет ни малейшего представления, что делать. Все кончено. Я хочу подбежать к обрыву, но борюсь с этим порывом. Я должен посадить его на автобус, а потом уже с обрывом будет все в порядке.

Все уже хорошо, Крис.

Это не мой голос.

Я тебя не забыл.

Крис перестает раскачиваться.

Как я мог тебя забыть?

Крис поднимает голову и смотрит на меня. Пленка, через которую он на меня смотрел всегда, на мгновение пропадает, потом появляется снова.

Мы теперь будем вместе.

Вой грузовика уже рядом с нами.

Ну вставай же!

Крис медленно садится и смотрит на меня. Подъезжает грузовик, водитель выглядывает из кабины узнать, не надо ли нас подвезти. Я качаю головой и машу, чтоб отъезжал. Он кивает, включает сцепление, и грузовик с воём исчезает в тумане -- остаемся только мы с Крисом вдвоем.

Я набрасываю на него свою куртку. Он снова утыкается головой в колени и плачет, но это уже низкий вой человека, а не прежний странный вопль. Мои руки мокры, и я чувствую, что лоб у меня тоже весь в испарине.

Немного спустя, сквозь вой он выдавливает:

-- Почему ты нас бросил?

Когда?

-- В больнице?

У меня не было выбора. Полиция мешала.

-- Они тебя не выпускали?

Да.

-- А почему тогда ты не открыл дверь?

Какую дверь?

-- Стеклянную!

Сквозь меня будто проходит медленный электрический разряд. О какой стеклянной двери он говорит?

-- Ты что, не помнишь? -- говорит он. -- Мы стояли с одной стороны, а ты был с другой, а мама плакала.

Я ему никогда не рассказывал об этом сне. Откуда он мог об этом узнать? Нет, нет...

Мы -- еще в одном сне. Вот почему мой голос звучит так странно.

Я не мог открыть ту дверь. Они мне велели не открывать ее. Я должен был делать все, что они мне скажут.

-- Я думал, ты не хотел нас видеть, -- говорит Крис. Он опускает взгляд.

Его глаза, полные ужаса все эти годы.

Теперь я вижу дверь. Она в больнице.

Сейчас я вижу их в последний раз. Я -- Федр, вот кто я, и они хотят меня уничтожить за то, что я говорил Истину.

Все сошлось.

Крис уже тихо плачет. Плачет, плачет, плачет. Ветер с моря продувает высокие стебли травы вокруг нас, и туман начинает приподниматься.

-- Не плачь, Крис. Плачут только маленькие.

Проходит много времени, и я протягиваю ему тряпку вытереть лицо. Мы собираем вещи и привязываем все к мотоциклу. Туман вдруг поднимается, и я вижу, как солнце, осветившее его лицо, заставляет его раскрыться так, как я никогда до этого не видел. Он надевает шлем, подтягивает ремешок, потом поднимает взгляд.

-- Ты действительно был сумасшедшим?

Зачем он это спрашивает?

Нет!

Бьет изумление. Но глаза Криса блестят.

-- Я это знал, -- говорит он.

Он забирается на мотоцикл, и мы отъезжаем.

Когда мы проезжаем по побережью Манзаниты, через кустарники с вощеной листвой, я вспоминаю выражение на лице Криса: «Я это знал,» -- сказал он.

Мотоцикл без усилий вписывается в каждый изгиб дороги, накрываясь так, что наш вес всегда распределяется вниз, через саму машину, каким бы ни был ее угол, который дергают за кончик лески, говоря что они -- не такие уж и маленькие, как я думаю. Это было у него на уме долгое время. Годы. Все проблемы, которые он создавал, становятся понятнее. «Я это знал», -- сказал он.

Должно быть, он давно что-то услышал, по-детски, по-своему неправильно понял, и все перепуталось. Вот что всегда говорил Федр -- что я всегда говорил -- много лет назад, и Крис, должно быть, поверил в это, и с тех пор прятал это глубоко в себе.

Мы связаны друг с другом нитями, которых до конца никогда не понимаем, может быть, еле-еле понимаем вообще. Он всегда был *подлинной* причиной тому, чтобы я вышел из больницы. Оставить его расти в одиночестве было бы по-настоящему неправильно. В сне он тоже всегда пытался о

«Я это знал,» -- сказал он. Леска продолжает дергаться, твердя, что моя большая проблема, может быть, не так уж и велика, как я считаю, потому что ответ -- прямо у меня перед носом. Бога ради, освободи же его от этого бремени! Стань снова одним человеком!

Нас обволакивает богатый воздух и странные запахи цветов на деревьях и кустах. Мы отъехали вглубь, и озноб прошел, на нас снова обрушивается тепло. Оно впитывается в куртку и одежду, высушивает сырость внутри. Перчатки, потемневшие от влаги, начинают снова светлеть. Кажется, эта океанская сырость прохватывала меня до костей так долго, что я забыл, что такое тепло. Меня начинает клонить в дрему, и в маленьком овражке впереди я замечаю площадку и столик для пикников. Когда мы до него доезжаем, я выключаю двигатель и останавливаюсь.

-- Я хочу спать, -- говорю я Крису. -- Давай вздремнем.

-- Давай, -- отвечает он.

Мы спим, а когда просыпаемся, я чувствую, что хорошо отдохнул, гораздо лучше, чем отдыхал в последнее время. Я беру наши с Крисом куртки и засовываю их под шнуры, которыми наш багаж пристегнут к мотоциклу. Так жарко, что я, наверное, и шлем не буду надевать. Припоминаю, что в этом штате по правилам они не требуются. Пристегиваю его к одному из шнуров.

-- И мой туда тоже положи, -- просит Крис.

-- Тебе он нужен для безопасности.

-- Ты же свой не надеваешь.

-- Ладно, -- соглашаюсь я и пристегиваю его шлем туда же.

Дорога все так же петляет между деревьев. Она делает крутые повороты на подъемах и спускается в новые местности, одну за другой, сквозь кустарник на открытое пространство откуда видно, как внизу расстилаются ущелья.

-- Прекрасно! -- ору я Крису.

-- Можно не кричать, -- говорит он.

-- А, да, -- отвечаю я и смеюсь. Без шлемов можно разговаривать обычным голосом. После всех этих дней!

-- Ну, все равно прекрасно, -- говорю я.

Еще деревья, кусты и рощи. Припекает. Крис теперь опирается на мои плечи, и, слегка обернувшись, я вижу, что он привстал на подставках для ног.

-- Это немножко опасно, -- говорю я.

-- Не опасно. Я чувствую.

Возможно, так и есть.

-- Все равно осторожнее, -- говорю я.

Немного спустя, когда мы делаем один из таких резких поворотов под низко свисающими ветвями, он говорит «ох», чуть погодя «ах», потом «ух ты». Некоторые ветки висят так низко, что если он не будет осторожен, они начнут лупить его по голове.

-- В чем дело? -- спрашиваю я.

-- Совсем по-другому.

-- Что?

-- Все. Я раньше никогда ничего не видел из-за твоих плеч.

Солнечный свет, пробиваясь сквозь кроны деревьев, рисует странные и прекрасные узоры на дороге. У меня в глазах рябит от пролетающих пятен света и тени. Мы вписываемся в поворот и выезжаем на солнце.

Это правда. Я никогда об этом не задумывался. Все это время он смотрел мне в спину.

-- Что ты видишь? -- спрашиваю я.

-- Все по-другому.

Мы опять въезжаем в рощу, и он спрашивает:

-- Тебе не страшно?

-- Нет, к этому привыкаешь.

Через некоторое время он говорит:

-- Когда я вырасту, мне можно будет мотоцикл?

-- Если ты о нем будешь заботиться.

-- А что с ним надо делать?

-- Много всего. Ты же видел, что я делаю.

-- А ты мне все это покажешь?

-- Конечно.

-- Это трудно?

-- Нет, если у тебя будет правильное отношение. Трудно иметь правильное отношение.

-- А-а.

Через некоторое время я чувствую, что он опять сел. Потом говорит:

-- Пап?

-- Что?

-- А у меня будет правильное отношение?

-- Думаю, да, -- отвечаю я. -- Мне кажется, у тебя не будет никаких проблем.

И так мы едем, дальше и дальше, через Укиа, Хопланд и Кловвердэйл, через «винную страну». Мили трассы сейчас кажутся такими легкими. Двигатель, пронесший нас через половину континента, равномерно гудит в своем беспрестанном забвении всего, кроме своих внутренних сил. Мы проезжаем Асти и Санта-Розу, Петалуму и Новато, а трасса становится все шире и полнее, разбухая от машин, грузовиков и автобусов, наполненных людьми, и вскоре у дороги уже появляются дома, лодки и вода Залива.

Испытания, конечно, никогда не кончаются. Несчастья и неудачи обречены на то, чтобы случаться постольку, поскольку люди живут, но сейчас у меня такое чувство -- его не было раньше, -- и это чувство не просто на поверхности вещей, а проникает очень глубоко, до самого конца: мы выиграли. Теперь все будет лучше. Такие вещи угадываешь, что ли.

-
1. Отмечаются в первый понедельник сентября и последний понедельник мая соответственно. -- *Здесь и далее примечания переводчика.*
 2. Традиционный летний сбор учителей и ораторов с публичными лекциями, концертами и театральными постановками (по названию озера на юго-востоке штата Нью-Йорк, где его впервые провели в 1874 году).
 3. Здесь и далее температура дается по Фаренгейту. $0^{\circ}\text{C} = 32^{\circ}\text{F}$.
 4. Мирское имя Супермена. Лоис -- его подруга, героиня того же эпоса.
 5. Ах ты душечка! (*нем.*)
 6. Игра английскими словами *kin* и *kind*.
 7. Строки из баллады И.-В.Гёте «Лесной царь»:
«Кто скачет, кто мчится под холодной мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой.»
(*Пер. В.А. Жуковского*)
 8. Экспедиция Мериуэзера Льюиса и Уильяма Кларка первой в 1804-06 гг. исследовала территорию между Миссиссиппи и Тихим океаном.
 9. Ультраправая антикоммунистическая организация, основанная в 1958 году Робертом Уэлчем-мл. (1899-1985), конфетным фабрикантом на пенсии. Общество выступало за отмену подоходного налога и социального страхования, за выход США из Организации Объединенных Наций и т.п. организация названа именем баптистского миссионера и офицера разведки США, убитого 25 августа 1945 года китайскими коммунистами, который членами Общества почитается как первая жертва Холодной войны.
 10. Вывод, не соответствующий посылкам (*лат.*). Здесь -- нелогичное заключение.
 11. Три основных навыка американской школьной программы -- чтение, письмо, арифметика -- традиционно начинаются с «r»: *reading*, *(w)riting*, *(a)rithmetics*.
 12. Имеется в виду четкое деление по оценочным категориям в американской средней, специальной и высшей школе: «A» (отлично), «B» (хорошо), «C» (удовлетворительно), «D» (неудовлетворительно), «F» (очень плохо).
 13. Парафраз 1 чжана «Дао Дэ Цзин».
 14. Парафраз 4 чжана.
 15. 6 чжан.
 16. Парафраз 14 чжана.
 17. Английская система мер веса для всех товаров, кроме благородных металлов, драгоценных камней и лекарств (от среднеангл. *avoir de pois*, «товары, продаваемые на вес», искаж. старофранцузск. *avoir de peis*, «развесные товары»).
 18. Альфред Норт Уайтхед (1861-1947) -- английский математик и метафизик, оказавший огромное влияние на всю философскую мысль XX века. Основные труды: «Принципиальная Математика» (1910-1913, в соавторстве со своим учеником Бертраном Расселлом), «Принцип относительности» (1929), «Процесс и реальность» (1929).
 19. неведомая земля (*лат.*)
 20. Иными словами: судебная, созерцательная и украшающая.